

ЖАН ДЕ ЛАБРЮЙЕР

ЖАН  
ДЕ  
ЛАБРЮЙЕР

ХАРАКТЕРЫ

ХАРАКТЕРЫ



ЖАН ДЕ ЛАБРИЮЙЕР

ХАРАКТЕРЫ,



НРАВЫ  
НЫНЕШНЕГО  
ВЕКА



*Перевод с французского*  
Э. ЛИНЕЦКОЙ и Ю. КОРНЕЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД

1964

*Редакция перевода*

А. СМЕРНОВА

*Вступительная статья  
и примечания  
Т. ХАТИСОВОЙ*

*Оформление художника  
Н. ВАСИЛЬЕВА*

## ЛАБРЮЙЕР И ЕГО «ХАРАКТЕРЫ»

Единственное произведение всей жизни Лабрюйера «Характеры, или Нравы нынешнего века» вызвало большой интерес у читателей при его появлении в первом анонимном издании, где оно занимало скромное место приложения к переводу «Характеров» Теофраста. Успех «Характеров» Лабрюйера возрастал по мере того, как они выходили в новых, расширенных изданиях и приобретали черты законченного и глубоко оригинального произведения. Крупнейшие писатели — современники Лабрюйера признали «Характеры» подлинным шедевром литературы. Последующие поколения утвердили значение этого последнего и в какой-то мере заключительного произведения в истории французского классицизма XVII века.

«Характеры» Лабрюйера, принадлежащие по своим жанровым особенностям к описательно-моралистической прозе, преемственно связаны с «Опытами» Монтеня, «Мыслями» Паскаля, «Максимами» Ларошфуко. Говоря о более широких, внежанровых связях, нельзя не указать на их близость ко многим произведениям Мольера и Лафонтена. Эта близость объясняется не столько общностью тем, разработанных в комедиях Мольера, баснях Лафонтена и «Характерах» Лабрюйера, сколько основной направленностью творчества этих писателей, их стремлением как можно правдивее изобразить жизнь французского общества и его пороки.

Говоря о «Характерах» Лабрюйера, известный французский критик Сент-Бев замечает: «Луч века упал на каждую страницу этой книги, но лицо человека, державшего ее в руках, осталось в тени». Действительно, биография писателя мало известна. Жан де Лабрюйер родился в августе 1645 года близ Парижа. Отец его, Луи де Лабрюйер, генеральный контролер реит Парижского муниципалитета, с трудом содержал большую семью. Лишь благодаря материальной помощи дяди Лабрюйеру удалось получить превосходное для своего

времени образование. О деятельности Лабрюйера в качестве адвоката ничего не известно. В своих «Характерах» он не раз говорит об адвокатах, их положении в обществе. «Тот, кто при разделе наследства с братьями получил достаточно, чтобы стать адвокатом и жить, не зная тревог, жаждет сделаться судьей; судья метит в советники, а советник — в президенты парламента. То же происходит с людьми любого звания: сперва они тщетно пытаются возвыситься, взяв, так сказать, судьбу за горло, а потом томятся в скудости и стесненных обстоятельствах...» («О житейских благах», 62). В ироническом замечании о том, что судейская знать вымещает на адвокатах обиды, которые «наносит ее самолюбию презрительное высокомерие двора» («О столице», 5), симпатия Лабрюйера явно принадлежит адвокатам, то есть тем, кто занимает низшую ступеньку на этой своеобразно очерченной писателем социальной лестнице. Многочисленные высказывания Лабрюйера, не проливая света на историю его деятельности, дают представление об особенностях профессиональной жизни и социального положения судейских чиновников различных рангов.

В 1673 году Лабрюйер купил должность генерального казначея в финансовом бюро округа Кан. Об этом периоде его жизни известно не больше, чем о предыдущем. Исследователи творчества Лабрюйера считают, что говоря о «некоей приморской провинции», где «крестьяне любезны и обходительны, горожане же и чиновники напротив... отличаются грубостью» («О суждениях», 22), писатель имеет в виду Кан и его чиновничество, с которым он не нашел общего языка. По-видимому, Лабрюйер продолжал жить в Париже, мало занимаясь делами своего ведомства и рассматривая свою должность как своеобразную синекуру. В 1686 году, спустя год с лишним после того, как он получил место учителя герцога Бурбонского, он ее продал.

Чем занимался Лабрюйер в эти годы? Как бы отвечая на этот вопрос, он говорит в своей книге о том, что «было бы справедливо, если бы эти занятия, состоящие из чтения, бесед и раздумий... именовали бы не праздностью, а трудом мудреца» («О достоинствах человека», 12). По свидетельству его друга, именно в эти годы писатель начинает «изучать на скамейках Люксембургского сада и Тюильри нравы города и двора». Деля свое время между чтением, наблюдениями над столичным обществом и беседами с друзьями, Лабрюйер приобретает серьезные знания в области истории, философии, литературы.

В 1684 году, по рекомендации Боссюэ, Лабрюйер получил место воспитателя в семье знаменитого полководца, одного из крупнейших вельмож своего времени, принца Конде. Занятия с титулованным учеником мало удовлетворяли Лабрюйера. Не лишенный ума и

способностей, внук Конде герцог Бурбонский отличался тяжелым характером. Аристократическая спесь убивала в нем все живое, человеческое. Перу Сен-Симона принадлежит замечательный портрет герцога, написанный в период, когда тот был уже немолодым: «Это был человек значительно более низкого роста, чем самые низкие люди. Не будучи толстым, он был очень крупным. Особенно крупной была его голова. Лицо его снежато-желтого цвета внушало страх. Выражение лица было почти всегда злобным и в то же время настолько гордым и вызывающим, что трудно было к нему привыкнуть. В нем чувствовались остатки превосходного воспитания, он был остроумен, начттан, даже вежлив и изыскан, когда он хотел этого, но хотел он очень редко... Извращенность казалась ему высшей добродетелью, странная мстительность... достоинством величия...» В «Мемуарах» Сен-Симона мы находим ряд портретов фамильной галереи Конде, написанных с тем же не знающим пощады искусством. Гордость и непомерное властолюбие Конде, возглавившего в середине века аристократическую оппозицию абсолютной монархии, были унаследованы и сыном его и внуком. В характерах младшего поколения они выродились в спесь, страсть к интригам, домашнее и семейное тиранство.

Жизнь Лабрюйера в доме Конде, несмотря на уважение, которое писатель завоевал благодаря уму и такту, была не лишена трудностей. «Вельможи обладают одним огромным преимуществом перед остальными людьми. Я завидую не тому, что у них есть все: обильный стол, богатая утварь, собаки, лошади, обезьяны, шуты, льстецы, но тому, что они имеют счастье держать у себя на службе людей, которые равны им умом и сердцем, а иногда и превосходят их» («О вельможах», 3). В замечаниях такого рода проскальзывает обиды человека, познавшего в силу своего зависимого положения горечь унижения. Однако даже тогда, когда личное чувство писателя придает определенный оттенок описываемым явлениям, оно не лишает их присущей им типичности.

В загородном дворце Конде в Шантильи, так же как в Париже и Версале, где Конде проводил много времени, Лабрюйер получил возможность великолепно изучить аристократическое общество и круг придворных Людовика XIV. Заняв, по выражению Сент-Бева, «угловое место в первой ложе на великом спектакле человеческой жизни, на грандиозной комедии своего времени», Лабрюйер не остался бесстрастным зрителем. Наблюдая парадную жизнь двора и зная, вызывавшую восхищение, зависть и настоящую манию подражания в Париже, провинции и далеко за пределами Франции, Лабрюйер сосредоточил свое внимание не на внешнем блеске, а на внутреннем содержании этого спектакля, на его действующих лицах.

Годы раздумий потребовались Лабрюйеру для того, чтобы написать свое замечательное произведение. Книга Лабрюйера создавалась в тот период, когда исторически прогрессивная роль монархии Людовика XIV, завершившей национальное объединение Франции, была полностью исчерпана. После смерти генерального контролера финансов Кольбера (1683), много сделавшего для развития торговли и промышленности, дворянско-католическая реакция одерживает победу над правительственной политикой, которую французская знать презрительно называла буржуазной. Под влиянием наиболее реакционных сил французского общества Людовик XIV развязывает разорительные войны, отказывается от поощрения торговли и промышленности, экономически укреплявших верхушку третьего сословия — буржуазию, и усиливает гонения на протестантов и религиозные секты, не угодные господствующей католической церкви. Переход абсолютной монархии к политике полного подавления прогрессивных сил в обществе вызывает оппозицию, которая в литературе находит свое выражение в «Приключениях Телемака» Фенедона и других произведениях позднего классицизма XVII века. В 1697 году выходит «Исторический и критический словарь» Бейля, в котором история философии признала «первую ласточку» просветительской мысли.

В атмосфере растущей тревоги за судьбу Франции создавалась и книга Лабрюйера. В 1688 году вышло первое ее издание — «Характеры Теофраста, перевод с греческого, и Характеры, или Нравы нынешнего века», за которым последовал ряд новых, значительно расширенных в своей оригинальной части изданий. Последнее из них, девятое издание, подготовленное Лабрюйером, появилось в 1696 году, после его смерти.

В первое издание вошло 418 характеристик Лабрюйера, и они служили как бы дополнением к книге Теофраста. В девятом издании «Характеры» Теофраста становятся своеобразным приложением к книге Лабрюйера, включающей 1120 оригинальных характеристик.

О значении произведения Теофраста в истории создания «Характеров» Лабрюйера много спорили. Не подлежит сомнению то, что моральный трактат греческого философа IV века до н. э., в котором Лабрюйер нашел мастерские зарисовки людей, наделенных различными пороками, сыграл известную роль в концепции «Характеров». У Теофраста Лабрюйер заимствовал прежде всего сам жанр бессюжетного произведения, в котором литературные портреты скреплены между собой рассуждениями автора. Однако в жанровом отношении «Характеры» Лабрюйера значительно разнообразнее не только трактата Теофраста, но и произведений, принадлежащих перу французских моралистов XVII века. Наряду с жанром портрета,

или, точнее, характера, Лабрюйер использовал жанры максимы, эпиграммы, размышления, трактата, новеллы, диалога и другие. Жанровое богатство «Характеров» объясняется тем, что, излагая свои мысли, Лабрюйер стремился «показать открывшуюся ему истину в таком свете, чтобы она поразила умы» («О творениях человеческого разума», 34).

Художественный метод Лабрюйера значительно отличался от метода Теофраста. В своей «Речи о Теофрасте», предпосланной изданию «Характеров», Лабрюйер отзывается с большим пиететом о писателе, с именем которого он связал судьбу своей книги. Однако в той же речи он подчеркивает то новое, что он стремился внести в изучение и изображение человеческого характера. В большей степени, нежели Теофраст, он хотел «проникнуть во внутренний мир человека, изучить недостатки его ума и раскрыть тайники его сердца. «Характеры» Теофраста, — продолжает он, — демонстрируя человека тысячью его внешних особенностей, его делами, речами, поведением, поучают тому, какова его внутренняя сущность; напротив, новые «Характеры», раскрывая вначале мысли, чувства и побуждения людей, вскрывают первопричины их пороков и слабостей, помогают легко предвидеть все то, что они будут способны говорить и делать, научают более не удивляться тысячам дурных и легкомысленных поступков, которыми наполнена их жизнь».

Если в первых изданиях книги Лабрюйера можно найти характеры, которые, будучи построены по принципу Теофраста, представляют собою как бы иллюстрацию к определению человеческих пороков, то в характерах, включенных в последующие издания, чрезвычайно усиливается стремление описать людей своего времени в их социальной среде и специфических для этой среды условиях жизни.

Обращение Лабрюйера к античному источнику для создания своей книги было закономерно в период, когда классицистическая эстетика еще не стала предметом ожесточенных споров между защитниками древних писателей, отстаивавших принцип подражания античному искусству, и теми, кто отрицал этот принцип литературы французского классицизма.

Лабрюйер остается сторонником эстетики классицизма и тогда, когда разгорается спор о древних и новых авторах. Он утверждает вслед за Буало, что классицизм благодаря проникновению во вкусы древних одержал победу над искусством, навязанным веками варварства французскому народу. В принципах Перро Лабрюйер не видит движения вперед, к литературе, связанной с фольклором и народными традициями, он находит в них лишь отказ от подражания древним, с помощью которого можно достичь совершенства в

литературе и даже «превзойти древних». Поэтому Лабрюйер выступает, так же как Буало, Расин и Лафонтен, против принципов, которые выдвигали сторонники новой литературы во главе с Перро и Фонтенелем.

Защищая основные положения классицистической эстетики, Лабрюйер, однако, не проявляет никакой нетерпимости в своем отношении к тем, кто нарушал каноны классицизма. С уважением говорит он о писателях, которые «облагораживают искусство и расширяют его пределы, если последние оказываются стеснительными для высокого и прекрасного, идут одни, без спутников, и всегда вперед, в гору, уверенные в себе, поощряемые пользой, которую приносит иногда отступление от правил» («О творениях человеческого разума», 61).

В убеждении, что литература должна просвещать людей и облагораживать их, Лабрюйер черпает основной критерий для суждения о творчестве писателей. «Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она... создана рукой мастера» («О творениях человеческого разума», 31).

Среди литературных характеристик, включенных Лабрюйером в ту же первую главу «О творениях человеческого разума» и в речь, произнесенную им в 1693 году при вступлении во Французскую академию, особенно замечательны маленькие этюды о творчестве Корнеля, Расина, высказывания о Лафонтене, Ларошфуко, Мольере. В смелости суждения Лабрюйера о трагедии Корнеля «Сид», которая «оказалась сильнее политики, сильнее властей, тщетно пытавшихся ее уничтожить», в восхищенном творчеством Рабле, при всех оговорках писателя, еще прочно связанного с традициями классицизма, ощущается независимость мысли, поиски нового, более свободного метода исследования и воспроизведения действительности.

Идейное содержание произведения требует адекватной художественной формы. «Высокий стиль... раскрывает истину целиком, в ее возникновении и развитии, является самым ее достойным образным выражением». Но высокий стиль, по мнению Лабрюйера, «доступен только гениям, и не всем, а лишь самым благородным» («О творениях человеческого разума», 55). Обыкновенный писатель должен стремиться, следуя высоким образцам, придать глубину своим идеям и изящество слогу.

В первую главу, посвященную в целом литературной теории и критике, Лабрюйер включает несколько афоризмов и портретов, с помощью которых он рисует нравы литераторов и публики. Зависть, недоброжелательство, трусость характеризуют деятелей литературы и их литературных судей. Среди аристократических чита-

телей мало людей, имеющих свой взгляд на литературу, ибо нужно обладать здравым смыслом и знаниями, чтобы суметь подвергнуть анализу художественное произведение. В острых и метких зарисовках литераторов и «ценителей» литературы проглядывает сатирический дар Лабрюйера. Великолепное искусство сатирика мы находим, однако, не в первой, вступительной главе, а в центральной части книги, посвященной описанию высших слоев французского общества XVII века.

Сатира Лабрюйера связана с литературными традициями XVII века и более ранних эпох. Поиски истоков сатирического искусства Лабрюйера привели его современников к греческому философу — цинику Мениппу (начало III в. до н. э.), философско-сатирические диалоги которого стали объектом подражания писателей последующих эпох. Во Франции имя греческого философа и писателя связано с наиболее значительным произведением конца XVI века — «Менипповой сатирой». Изображая Лабрюйера под именем Мениппа, один из современников автора, Симон де Труа, пишет в своем критическом этюде: «Менипп покидает дом, чтобы изучить людей со всеми их особенностями и нарисовать их с натуры... он извлекает из смешного, как из недр земли, каждый день новые сокровища». В сатирическом произведении Лабрюйера наиболее дальнзоркие из современников почувствовали «мощную и редкую в наши дни свободу и благородную отвагу» (Банаж де Боваль), которые позволили ему нарисовать сатирические портреты вельмож, прелатов церкви, финансистов, откупщиков и высших государственных чиновников.

Искусством сатирика Лабрюйер обязан, однако, не столько древнегреческим, сколько французским писателям XVII века, в первую очередь своему великому предшественнику Мольеру. Лабрюйера нельзя безоговорочно причислить к последователям Мольера, так как его философские, религиозные и даже литературные воззрения далеко не полностью соответствовали взглядам великого комедиографа.

Последователь философа-материалиста Гассенди, возглавлявшего в середине века течение французского либертинства, Мольер в полном соответствии с моральной доктриной своего учителя отождествляет естественное с разумным и нравственным. Вольнодумство Мольера, основанное на философском материализме Гассенди, позволило ему в борьбе против пороков общества, и в частности — против лицемерия и ханжества, дойти до понимания глубокого противоречия между принципом следования природе и христианским учением.

Мольер великолепно знал и другую сторону в истории либертинства XVII века. В комедии «Дон-Жуан», наделив своего героя чертами французского аристократа, он показывает типичное для аристократического общества поверхностное и, по существу, искаженное

понимание вольнодумия. Либертинаж начинает отождествляться в этой среде с непризнанием земных и небесных авторитетов и каких бы то ни было законов морали и этики.

Проблеме либертинажа и характеристике вольнодумцев Лабрюйер посвящает последнюю главу своей книги — «О вольнодумцах». Учение Гассенди осталось чуждым Лабрюйеру. Будучи приверженцем картезианской философии и к тому же религиозным человеком, он не смог преодолеть философского дуализма. «Предположим, что я обязан своим существованием только силам всеобъемлющей природы, которая всегда, даже в бесконечно отдаленные времена, была такой же, какой мы видим ее сейчас. Но эта природа может быть либо только духом, и тогда она — бог, либо материей, и тогда она не способна создать мою душу, либо, наконец, соединением духа и материи, и тогда духовное начало в ней я именую богом» («О вольнодумцах», 37).

В изучении человеческой психологии, так же как и в основных вопросах философии, Лабрюйер исходит из рационалистического метода Декарта, не признавая учения Гассенди, в котором законы психики сводятся к механическому передвижению атомов. «Предположим, что все материально и мысль моя, равно как и мысли других людей, представляет собой лишь следствие особого расположения частиц материи. Кто же тогда привнес в мир мысль о вещах нематериальных?» — спрашивает Лабрюйер («О вольнодумцах», 40). На вопросы такого рода он не мог получить ответа ни в одном из философских учений XVII века во Франции. Лишь в XVIII веке энциклопедисты во главе с Дидро начинают разрабатывать учение о высокоорганизованной материи и ее атрибутах.

Отвергнув философский либертинаж, Лабрюйер говорит лишь о тех вольнодумцах-аристократах, которые считают, что «людям известного звания, широты ума и воззрений не к лицу бесхитростная вера, свойственная ученым и простонародью» («О вольнодумцах», 5). В своей критике беспринципности и распущенности вельмож, именующих себя либертинами, Лабрюйер полностью солидаризируется с Мольером. В его нетерпимом отношении к аристократическому аморализму, в какой бы форме он ни проявлялся, звучит та же гневная нота, которая столь характерна для Мольера и которая могла появиться только у писателей с ярко выраженной третьесловной идеологией.

Немногочисленные высказывания Лабрюйера о народе, то есть о положении крестьянства, о контрастах между жизнью высших и низших слоев общества и, наконец, о своем отношении к народу, чрезвычайно важны. Они дают ключ к пониманию точки зрения Лабрюйера на высшее общество, помогают раскрыть основу его твор-

ческого метода и определить место писателя в радикальном буржуазно-демократическом течении внутри классицизма.

В «Характерах» Лабрюйера нет специальной главы, посвященной народу. Композиция книги, ее деление на главы — «О житейских благах», «О столнце», «О дворе», «О вельможах» и другие — полностью соответствует сатирическому содержанию произведения. В аристократической среде, при дворе, в кругах высшего чиновничества, в мире откупщиков и финансистов Лабрюйер видит средоточие наиболее страшных пороков, свойственных веку. Описанию высших кругов общества Лабрюйер и отводит центральное место в книге. Тема народа раскрывается в принципиально ином плане: Лабрюйер не описывает нравы низших слоев общества, он ставит вопрос о положении народа, о его судьбе в абсолютистском государстве. Мысль о народе присутствует везде. В сатирических портретах вельмож и священников, судей и откупщиков подчеркивается контраст между их привилегированным положением и страшной участью основной массы бесправного населения Франции. «Шампань, встав из-за стола после долгого обеда, раздувшего ему живот, и ощущая приятное опьянение от авнейского или силлерийского вина, подписывает поданную ему бумагу, которая, если никто тому не воспрепятствует, оставит без хлеба целую провинцию. Его легко извинить: способен ли понять тот, кто занят пищеварением, что люди могут где-то умирать с голоду?» («О житейских благах», 18).

Иронический тон в такого рода характеристиках часто уступает место глубокому возмущению. Сатирический портрет перерастает в филиппику против тех, кто, с точки зрения Лабрюйера, должен осуществлять духовное и светское руководство народом в «разумном государстве». «Этот свежий, цветущий, пышущий здоровьем юноша — сеньор целого аббатства и обладатель десятка других бенефиций, от которых получает сто двадцать тысяч ливров дохода. Он купается в золоте, а рядом семьям ста двадцати бедняков нечем обогреться зимой, нечем прикрыть наготу и порою даже нечего есть. Их нищета ужасна и постыдна. Какая несправедливость!» («О житейских благах», 26).

В словах Лабрюйера о французском крестьянстве протест против чудовищной эксплуатации тружеников земли нашел свое наиболее открытое и сильное выражение: «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены... членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логова, где утоляют голод ржаным хлебом, водой и кореньями,

Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим право не остаться без хлеба, который посеяли» («О человеке», 128). Наряду с лучшими баснями Лафонтена, посвященными той же крестьянской теме, этот отрывок из «Характеров» прочно вошел в историю общественной мысли Франции. Через столетие после его написания он обрел новую жизнь в период французской революции, когда он был использован как призыв к борьбе против нечеловеческих условий жизни французского крестьянства. На это описание ссылается Пушкин в своем «Путешествии из Москвы в Петербург».

Пользуясь методом сравнения между людьми разных социальных положений и различных моральных качеств, Лабрюйер приходит к интересным выводам. Дурными или хорошими люди делаются не в силу своих природных задатков, а под влиянием тех условий, в которых они живут. Наряду с пороками, которые «заложены в нас от природы и усугублены привычкой, бывают и такие, которые мы приобретаем, хотя они нам не присущи» («О человеке», 15). Рационалистический тезис об извечности законов психологии уступает место изучению человеческого характера в определенной среде. В знаменитом сравнении вельмож и народа дается не индивидуальная, а чисто социальная характеристика: «Человек из народа никому не делает зла, тогда как вельможа никому не желает добра и многим способен причинить большой вред... У народа мало ума, у вельмож — души; у первого — хорошие задатки и нет лоска, у вторых — все показное и нет ничего, кроме лоска. Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: Народом» («О вельможах», 24). Заключительная часть этого пассажа очень важна для понимания идейной и художественной направленности книги. Первым из наиболее значительных моралистов XVII века Лабрюйер заявил о своем желании принадлежать к народу. Эта четкая социальная ориентация придает страстный разоблачительный характер сатире Лабрюйера на высшее общество и сближает его в большей степени с Мольером и Лафонтеном, чем с создателями моралистической прозы XVII века Паскалем и Ларошфуко.

В сатирических портретах придворных, вельмож, католических проповедников, чиновников и откупщиков Лабрюйер показывает общество в его различных аспектах. С большим мастерством снимает писатель ореол величия с дома монархов, пышность которого должна была внушать почтение народу. «Если смотреть на королевский двор с точки зрения жителей провинции, он представляет собой изумительное зрелище. Стоит познакомиться с ним — и он теряет все свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко» («О дворе», 6). Тонкое сравнение, переходящее в метафору, делает

пойнтной причину разочарования, которое рождается при знакомстве с придворной жизнью: «Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных» («О дворе», 10). Двор — царство страшных пороков и холодной учтивости, он привлекает и пугает, заставляет вступать в опасную игру «жадных, истовых в желаниях и тщеславных царедворцев» («О дворе», 22). Описывая двор, ставший центром притяжения столичной и провинциальной аристократии, Лабрюйер останавливает свое внимание не столько на развращенности придворных нравов, сколько на моральной деградации высших кругов общества во главе с наиболее родовитой знатью. Лишенные своих старых феодальных привилегий, прикованные к подножию трона, французские графы стремятся вознаградить себя ложным величием за утерю реального политического главенства в государстве. Спесь извращает психологию не только вельмож, но и аристократов, не только дворянства крови, но и привилегированной части буржуазии — дворянства мантии. Для поддержания престижа своего имени французский аристократ рискует состоянием; он готов для этой же цели пойти на любую подлость. При дворе идет страшная борьба за должности, но «человек, получивший видную должность, перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом... сообразуясь отныне лишь со своим местом и сайом» («О дворе», 51). Двор развивает низкие инстинкты, ибо наиболее тщеславные люди чувствуют себя ничтожными перед волей самодержца. «Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом» («О дворе», 12).

С редким для писателя-рационалиста историческим чутьем Лабрюйер раскрывает те явления, в которых находит свое отражение политика абсолютной монархии и связанные с нею глубокие общественные процессы. Первым из писателей-классицистов Лабрюйер создает четкое представление о паразитизме двора, о пустоте и никчемности жизни, «которая целиком проходит в приемных залах, в дворцовых подъездах и на лестницах» («О дворе», 7). Паразитизм — явление не новое в истории французского королевского двора, его в какой-то мере сознательно культивировал Людовик XIV, заинтересованный в том, чтобы превратить феодала в царедворца. Однако именно в 80—90-е годы, то есть в период крутого поворота монархии в сторону реакции, это явление становится признаком разложения не только всех слоев французского дворянства, но и самого абсолютистского государства.

С реакционной политикой Людовика XIV связано широкое распространение ханжества при дворе, где мода на ханжество приходит на смену моде на волюнтаризм. «Хотя это и противно здравому

мыслу, но еще совсем недавно придворный, отличавшийся благочестием, казался смешным чудачком; мог ли он надеяться, что так скоро войдет в моду?» («О моде», 17). Лабрюйер создает различные варианты образа ханжи, широко используя характеристику ханжества в гениальной пьесе Мольера «Тартюф». Интересно, что, заимствуя многое у Мольера, Лабрюйер противопоставляет образу Тартюфа характер более тонкого в своих приемах лицемера Онуфрия (см. «О моде», 24). Это противопоставление вызвало целую дискуссию в литературе. Сент-Бев считает, что Лабрюйер в своей тонкой и умной критике образа Тартюфа не учел законов сцены, поэтому его Онуфрий не был бы понят публикой. Мишо же говорит о том, что критика Лабрюйера напоминает ему полемику миниатюриста с создателем фресок. Замечания эти интересны и справедливы. Однако нельзя забывать самого существенного для понимания позиции Лабрюйера. В 80-е и 90-е годы ханжой становится искушенный в притворстве царедворец, а «на что только не пойдет придворный, чтобы возвыситься, если ради этого он готов даже притвориться благочестивым» («О моде», 18). Лучшую из своих характеристик ложного благочестия, то есть ханжества (см. «О моде», 21), Лабрюйер заканчивает разящей сатирой на двор Людовика XIV, утерявший навеки право окружить себя вновь писателями, равными Расину и Мольеру. «Благочестивец — это такой человек, который при короле-безбожнике сразу стал бы безбожником» («О моде», 21).

С исключительным вниманием, как подлинный историк нравов, анализирует Лабрюйер отношения людей в обществе. Он подчеркивает те различия, которые возникают между людьми, обладающими большим или меньшим состоянием. Деньги решают вопрос о том, надеет человек «мундир, или мантию, или рясу» («О житейских благах», 5). Знатное происхождение — залог высокого положения в обществе, и только наивный человек может надеяться, не будучи дворянином, на милость двора. Но золото приобретает силу, которая способна победить даже «длинный ряд предков». «Если финансист разорется, придворные говорят: это выскочка, ничтожество, хам. Если он преуспевает, они просят руки его дочери» («О житейских благах», 7).

Богатство настолько меняет характер отношений в обществе, что Лабрюйер, не колеблясь, утверждает: «настоящее за богачами». Это заставляет его изучить моральное и общественное лицо разбогатевших буржуа. В результате своих наблюдений он приходит к удручающим выводам. Для того чтобы составить себе состояние, люди жертвуют всем, включая честь и совесть. Корыстолюбие буржуа порождает не менее страшные последствия, чем спесь аристократа. Оно убивает все человеческие чувства. Тех, кто любит корысть и на-

живу, «не назовешь ни отцами, ни гражданами, ни друзьями, ни христианами. Они, пожалуй, даже не люди. Зато у них есть деньги» («О житейских благах», 58).

Богатство одних приносит разорение, нищету и бедствия другим. А между тем вместе с богатством приходят почет и общественное признание «морального превосходства» богача. В образе Сося («О житейских благах», 15) Лабрюйер показывает типичного выскочку, который с помощью грязных махинаций добивается высокого положения: «Он купил должность и таким путем стал человеком благородным. Ему оставалось только сделаться добродетельным: звание церковного старосты совершило и это чудо». Среди разнообразных характеров богатых буржуа особенно зловещими выглядят у Лабрюйера портреты откупщиков и финансистов, обогащение которых вызывало возмущение французского народа. В их чертах нетрудно угадать прообраз Тюркаре — героя одноименной комедии Лесажа, написанной в начале XVIII века, в преддверии французского Просвещения.

Две главы — «О монархе или о государстве» и «О церковном красноречии» — представляют особый интерес, так как в них Лабрюйер говорит о французской абсолютной монархии и ее оплоте — католической церкви. Было бы ошибочным думать, что именно в них Лабрюйер определил свои идеалы в области политики, религии и морали. Свои воззрения на общество и человека Лабрюйер выразил во всех частях своей книги. К тому же согласно неписаному, но суровому закону века Людовика XIV эти главы не могли не содержать восхвалений монаршей мудрости. Такого рода «хвалу» мы находим у Буало и даже у Мольера, не говоря уже о второстепенных писателях второй половины XVII века. Сент-Бев остроумно назвал эти главы «Характеров» «двумя громоотводами». Принимая все это во внимание, нельзя, однако, не видеть в них средоточия политических и религиозных идей Лабрюйера.

Будучи убежденным католиком, Лабрюйер придавал огромное значение той роли, которую, по его мнению, католическая церковь призвана была сыграть в морально-этическом воспитании человека и общества. Однако, наблюдая всеобщую развращенность нравов, Лабрюйер приходит к убеждению, что и отцы церкви подверглись пагубному влиянию двора и светского общества.

«Христианская проповедь превратилась ныне в спектакль. Евангельское смирение, некогда одушевлявшее ее, исчезло: в наши дни проповеднику всего нужнее выразительное лицо, хорошо поставленный голос, соразмерный жест, умелый выбор слов и способность к длинным перечислениям. Никто не вдумывается в смысл слова божьего, ибо проповедь стала всего лишь забавой, азартной игрой,

где одни состязаются, а другие держат пари» («О церковном красноречии», 1).

Связь между моралью и религией не ставится под сомнение ни в первом, ни в последующих изданиях. Но если бы Лабрюйер продолжал видеть в религии панацеею от всех общественных язв в тот период, когда он все глубже раскрывал социальные корни человеческих пороков, он, несомненно, усилил бы свою аргументацию, включил бы новые, более убедительные примеры или рассуждения. Этого не случилось. Глава «О церковном красноречии», в отличие от всех остальных глав, не претерпевает почти никаких изменений, не обогащается новыми отрывками. Не потому ли, что проблемы морали и общественной этики показались Лабрюйеру именно в этот период неизмеримо более сложными, нежели в начале его творческого пути?

В отличие от главы «О церковном красноречии», глава «О монархе или о государстве» подверглась изменениям и была значительно увеличена в последних прижизненных изданиях «Характеров». В первом издании она носила название «О монархе». Лишь в последующих изданиях Лабрюйер прибавил слова «или о государстве». Это, казалось бы, незначительное изменение в условиях деспотического правления Людовика XIV, который провозгласил: «Государство — это я», имело глубокий и не до конца еще раскрытый смысл. «Все процветает в стране, где никто не делает различия между интересами государства и государя», — пишет Лабрюйер («О монархе или о государстве», 25). А между тем все содержание этой главы говорит о том, что Лабрюйер все глубже и глубже основывал существенное различие между интересами государя и его подданных. Первое, в чем проявляется критика монархии, — это все растущее возмущение тем, что народ, «исущий гяжкое бремя», оказывается вынужденным не только «облегчать жребий государя», но и «приумножать благосостояние» «утопающих в роскоши вельмож» («О монархе или о государстве», 8). Вельможа, министр и фаворит — вот в чьих руках оказалась судьба народа. Но фаворит меньше всего думает о народе. Он «всегда одинок: у него нет ни привязанностей, ни друзей» («О монархе или о государстве», 18).

«Народу выпадает великое счастье, когда монарх облекает своим доверием и назначает министрами тех, кого назначили бы сами подданные, будь это в их власти» («О монархе или о государстве», 22). Но это счастье выпадает, с точки зрения Лабрюйера, слишком редко. «Искусство входить во все подробности и с неусыпным вниманием относиться к малейшим нуждам государства составляет существенную особенность мудрого правления; по правде сказать, короли и министры в последнее время слишком пренебрегают этим искусством...» («О монархе или о государстве», 23). В по-

следнем и наиболее значительном отрывке главы Лабрюйер пытается нарисовать идеальный образ короля. Этот образ мало похож на реальную фигуру Людовика XIV. Расхождение между идеальным и реальным ощущается здесь с особой силой. Однако Лабрюйер не видит никакого пути для улучшения правления, кроме пути самосовершенствования монарха.

Характеристика общества не исчерпывается у Лабрюйера описанием отдельных его кругов. В своем возмущении против социальной несправедливости писатель доходит до создания сатиры на освященную церковь и иерархию в обществе. Особенно интересен в этом плане отрывок, в котором рассказывается о некоей стране и обычаях ее жителей («О дворе», 74). У народа этой страны есть свой бог и свой король. «Ежедневно в условленный час тамошние вельможи собираются в храме», где они «становятся широким кругом у подножия алтаря и поворачиваются спиной к жрецу, а лицом к королю... Этот обычай следует понимать как своего рода субординацию: народ поклоняется государю, а государь — богу». Современникам не трудно было узнать в этой стране Версаль. В заключительной части этого отрывка Лабрюйер упоминает о том, что страна эта удалена на тысячу лье от моря, омывающего край ирокезов и гуронов. Эта географическая справка выглядит как невысказанное сравнение между обычаями версальцев и дикарей. В этом сатирическом отрывке нельзя не увидеть наброска, который под пером писателей XVIII века, вероятно, был бы превращен в просветительский философский роман.

Многое в творчестве Лабрюйера заставляет думать о том, насколько богатой была его книга, из которой черпали сюжеты, мысли, наблюдения, художественные приемы многие писатели XVIII века. У Лабрюйера можно найти наблюдения, напоминающие «Персидские письма» и даже «Дух законов» Монтескье. В гневной отповеди своему веку Лабрюйер, подобно Жан-Жаку Руссо, напоминает о том, что современная цивилизация изгнала понятие добродетели. Умная, разящая сатира Лабрюйера предвосхищает сатиру Дидро в «Племяннике Рамо» и заставляет говорить о нем как об одном из предшественников великого энциклопедиста.

Само собой разумеется, что историческая задача великих писателей Франции XVIII века, которые «просвещали головы для приближавшейся революции»,<sup>1</sup> делала их мысль более целеустремленной и стремительной в своем развитии, и было бы ошибкой искать Эльдорадо в положительной программе Лабрюйера. Подвергая критике политику абсолютной монархии и самого Людовика XIV, он

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 16.

возвращается к идее разумной монархии («О монархе или о государстве»). Показав духовное убожество и умственную развращенность католических проповедников, он говорит о морали, базирующейся на очищенной от скверны религии («О церковном красноречии»).

Лабрюйер был писателем своего времени. В своей книге он превосходно выразил то, что хотел поведать грядущим поколениям. Вольтер оценил «точный, сжатый и иервный стиль» «единственного в своем жанре» произведения Лабрюйера. По мнению М.-Ж. Шенье, «„Характеры“ в большей степени, нежели другие прозаические произведения XVII века, обладают одновременно тонкостью мысли, оригинальностью формы, разнообразием выражений и сатирической правдой...» Многие писатели и литературоведы XIX—XX веков говорят о Лабрюйере как о тонком стилисте, блестящем сатирике и одном из умнейших и прозорливейших людей своего времени.

В России «Характеры» Лабрюйера приобрели известность уже в XVIII веке и, возможно, оказали некоторое влияние на Кантемира и Фонвизина. В XIX веке их неоднократно переводили на русский язык. Пушкин и Толстой признали высокие качества этого памятника французской литературы XVII века.

*Т. Хатисова*

ХАРАКТЕРЫ,

ИЛИ

НРАВЫ  
НЫНЕШНЕГО  
ВЕКА



*Admonere volumus, non mor-  
dere; prodesse, non laedere; con-  
sulere moribus hominum, non  
officere.*

Е т а м

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Я возвращаю публике свой долг: ей обязан я тем, что составляет предмет этой книги, я занимался им со всей заботой о правдивости, доступной мне и достойной его, стараясь ни в чем не погрешить против истины, и теперь, окончив свой труд, считаю справедливым отдать его читателям. Если, взглядываясь на досуге в этот портрет, сделанный с натуры, они найдут у себя недостатки, изображенные мною, пусть исправят их: это единственная цель, которую должен ставить себе каждый автор, и главная награда, о которой он смеет мечтать. Именно потому, что люди так упорствуют в своей приверженности к пороку, их с особенным упорством следует корить за это: они, возможно, стали бы еще хуже, не будь у них строгих судей и критиков — тех, что произносят проповеди и пишут книги. Проповедники и писатели не могут не радоваться рукоплесканиям, но они должны были бы стореть со стыда, если бы своими речами и сочинениями стремились только стяжать похвалы, тем более что нет и не может быть для них награды более высокой и бесспорной, чем перемена в нравах и образе жизни их читателей и слушателей. Говорить и писать стоит только ради просвещения людей; однако пусть не угрызается совестью те, кому случится при этом доставить публике и удовольствие, при том условии, конечно, что оно поможет ей лучше понять и усвоить полезные истинны. Но если в книгу или проповедь вкрались

---

<sup>1</sup> Мы намеревались предупредить, но не обидеть, принести пользу, но не ранить, улучшить нравы людей, но не оскорбить человека. *Эразм (лат.)*.

мысли и рассуждения, не отмеченные живостью, изяществом и остротой, лишенные вдобавок здравого смысла, ясности, поучительности и недоступные человеку необразованному, о котором тоже ни в коем случае нельзя забывать, то, будь они даже введены для разнообразия, для того, чтобы дать отдых вниманию, перед тем как вновь сосредоточить его, — все равно читатель должен осудить их, а сочинитель — вычеркнуть; вот первый закон, согласно которому следует судить мой труд. Но это еще не все: мне очень важно, чтобы читатели не упускали из виду заглавия моей книги и до последней страницы помнили, что я описываю в ней характеры и нравы, свойственные нашему веку, ибо хотя я часто черпаю примеры из жизни французского королевского двора и говорю о своих современниках, однако нельзя свести содержание моего труда к одному королевскому двору и к одной стране: это сразу сузит его, сделает менее полезным, исказит замысел, состоящий в том, чтобы изобразить людей вообще, нарушит внутреннюю логику, которая определяет не только порядок глав, но и последовательность рассуждений внутри каждой главы. Сделав эту столь существенную оговорку, из которой вытекают немаловажные следствия, я беру на себя смелость не принимать в расчет никаких обид и жалоб, никаких недоброжелательных толкований, неуместных догадок и необоснованной хулы, глупых насмешек и злонамеренных кривотолков. Читая книгу, нужно вникать в ее смысл, а прочитав, либо промолчать, либо рассказать о прочитанном. Но только о прочитанном — не больше и не меньше. Впрочем, одного разумения для этого недостаточно: нужно еще и желание. Таково условие, которое должен ставить иным читателям совестливый и взыскательный автор в качестве единственного вознаграждения за свой труд; иначе ему лучше вообще прекратить писание, если, конечно, собственным спокойствием он дорожит больше, чем служением истине и пользой, которую кто-нибудь все же извлечет из его книги. Сознруюсь, что с 1690 года и вплоть до пятого издания моего труда я колебался между стремлением добавить к нему новые характеры и тем придать ему большую полноту и завершенность и боязнию услышать упрек: «Неужели эти «Характеры» будут печататься вечно и автор не даст нам ничего нового?» Иные люди, весьма сведущие и разумные, говорили мне: «Предмет вашей книги важен, поучителен, приятен и неистощим;

живите долго и, пока длится ваша жизнь, не прерывайте работы над ним. Лучшей темы вам не найти: человеческое безумство таково, что оно ежегодно будет доставлять вам материала на целый том». Другие вполне основательно предостерегали меня против непостоянства толпы и легкомыслия публики, хотя до сих пор у меня были основания только благодарить ее. Они не уставали повторять мне, что вот уже тридцать лет, как люди читают лишь забавы ради, поэтому им нужны не столько новые главы, сколько новые заглавия; что из-за этой умственной лени свет наводнен и лавки забиты книгами скучными, бездарными и пустыми, противными поэтическим правилам, хорошему вкусу, благопристойности и морали, торопливо и дурным слогом написанными и столь же торопливо прочитанными, — да и то лишь благодаря их новизне; что если я способен только увеличивать в объеме одну-единственную книгу, пусть даже сносную, то уж лучше мне положить перо. Я согласился отчасти и с теми и с другими и принял примирительное решение: не колеблясь, добавил некоторые параграфы к тем, которые уже вдвое увеличили книгу против ее первого издания, но, чтобы публике не перечитывать старое, прежде чем она доберется до нового, и чтобы легче было найти нужное место, я озаботился отметить последние добавления особым значком; я счел также нелишним указать добавления к первому изданию более простым значком; эти значки, по которым можно проследить, как развивался мой труд, должны облегчить его чтение. Заранее желая успокоить тех, кому покажется, что вставкам никогда не будет конца, я к вышеупомянутым значкам присовокупляю обещание ничего подобного больше не делать. Если же кто-нибудь обвинит меня в нарушении слова на том основании, что в три последующих издания включено довольно много новых параграфов, я попрошу этого читателя поверить мне, что, перемешивая их со старыми и уничтожая разделительные значки, я отнюдь не задавался целью принудить людей перечитывать уже известные им места; просто мне хотелось оставить потомкам более полное, законченное и, быть может, более совершенное произведение о современных нравах. Нужно сказать еще, что я отнюдь не задавался целью написать книгу максим: максимы в науке о морали подобны законам, а у меня слишком мало власти, да и таланта, чтобы выступать в качестве законодателя. Притом они, на манер изречений оракула, должны

быть сжатыми и короткими, я же нередко грешил против этого правила. Иные мои размышления действительно короткие, другие более пространны; о разных вещах думаешь по-разному, поэтому и выражаешь их по-разному: сентенцией, рассуждением, метафорой или иным тропом, сопоставлением, простой аналогией, рассказом о каком-либо событии или об одной из его подробностей, описанием, картиной; отсюда и вытекает длина или краткость моих размышлений. Тот, кто пишет максимы, хочет, чтобы ему во всем верили; я же, напротив, согласен выслушать упрек в том, что иногда ошибался в своих наблюдениях, лишь бы это помогло другим не делать таких же ошибок.

*Глава I*  
О ТВОРЕНИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
РАЗУМА

1

Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо уже более семи тысяч лет на земле живут и мыслят люди. Урожай самых мудрых и прекрасных наблюдений над человеческими нравами снят, и нам остается лишь подбирать колосья, оставленные древними философами и мудрейшими из наших современников.

2

Пусть каждый старается думать и говорить разумно, но откажется от попыток убедить других в непогрешимости своих вкусов и чувств: это слишком трудная затея.

3

Писатель должен быть таким же мастером своего дела, как, скажем, часовщик. Одним умом тут не обойдешься. Некий судья отличался незаурядными достоинствами, был и проницателен и опытен, но напечатал книгу о морали — и она оказалась редкостным собранием благоглупостей.

4

Труднее составить себе имя превосходным сочинением, нежели прославить сочинение посредственное, если имя уже создано.

## 5

Мы приходим в восторг от самых посредственных сатирических или разоблачительных сочинений, если получаем их в рукописи, из-под полы и с условием вернуть их таким же способом; настоящий пробный камень — это печатный станок.

## 6

Если из иных сочинений о морали исключить обращение к читателям, посвятельное послание, предисловие, оглавление и похвальные отзывы, останется так мало страниц, что вряд ли они могли бы составить книгу.

## 7

Есть области, в которых посредственность невыносима: поэзия, музыка, живопись, ораторское искусство.

Какая пытка слушать, как оратор напыщенно произносит скучную речь или плохой поэт с пафосом читает посредственные стихи!

## 8

Иные сочинители трагедий страдают пристрастием к стихотворным тирадам, на первый взгляд сильным, благородным, исполненным высоких чувств, а в сущности, просто длинным и напыщенным. Все жадно слушают, закатив глаза и открыв рот, воображая, будто им это нравится, и чем меньше понимают, тем больше восхищаются; от восторгов и рукоплесканий людям некогда перевести дух. Когда я был еще совсем молод, мне казалось, что эти стихи ясны и понятны актерам, партеру, амфитеатру, а главное — их авторам и что если я при всем старании не способен их уразуметь, значит, я сам и виноват; с тех пор я изменил свое мнение.

## 9

Пока еще никто не видел великого произведения, сочиненного совместно несколькими писателями: Гомер сочинил «Илиаду», Вергилий — «Энеиду», Тит Ливий — «Декады», а римский оратор — свои речи.

В искусстве есть некий предел совершенства, как в природе — предел благорастворенности и зрелости. У того, кто чувствует и любит такое искусство, — превосходный вкус; у того, кто не чувствует его и любит все стоящее выше или ниже, — вкус испорченный; следовательно, вкусы бывают хорошие и дурные, и люди правы, когда спорят о них.

Люди часто руководствуются не столько вкусом, сколько пристрастием; иначе говоря, на свете мало людей, наделенных не только умом, но, сверх того, еще верным вкусом и способностью к справедливым суждениям.

Жизнь героев обогатила историю, а история украсила подвиги героев; поэтому я затрудняюсь сказать, кто кому больше обязан: пишушие историю — тем, кто одарил их столь благородным материалом, или эти великие люди — своим историкам.

Одни лишь хвалебные эпитеты еще не составляют похвалы. Похвала требует фактов, и притом умело поданных.

Весь талант сочинителя состоит в умении живописать и находить точные слова. Только образы и определения ставят Моисея,<sup>1</sup> Гомера, Платона, Вергилия и Горация выше других писателей; кто хочет писать естественно, изящно и сильно, должен всегда выражать истину.

В наш литературный слог пришлось ввести такие же изменения, какие были введены в архитектуру: готический стиль, навязанный зодчеству варварами, был изгнан

<sup>1</sup> Хотя Моисей и не считается писателем, (Прим. автора.)

и заменен ордерами дорическим, ионическим и коринфским. То, что прежде мы видели только на развалинах древнегреческих и римских зданий, стало достоянием современности и украшает теперь наши портики и перистилы. Точно так же, чтобы достичь совершенства в словесности и — хотя это очень трудно — превзойти древних, нужно начинать с подражания им.

Сколько протекло веков, прежде чем люди прониклись вкусами древних и вернулись к простоте и естественности в науках и искусстве!

Мы питаемся тем, что нам дают писатели древности и лучшие из иовых, выжимаем и вытягиваем из них все, что можем, насыщая этими соками наши собственные произведения; потом, выпустив их в свет и решив, что теперь-то мы уже научились ходить без чужой помощи, мы восстаем против наших учителей и дурно обходимся с ними, уподобляясь младенцам, которые бьют своих кормилиц, окрепнув и набравшись сил на их отличном молоке.

Некий современный сочинитель все время старается нас убедить, что древние писали хуже новых, причем применяет два вида доказательств: рассуждение и пример. Рассуждает он, основываясь на собственном вкусе, а примеры берет из собственных произведений.

Он признает, что хотя слог у древних неровный и неправильный, все же у них есть удачные места; он приводит цитаты, и они так прекрасны, что ради них стоит прочесть даже его критику.

Иные из наших знаменитых писателей отстаивают древних, но можно ли им доверять? Их сочинения ни в чем не отстают от вкуса античных авторов, следовательно, они как бы защищают самих себя: на этом основании их не желают слушать.

## 16

Сочинители должны были бы охотно читать свои труды тем просвещенным людям, которые видят все недостатки произведения и умеют правильно его оценить.

Не слушать ничьих советов и отвергать все поправки может только педант.

Сочинитель должен с одинаковой скромностью выслушивать и похвалу и критику.

Среди множества выражений, передающих нашу мысль, по-настоящему удачным может быть только одно; хотя в беседе или за работой его находишь не сразу, тем не менее оно существует, а все остальные неточны и не могут удовлетворить вдумчивого человека, который хочет, чтобы его поняли.

Хороший и взыскательный автор знает, что выражение, найденное после долгих и трудных поисков, оказывается обычно самым простым, самым естественным — первым, которое безо всяких усилий должно было бы прийти в голову.

Люди, пишущие под влиянием минутной настроенности, потом много правят свои произведения. Но настроенность меняется под влиянием различных обстоятельств, и тогда эти люди охлаждаются к тем самым выражениям и словам, которые особенно им нравились.

Ясность ума, которая помогает нам писать хорошие книги, в то же время заставляет нас сомневаться, так ли уж они хороши, чтобы их стоило читать.

Сочинитель, у которого не слишком много здравого смысла, уверен, что он пишет божественно; здравомыслящий писатель надеется, что он пишет разумно.

«Мне предложили, — сказал Арист, — прочесть мои произведения Зоилу, и я согласился. Они произвели на него такое впечатление, что, растерявшись, он не только не разобрал их, но даже высказал мне несколько сдержанных похвал. С тех пор он уже никому их не хвалил, но я не в обиде на него, ибо понимаю, что большего от автора и требовать нельзя. Мне даже жаль его: ему пришлось услышать нечто хорошее и к тому же написанное не им».

Тот, кто по своему положению не знает авторского самолюбия, обычно находится во власти других страстей и стремлений, которые целиком поглощают его и делают равнодушным к замыслам других сочинителей. На свете мало людей достаточно умных, сердечных и благополучных, чтобы от души наслаждаться безупречными произведениями.

Мы так любим критиковать, что теряем способность глубоко чувствовать поистине прекрасные творения.

Многие люди, даже способные понять достоинства рукописи, которую им прочли, не решаются похвалить ее вслух, ибо не знают, какой прием она встретит, когда будет напечатана, или как ее оценят знаменитости; они не смеют высказать свое мнение, всегда стремятся быть заодно с большинством и ждут одобрительного приговора толпы. Вот тут они смело заявляют, что первыми оценили это произведение и что читатели на их стороне.

Эти люди упускают самые благоприятные случаи убедить нас в том, что они проникательны и образованны, что их суждения глубоки, что хорошее для них хорошо, а превосходное — превосходно. Им в руки попадает отличное сочинение: это первый труд автора, еще не составившего себе имени, ничем не знаменитого; следовательно, нет нужды за ним ухаживать, нет нужды восхвалять его произведения в надежде привлечь к себе внимание его покровителей. Зелоты, от вас никто не требует, чтобы вы восклицали: «Это воплощение остроумия! Какой дивный дар человечеству! Никогда еще изящная словесность не достигала таких высот! Отныне это произведение станет мерилom вкуса». Такие восторги преувеличены и неприятны, от них пахнет желанием получить пенсию и аббатство, они вредны для того, кто действительно стоит похвал и кого хотят похвалить. Но почему бы вам не сказать: «Вот хорошая книга!» Правда, вы это говорите вместе со всей Францией, со всеми чужеземцами и соотечественниками, когда книгу читает вся Европа и она переведена на несколько языков, но теперь уже поздно.

Иные люди, прочитав какую-нибудь книгу, приводят потом места, смысла которых они не поняли и вдобавок еще исказили, перетолковав по-своему. Они вложили в эти страницы собственные мысли, облекли их в собственные слова, испортили, обезобразили и вот выносят их на суд,

утверждая, что они плохи, — и все с этим соглашаются. Но тот отрывок, который цитируют подобные критики, — вернее, полагают, что цитируют, — не становится от этого хуже.

23

«Что вы скажете о книге Гермодора?» — «Что она прескверная, — заявляет Антим. — Да, прескверная. Настолько плохая, что ее нельзя даже назвать книгой, и вообще она не стоит того, чтобы о ней упоминать». — «А вы ее читали?» — «Нет», — отвечает Антим. Ему следовало бы добавить, что книгу разбрали Фульвия и Мелания, хотя тоже не читали ее, и что сам он — друг Фульвии и Мелании.

24

Арсен взирает на людей с высоты своего таланта: они так далеко внизу, что их ничтожество просто поражает его. Захваленный, заласканный, превознесенный до небес людьми, которые как бы связаны круговой порукой взаимной лестии, он, обладая кое-какими достоинствами, полагает, что наделен всеми добродетелями, существующими на свете, но не существующими у него самого. Он так занят собственными блистательными замыслами и только ими, что весьма неохотно соглашается время от времени обнародовать какую-нибудь премудрую истину, так неспособен снизойти до обыкновенных человеческих суждений, что предоставляет заурядным душам вести размеренное и разумное существование, а сам считает себя в ответе за свои выходки только перед кружком восторженных друзей, ибо лишь они умеют здраво судить и мыслить, знают, как писать, знают, что писать. Нет такого произведения, хорошо принятого в свете и одобренного всеми порядочными людьми, которое он похвалил бы или хотя бы прочел... Не пойдет ему впрок и этот портрет: его он тоже не заметит.

25

У Теокина немало бесполезных знаний и весьма страшных предубеждений; он скорее методичен, чем глубок, недостаток ума восполняет памятью, рассеян, высокомерен и всегда как будто насмехается над теми, кто, по его мнению, недостаточно его ценит. Как-то случилось мне прочесть ему

написанный мною труд; он его выслушал. Не успел я окончить, как он заговорил о своем произведении. «А что он думает о вашем?» — осведомитесь вы. Я ведь уже ответил: он заговорил о своем.

26

Как ни безупречно произведение, от него не останется камня на камне, если автор, прислушиваясь к критике, поверит всем своим судьям, ибо каждый из них потребует исключить именно то место, которое меньше всего ему понравилось.

27

Всем известно, что если десять человек требуют, чтобы какое-либо выражение или какую-либо мысль автор вычеркнул из книги, то другие десять несогласны с ними. «Зачем исключать эту мысль? — говорят они. — Она свежа, прекрасна и великолепно выражена». Между тем первые продолжают утверждать, что они вовсе пренебрегли бы ею или по крайней мере иначе выразили бы ее. «У вас есть словечко, отлично найденное и живо рисующее то, о чем вы пишете», — говорят одни. «У вас есть словечко, — говорят другие, — совершенно случайно и не соответствующее тому, что вы, вероятно, хотели сказать». Так эти люди относятся к одному и тому же выражению, к одному и тому же штриху, а ведь все они знатоки или слывут знатоками. Автору, пожалуй, остается один только выход: набравшись смелости, согласиться с теми, кто его одобряет.

28

Писатель, наделенный умом, не должен обращать внимание на вздорную, грязную, злобную критику своего произведения, на глупые толкования отдельных мест, — и, уж во всяком случае, не должен вычеркивать эти места. Он отлично знает, что, как бы тщательно он ни отделял книгу, насмешники все равно обрушатся на нее с издевками, стараясь разбранить самое лучшее, что есть в его творении.

29

Если верить некоторым решительным людям, некоторым горячим головам, то для выражения чувств слова излишни: лучше изъясняться знаками и понимать друг дру-

га без слов. Хотя вы пишете сжато и точно — таково по крайней мере общее мнение, — люди, о которых я говорю, находят ваш слог расплывчатым. Им нужны пробелы, которые они сами могли бы заполнить, им необходимо, чтобы вы писали для них одних: целый период они заменили бы начальным словом, целую главу — одним периодом. Вы прочитали им какое-то место из своего произведения, и с них этого достаточно: они уже все уразумели, им ясен весь ваш замысел. Самое приятное для них чтение — это головоломки, состоящие из загадочных фраз, и они скорбят, что подобный искалеченный слог встречается не часто и что мало писателей, которым он по душе. Если сочинитель уподобит что-либо размеренному, спокойному и в то же время быстрому течению реки или гонимому ветром пламени, которое, охватив лес, уничтожает дубы и сосны, — они в таких сравнениях не найдут красноречия. Поразите их фейерверком, ослепите молнией — вот тогда ваш слог покажется им прекрасным и разумным.

30

Как велико различие между произведением просто изящным и произведением совершенным или образцовым! Не знаю, существуют ли еще в наше время творения последнего рода. Даже немногочисленным писателям, наделенным большим талантом, легче, пожалуй, достичь истинного благородства и величия, нежели избежать всякого рода погрешностей стиля. «Сид» при своем рождении был встречен единодушным гулом одобрения. Эта трагедия оказалась сильнее политики, сильнее властей, тщетно пытавшихся ее уничтожить; за нее дружно высказались люди, которые обычно придерживаются разных взглядов и мнений, — вельможи и простолюдины: все они знали ее наизубок и во время представления подсказывали реплики актерам. Словом, «Сид» — это одно из совершеннейших творений словесности, и тем не менее один из самых обогранных в мире критических разборов — это разбор «Сиды».

31

Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера.

Капис считает себя судьей в вопросах изящной словесности и уверен, что пишет не хуже Бугура и Рабютена; он один, наперекор всем, отрицает за Дамисом право считаться хорошим писателем. Что касается Дамиса, то он согласен со всеми и чистосердечно говорит, что Капис — скучный писака.

Газетчик обязан сообщать публике, что вышла в свет такая-то книга, что она издана Крамуази, отпечатана таким-то шрифтом на хорошей бумаге, красиво переплетена и стоит столько-то. Он должен изучить все — вплоть до вывески на книжной лавке, где эта книга продается; но боже его избави пускаться в критику.

Высокий стиль газетчика — это пустая болтовня о политике.

Раздобыв какую-нибудь новость, газетчик спокойно ложится спать; за ночь она успевает протухнуть, и поутру, когда он просыпается, ее приходится выбрасывать.

Философ проводит всю жизнь в наблюдениях за людьми и, не щадя сил, старается распознать их пороки и слабости. Излагая свои мысли, он порою ищет для них отточениую форму, но не авторское тщеславие движет им при этом, а желание показать открывшуюся ему истину в таком свете, чтобы она поразила умы. Некоторые читатели полагают, что платят ему с лихвой, когда с важным видом объявляют, что прочли его книгу и что она вовсе не глупа; однако он глух к похвалам: ради них он не стал бы трудиться и бодрствовать по ночам. Его замыслы куда обширнее, а цели — возвышенней: он с радостью откажется от любых восхвалений и даже от благодарности ради того великого успеха, который редко кому выпадает на долю, — он стремится исправить людей.

Глупцы читают книгу и ничего не могут в ней понять; заурядные люди думают, что им все понятно; истинно умные люди иной раз понимают не все: запутанное они на-

ходят запутанным, а ясное — ясным. Так называемые умники изволят находить неясным то, что ясно, и не понимают того, что вполне очевидно.

36

Напрасно старается сочинитель стяжать восхищенные похвалы своему труду. Глупцы иногда восхищаются, но на то они и глупцы. Умные люди таят в себе ростки всех мыслей и чувств; ничто им не внове: они не склонны восхищаться, они просто одобряют.

37

Я не представляю себе, что письма можно писать остроумнее, приятнее, изящнее и легче по слогу, чем их писали Бальзак и Вуатюр. Правда, письма эти еще не проникнуты чувствами, которые распространились позднее и своим появлением обязаны женщинам. В произведениях этого рода прекрасный пол одареннее нас: под их пером непременно рождаются выражения и обороты, которые нам даются лишь ценой долгих поисков и тяжких усилий. Женщины на редкость счастливо выбирают слова и с такой точностью расставляют их, что самые обыденные приобретают прелесть новизны и кажутся нарочно созданными для этого случая. Только женщинам дано одним словом выразить полноту чувства и точно передать тончайшую мысль. Они с неподражаемой естественностью нанизывают одну тему на другую, связывая их единством смысла. Смее утверждать, что если бы они к тому же еще блюли правильность языка, во всей французской словесности не было бы лучше написанных произведений.

38

Единственный недостаток Теренция — некоторая холодность; зато какая чистота, точность, утонченность, грация, какие характеры! Единственный недостаток Мольера — некоторая простонародность языка и грубость слога; зато какой пыл и непосредственность, какое неистощимое веселье, какие образы, какое умение воссоздать нравы людей и высмеять глупость! И какой получился бы писатель, если бы слить воедино этих двух комедиографов!

Я перечитал Малерба и Теофиля. Оба они знали жизнь, но воплощали ее по-разному. Первый, владеющий слогом ровным и богатым, показывает одновременно все, что в ней есть самого прекрасного и благородного, самого простого и наивного: он ее живописец и он же — историк. Второй неразборчив, неточен, пишет размашисто и неровно; порою он утяжеляет описания и вдается в излишние подробности — тогда он анатом; порою выдумывает, преувеличивает, выходит за пределы правды — тогда он сочинитель романов.

## 40

Ронсар и Бальзак, каждый в своем роде, отличались такими достоинствами и недостатками, которые не могли не способствовать появлению после них великих писателей как в прозе, так и в поэзии.

## 41

Слог и манера изложения у Маро таковы, словно он начал писать уже после Ронсара: от нас его отличают лишь отдельные слова.

## 42

Ронсар и современные ему сочинители принесли французской словесности больше вреда, нежели пользы. Они задержали ее на пути к совершенству, подвергнув опасности сбиться с дороги и никогда не достичь цели. Удивительно, что произведения Маро, столь непринужденные и легкие, не помогли Ронсару, полному огня и вдохновения, стать поэтом лучшим, чем Ронсар и Маро; не менее удивительно и то, что сразу вслед за Белло, Жоделем и дю Бартасом появились Ракан и Малерб и что французский язык, уже тронутый порчей, так быстро исцелился.

## 43

Маро и Рабле совершили непростительный грех, запятнав свои сочинения непристойностью: они оба обладали таким прирожденным талантом, что легко могли бы обойтись без нее, даже угождая тем, кому смешное в книге дороже, чем высокое. Особенно трудно понять Рабле: что бы

там ни говорили, его произведение — неразрешимая загадка. Оно подобно химере — женщине с прекрасным лицом, но с ногами и хвостом змеи или еще более безобразного животного: это чудовищное сплетение высокой, утонченной морали и грязного порока. Там, где Рабле дурен, он переходит за пределы дурного, это какая-то гнусная снедь для черни; там, где хорош, он превосходен и бесподобен, он становится изысканнейшим из возможных блюд.

44

Два писателя высказывали в своих трудах неодобрение Монтеню; я тоже считаю, что Монтень не свободен от недостатков, но они, видимо, вообще нисколько его не ценили. Один из них недостаточно мыслил, чтобы ценить автора, который мыслил много; другой мыслил слишком утонченно, чтобы ему могли нравиться простые мысли.

45

Сдержанная, серьезная, строгая манера изложения служит автору порукой долгой известности: мы до сих пор читаем Амио и Козффето, но читает ли кто-нибудь их современников? Бальзак по отбору слов и выражений ближе нам, чем Вуатюр; но если последний по оборотам, по духу и отсутствию простоты кажется нам устарелым и ничем не напоминает наших сочинителей, все же надо сказать, что его легче замалчивать, чем ему подражать, и что немногочисленные последователи Вуатюра так и не смогли его превзойти.

46

Г. Г. стоит несколько ниже полного ничтожества; впрочем, подобных изданий у нас немало. Тот, кто ухитряется нажить состояние на глупой книге, в такой же мере себе на уме, в какой неумен тот, кто ее покупает; однако, зная вкус публики, трудно порой не подsunуть ей какой-нибудь чепухи.

47

Всем очевидно, что опера — это лишь набросок настоящего драматического спектакля, только намек на него.

Не знаю, почему это опера, несмотря на превосходную музыку и царственную роскошь постановки, все же нагоняет на меня скуку.

Иные сцены в опере хочется заменить, а порой вообще ждешь не дождешься, чтобы она окончилась: происходит это из-за отсутствия театральных эффектов, действия, всего, что увлекает зрителя.

Опера в наши дни — это еще не поэма, а лишь отдельные стихи: с тех пор как Амфион и его присные решили убрать театральные машины, она перестала быть зрелищем и превратилась в концерт, вернее — в пение, которое сопровождают инструменты. Тот, кто утверждает, будто театральные машины — это детская забава, годная только для театра марионеток, вводит людей в обман и прививает им дурной вкус: машины украшают вымысел, придают ему правдоподобие, поддерживают в зрителе приятную иллюзию, без которой театр утрачивает большую часть своей прелести, ибо она сообщает ему нечто волшебное. Обеим «Береникам» и «Пенелопе» не нужны полеты, колесницы, превращения, но опере они необходимы: смысл ее в том, чтобы с одинаковой силой чаровать ум, глаза и слух.

#### 48

Эти хлопотуны создали здесь все: машины, балет, стихи, музыку, весь спектакль; даже зал, где дается представление — то есть крыша, фундамент, стены, — дело их рук. Кто посмеет усомниться, что охоту на воде, волшебный обед,<sup>1</sup> чудо, ожидавшее всех в лабиринте,<sup>2</sup> тоже придумали они? Я сужу об этом по их суетливости и довольному виду, с которым они принимают изъясления восторга. Если все же я заблуждаюсь, если они не внесли никакого вклада в это празднество, столь долгое, столь великолепное и пленительное, а все придумал и устроил на собственные средства один-единственный человек, — в таком случае, должен сознаться, меня одинаково повергают в изумление и хладнокровное спокойствие того, кто всем этим занимался, и беспокойная озабоченность тех, кто не сделал ровню ничего.

---

<sup>1</sup> Обед во время охоты в Шантильи. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Изысканная закуска в лабиринте Шантильи. (Прим. автора.)

Знаток или те, что почитают себя таковыми, выносят окончательные и бесповоротные приговоры театральным представлениям; они укрепляются на своих позициях и делятся на враждующие партии, причем каждая из них, руководствуясь отнюдь не интересами публики или справедливости, восхищается только одной пьесой или определенной музыкой и освистывает все остальное. Они защищают свои предубеждения с пылом, вредным в равной степени и противной стороне и их собственному кружку: непрерывными противоречиями они обескураживают как поэтов, так и музыкантов и, задерживая развитие искусств и наук, лишают нас возможности собрать урожай, который мог бы созреть, если бы несколько истинно талантливых людей, вступив в свободное соревнование, создали бы, каждый на свой лад и в соответствии со своим дарованием, прекрасные творения искусства.

Почему зрители в театре так откровенно смеются и так стыдятся плакать? Разве человеку менее свойственно страдать тому, что достойно жалости, чем хохотать над глупостью? Быть может, мы боимся, что при этом исказятся наши лица? Но самая горькая скорбь не искажает их так, как неумеренный смех, — недаром же мы отворачиваемся, когда хотим посмеяться в присутствии вельмож и вообще уважаемых нами людей. Или мы не желаем показать, как нежно наше сердце, не желаем проявить слабость, тем более что речь идет о вымысле и кто-нибудь может подумать, будто мы приняли его за правду? Но если не говорить о серьезных и глубокомысленных людях, которые считают слабостью как неудержимый смех, так и потоки слез, равно воспрещая себе и то и другое, то скажите на милость, чего, собственно, мы ждем от трагедии? Веселья? Но ведь мы знаем, что трагические образы могут быть не менее правдивы, чем комические! Разве мы заразимся радостью или грустью, если не поверим тому, что происходит на сцене? И разве нас так легко удовлетворить, что мы не станем требовать правдоподобия? Иногда какое-то место в комедии вызывает взрыв смеха у всего амфитеатра: это

говорит о том, что пьеса забавна и хорошо сыграна; но нередко бывает и так, что все с трудом удерживают слезы, стараясь скрыть их натянутым смешком: это доказывает, что хорошая трагедия обязательно должна вызывать искренние слезы, которые зрителям следовало бы без всякого смущения откровенно вытирать друг у друга на виду. К тому же, как только публика решит смело проявлять свои чувства в театре, она сразу обнаружит, что ей угрожает не столько опасность заплакать, сколько опасность умереть от скуки.

51

Трагедия с первых же реплик завладевает сердцем зрителя и до конца спектакля не позволяет ему ни прийти в себя, ни перевести дух; если же она и дает передышку, то для того только, чтобы погрузить в новые бездны, вселить новые тревоги. Она ведет его от сострадания к ужасу или, напротив, от ужаса к состраданию и, заставив испытать поочередно неуверенность, надежду, боязнь, удивление и страх, исторгнув слезы и рыдания, делает свидетелем катастрофы. Отсюда можно сделать вывод, что трагедия — это отнюдь не переплетение изысканных чувств, нежных изъяснений, любовных признаний, приятных портретов; *слащавых* или забавных и смешных словечек, завершающихся в последней сцене<sup>1</sup> тем, что мятежники отказываются внять голосу рассудка и, приличия ради, проливается кровь какого-нибудь несчастного, который, по воле автора, платит за все это своей жизнью.

52

Мало того, что нравы комических героев не должны вселять в нас отвращение: им еще следует быть поучительными и благопристойными. Смешное может выступать в образе столь низком и грубом или скучном и неинтересном, что поэту непозволительно задерживать на нем свой взгляд, а зрителю — развлекаться им. Сочинитель фарсов может подчас вывести в нескольких сценах крестьянина или пьяницу, но в настоящей комедии им почти нет места:

---

<sup>1</sup> Сцена мятежа — обычная развязка заурядных трагедий. (Прим. автора.)

как могут они составить ее основу или быть ее движущей пружиной? Нам скажут, что такие характеры обычны в жизни; если следовать этому замечанию, то скоро весь амфитеатр будет лицезреть насвистывающего лакея, больного в халате, пьянчугу, который храпит или блюет: что может быть обычнее? Для фата вполне естественно вставать поздно, немалую часть дня проводить за туалетом, душиться, налеплять мушки, получать записочки и отвечать на них; дайте актеру изобразить этот характер на сцене: чем больше времени он будет все это проделывать — акт, два акта, — тем правдивее сыграет свою роль, но тем скучнее и бесцветней окажется пьеса.

53

Пожалуй, роман и комедия могли бы принести столько же пользы, сколько сейчас они приносят вреда: в них порою встречаются такие прекрасные примеры постоянства, добродетели, нежности и бескорыстия, такие замечательные и высокие характеры, что когда юная девушка, отложив книгу, бросает вокруг себя взгляд и видит людей недостойных, стоящих куда ниже тех, которые только что так ее восхищали, она, мне кажется, не может почувствовать к этим людям ни малейшей склонности.

54

Там, где Корнель хорош, он превосходит все самое прекрасное; он своеобразен и неподражаем, но неровен. Его первые пьесы были скучны и тягучи; читая их, невольно удивляешься тому, что он вознесся потом на такие вершины, равно как, читая его последние пьесы, недоумеваешь, как мог он так низко пасть. Даже в лучших его трагедиях встречаются непростительные нарушения правил, обязательных для автора драматических произведений: напыщенная декламация, которая задерживает или совсем останавливает развитие действия, крайняя небрежность в стихах и оборотах, непонятная у столь замечательного писателя. Более всего поражает в Корнеле его блистательный ум, которому он обязан лучшими из когда-либо существовавших стихов, общим построением трагедий, порою

идушим вразрез с канонами античных авторов, и, наконец, развязками пьес, где опять-таки он иногда отступает от вкуса древних греков, от их великой простоты; напротив, он любит нагромождение событий, из которого почти всегда умеет выйти с честью. Особенное восхищение вызывает то обстоятельство, что Корнель так разнообразен в своих многочисленных и непохожих друг на друга творениях. Трагедии Расина, пожалуй, отмечены большим сходством, большей общностью основных идей; зато Расин ровнее, сдержаннее и никогда не изменяет себе — ни в замысле, ни в развитии пьес, всегда правильных, соразмерных, не отступающих от здравого смысла и правды; он отлично владеет стихом, точным, богатым по рифме, изящным, гибким и гармоничным. Словом, Расин во всем следует античным образцам, у которых он полностью заимствовал четкость и простоту интриги. При этом Расин умеет быть величавым и потрясающим точно так же, как Корнель — трогательным и патетичным. Какая нежность сквозит в каждой строке «Сиды», «Полиевкта», «Горация»! Какое величие ощущаем мы в образах Митридата, Пира и Бурра! Оба, и Корнель и Расин, в равной мере умели вызывать те чувства, которыми древние так любили волновать зрителей, то есть ужас и сострадание: Орест в «Андромахе» Расина и Федра в его одноименной трагедии, Эдип и Гораций Корнеля — вот свидетельства этому. Если все же дозволено провести сравнение между этими писателями, отметить черты, которые особенно свойственны каждому из них и чаще всего встречаются в их творениях, то, быть может, следует сказать так: Корнель подчиняет нас мыслям и характерам своих героев, Расин приравнивается к нам; один рисует людей, какими они должны были бы быть, другой — такими, как они есть; героями первого мы восхищаемся и находим их достойными подражания; в героях второго обнаруживаем свойства, известные нам по нашим собственным наблюдениям, чувства, пережитые нами самими. Один возвышает нас, повергает в изумление, учит, властвует над нами; другой нравится, волнует, трогает, проникает в душу. Первый писал о том, что всего прекраснее, благороднее и сильнее в человеческом разуме, второй — о том, что всего неотразимее и утонченнее в человеческих страстях. У одного — наставления, правила, советы, у другого — пристрастия и чувства. Корнель овладевает

умом, Расин потрясает и смягчает сердце. Корнель требовательнее к людям, Расин их лучше знает. Один, пожалуй, идет по стопам Софокла, другой скорее следует Еврипиду.

Толпа называет красноречием способность иных людей подолгу разглагольствовать, изо всех сил напрягать голос и делать размашистые жесты. Педанты полагают, что обладать им могут только ораторы, ибо не отличают красноречия от нагромождения образов, громких слов и закругленных периодов.

Логика — это, видимо, умение доказать какую-то истину, а красноречие — это дар, позволяющий нам овладеть умом и сердцем собеседника, способность втолковать или внушить ему все, что нам угодно.

Красноречие могут проявлять и люди, ведущие беседу, и сочинители, о чем бы они ни писали. Оно редко обнаруживается там, где его ищут, но иногда оказывается там, где и не думали искать.

Красноречие относится к высокому стилю, как целое относится к части.

Что такое высокий стиль? Это понятие как будто до сих пор еще не имеет определения. Связано ли оно с поэтическими образами? Является ли производным от образов вообще или хотя бы каких-то определенных образов? Можно ли писать высоким стилем в любом роде изящной словесности или с ним совместимы только героические темы? Допустимо ли, чтобы эклоги блистали чем-нибудь, кроме прекрасной непринужденности, а письма и беседы отличались не только изяществом? Вернее, не являются ли непринужденность и изящество высоким стилем тех произведений, которые они призваны украшать? Что такое высокий стиль? Где его место?

Синонимы — это разные слова и выражения, обозначающие близкие понятия. Антитеза — это противопоставление двух истин, оттеняющих одна другую. Метафора или сравнение определяют понятие каким-нибудь ярким и убедительным образом, заимствованным у другого понятия. Гипербола преувеличивает истину, чтобы дать о ней лучшее представление. Высокий стиль раскрывает ту или иную истину, при условии, однако, что вся тема выдержана

в благородном тоне: он показывает эту истину целиком, в ее возникновении и развитии, является самым ее достойным образным выражением. Заурядные умы не способны найти единственно точное выражение и употребляют вместо него синонимы; молодые люди увлекаются блеском антитез и постоянно прибегают к ним; люди, наделенные здравым умом и любящие точные образы, естественно, предпочитают сравнения или метафоры; живые и пламенные умы, увлекаемые не знающим узды воображением, которое побуждает их нарушать правила и соразмерность, злоупотребляют гиперболой. Высокий стиль доступен только гениям, и не всем, а лишь самым благородным.

56

Чтобы писать ясно, каждый сочинитель должен поставить себя на место своих читателей; пусть он взглянет на свое произведение так, словно прежде ни разу его не видел, читает впервые, непричастен к нему и должен высказать свое мнение о нем; пусть он сделает это и убедится: труд его непонят не потому, что люди стараются понять лишь самих себя, а потому, что понять его в самом деле невозможно.

57

Всякий сочинитель хочет писать так, чтобы его поняли; но при этом нужно писать о том, что стоит понимания. Бесспорно, обороты должны быть правильными, а слова точными, однако этими точными словами следует выражать мысли благородные, яркие, бесспорные, содержащие глубокую мораль. Дурное употребление сделает из ясного и точного слога тот, кто станет описывать им вещи сухие, ненужные, бесполезные, лишенные остроты и новизны. Зачем читателю легко и без затруднений понимать глупые и легкомысленные книги или скучные и общеизвестные рассуждения? Зачем ему знать мысли автора и зевать над его произведениями?

Если сочинитель хочет придать своему произведению некоторую глубину, если он старается сообщить своему слогу изящество, иной раз даже чрезмерное, — это говорит лишь о том, что он отличного мнения о читателях.

Читая книги, написанные людьми, принадлежащими к различным партиям и котериям, с неудовольствием видишь, что не все в них правда. Обстоятельства подтасованы, доводы лишены истинной силы и убедительности. Особоно досаждают то, что приходится читать множество грубых и оскорбительных слов, которыми обмениваются почтенные мужи, готовые превратить приципы какой-либо доктрины или спорный пункт в повод для личной ссоры. Об этих трудах следует сказать, что они так же мало заслуживают громкой славы, которой пользуются недолгое время, как и полного забвения, в которое погружаются, когда пламя страстей угасает и вопросы, затронутые в них, становятся вчерашним днем.

Одни достойны похвал и прославления за то, что хорошо пишут, другие — за то, что вовсе не пишут.

Вот уже двадцать лет, как у нас начали правильно писать и как мы стали рабами грамматики. Мы обогатили язык новыми словами, сбросили ярмо латинизмов, стали строить фразы на истинно французский лад. Мы вновь открываем законы благозвучия, постигнутые Малербом и Раканом и забытые писателями, пришедшими им на смену. Речи теперь строятся с такой точностью и ясностью, что в них невольно проглядывает изысканный ум.

Мы знаем писателей и ученых, ум которых столь же обширен, как то дело, которым они занимаются; обладая изобретательностью и гением, они с лихвой возвращают этому делу все, что почерпнули из его основ. Они облагораживают искусство и расширяют его пределы, если последние оказываются стеснительными для высокого и прекрасного, идут одни, без спутников, и всегда вперед, в гору, уверенные в себе, поощряемые пользой, которую приносит иногда отступление от правил. Люди здраво-

мыслящие, благоразумные, умеренные не могут подняться до них и не только не восхищаются ими, но даже не понимают их и тем более не хотят им подражать. Они спокойно пребывают в кругу своих возможностей и не склонны идти дальше определенной границы, которая и есть граница их дарования и разума. Они никогда не переступают ее, потому что ничего за ней не видят и способны лишь на то, чтобы стать первыми среди второстепенных, лучшими среди посредственных.

62

Бывают люди, наделенные, если можно так выразиться, умом низшего, второго сорта и словно созданные для того, чтобы служить вместилищем, реестром, кладовой для произведений других авторов. Они — подражатели, переводчики, компиляторы: сами они не умеют думать, поэтому говорят лишь то, что придумали другие, а так как выбор мыслей — это тоже творчество, выбирают они плохо и неверно, запоминают многое, но не лучшее. В них нет ничего своеобразного, присущего только им; они не знают даже того, что выучили, а учат лишь то, чего никто не хочет знать, собирают сведения сухие, бесплодные и бесполезные, лишённые приятности, никем не упоминаемые, выброшенные за ненадобностью, как монеты, которые уже не имеют хождения. Мы можем только удивляться книгам, которые они читают, и зевать, беседуя с ними или проглядывая их сочинения. Вельможи и простолюдины принимают их за ученых, а истинно умные люди относят к числу педантов.

63

Критика — это порою не столько наука, сколько ремесло, требующее скорей выносливости, чем ума, прилежания, чем способностей, привычки, чем одаренности. Если ею занимается человек более начитанный, нежели проникательный, и если он выбирает произведения по своему вкусу, критика портит и читателей и автора.

64

Советую автору, который не наделен оригинальным талантом и настолько скромнен, что готов идти по чужим стопам, брать за образец лишь такие труды, где он находит

ум, воображение, даже ученость: если он и не сравняется с подлинником, то все же приблизится к нему и создаст произведение, которое будут читать. Напротив, он должен, как подводных камней, избегать подражания тому, кто пишет, движимый минутной настроенностью, голосом сердца и, так сказать, извлекает из собственной груди то, что потом набрасывает на бумаге: списывая с таких образцов, подвергаешься опасности стать скучным, грубым, смешным. В самом деле, я посмеялся бы над человеком, который не шутя вздумал бы перенять у меня мой голос или выражение моего лица.

65

Человеку, родившемуся христианином и французом, нечего делать в сатире: все подлинно важные темы для него под запретом. Все же он иногда осторожно притрагивается к ним, но тотчас отворачивается и берется за всякие пустяки, силой своего гения и красотой слога преобразуя их в нечто значительное.

66

Следует избегать пустых и ребячливых украшений слога, чтобы не уподобиться Дорилá и Хандбургу. С другой стороны, в иных сочинениях вполне можно допустить некоторые обороты, живые и яркие образы, — и пожалеть при этом тех авторов, которые не испытывают радости, когда употребляют их в своих собственных произведениях или находят в чужих.

67

Тот, кто пишет, заботясь только о вкусах своего века, больше думает о себе, нежели о судьбе своих произведений. Следует неустанно стремиться к совершенству, и тогда награда, в которой порой нам отказывают современники, будет воздана потомками.

68

Остережемся искать смешное там, где его нет: это портит вкус, затемняет и наше собственное суждение и суждение других. Но если мы увидим нечто действительно

смешное — постараемся с непринужденной грацией извлечь его на свет божий и показать так, чтобы это было приятно и поучительно.

«Гораций и Дебрео говорили это до вас». Верю вам на слово, но все же это мои собственные суждения. Разве я не могу разумно думать и после них, как другие будут разумно думать и после меня?

## Глава II

### О ДОСТОИНСТВАХ ЧЕЛОВЕКА

#### 1

Может ли даже очень даровитый и наделенный незаурядными достоинствами человек не преисполниться сознанием своего ничтожества при мысли о том, что он умрет, а в мире никто даже не заметит его исчезновения и другие сразу займут его место?

#### 2

У многих людей нет иных достоинств, кроме их имени. Посмотришь на них вблизи и видишь, до чего они ничтожны; а ведь издали они внушают уважение!

#### 3

Я не сомневаюсь, что люди, назначенные на различные должности, каждый сообразно своим способностям и умению, справляются со своим делом хорошо; но все же осмелюсь предположить, что на свете найдется еще немало людей, известных и неизвестных, которые справились бы с ним не хуже: к этой мысли я пришел, наблюдая за теми, кто возвысился не потому, что от него многого ожидали, а лишь благодаря случаю, и тем не менее необычайно отличился на своих новых постах.

Сколько замечательных людей, одаренных редкими талантами, умерли, не сумев обратить на себя внимание! Сколько их живет среди нас, а мир молчит о них и никогда не будет говорить!

## 4

Как бесконечно трудно человеку, который не принадлежит ни к какой корпорации, не ищет покровителей и приверженцев, держится особняком и не может представить иных рекомендаций, кроме собственных незаурядных достоинств, — как трудно ему выбиться на поверхность и стать вровень с глупцом, который обласкан судьбой.

## 5

Мало кто станет по собственному почину думать о заслугах ближнего.

Люди так заняты собой, что у них нет времени вглядываться в окружающих и справедливо их оценивать. Вот почему те, у кого много достоинств, но еще больше скромности, нередко остаются в тени.

## 6

Одним не хватает способностей и талантов, другим — возможности их проявить; поэтому людям следует воздавать должное не только за дела, ими свершенные, но и за дела, которые они могли бы свершить.

## 7

Легче встретить людей, обладающих умом, нежели способностью употреблять его на дело, ценить ум в других и находить ему полезное применение.

## 8

На свете больше инструментов, чем мастеров, а если говорить о мастерах, то плохих больше, чем хороших. Что вы сказали бы о человеке, которому вздумалось бы пилить рубанком и строгать пилой?

## 9

Неблагодарное ремесло избрал тот, кто пытается соудать себе громкое имя. Жизнь его подходит к концу, а работа едва начата.

Как быть с Эгезиппом, который хлопочет о месте? Куда его пристроить — по финансовой ли части или на военную службу? Это безразлично, лишь бы должность приносила побольше доходов: он так же способен считать деньги и вести конторские книги, как носить оружие. «Эгезипп все умеет», — твердят его приятели, а это означает, что у него нет никаких особых талантов или, попросту говоря, что он ничего не умеет. Подобно Эгезиппу, большинство людей, в юности занятых только собою, развращенных праздностью и наслаждениями, ошибочно полагают в зрелые годы, что стоит им оказаться без дела или в нужде, как государство поспешит к ним на помощь и определит их на службу. Не многим идет на пользу следующая мудрая истина: лишь тот, кто смолоду трудился, просвещал свой ум, набрался знаний, приобрел опыт и стал как бы неотъемлемой частью государственного здания, — лишь тот действительно так необходим государству, что оно, во имя собственной выгоды, готово заботиться о его благе и приумножении его богатств.

Каждый из нас должен быть достоин должности, которую занимает; только об этом нам и следует заботиться: остальное — дело других.

Пусть уважают тебя за то, что заложено в тебе самом, а не подарено случаем, или пусть вовсе не уважают, — вот бесценная и спасительная в жизни истина. Она полезна людям, не занимающим высокого положения, но наделенным добродетелями и умом, ибо, руководствуясь ею, они станут хозяевами своей судьбы и покоя. Но для сильных мира сего эта истина опасна: она уменьшит число их приспешников — вернее, рабов; пошатнет их власть, а значит, собьет с них спесь, так как отныне им почти нечем будет гордиться, разве что изысканностью соусов и роскошью выездов; лишит их удовольствия, которое они испытывают, когда их просят, уговаривают, умоляют или когда они отказывают, заставляют ждать, дают обещания и нарушают их; помешает им покровительствовать бездарности и унижать талант, — в тех случаях, когда они его распознают; изгонит из дворцов происки, коварство, лесть, низость, плутовство; превратит двор, где теперь бушуют страсти

и плетутся интриги, в некий комический, а порой и трагический театр, где мудрецы будут только зрителями; возвратит человеческое достоинство людям любого звания, сотрет печать озабоченности с их лиц; даст им большую свободу; пробудит в них не только природные дарования, но и склонность к труду и учению; воспламенит их любовью к соревнованию, к славе, к добродетели; превратит искательных и низменных царедворцев, бесполезных, а порою и обременительных для государства, в мудрых помощников государя, безупречных отцов семейства, неподкупных судей, старательных чиновников, превосходных воинов, ораторов, философов и, наконец, подвергнет всех лишь одному серьезному неудобству, которое заключается в том, что им придется завещать своим наследникам меньше богатств и больше хороших примеров.

12

Только человек с твердым характером и незаурядным умом может, живя во Франции, обходиться без должности и службы, по доброй воле замкнуться в четырех стенах и ничего не делать. Мало кто обладает столь высокими качествами, чтобы достойно вести подобный образ жизни, и таким духовным богатством, чтобы заполнить свой досуг не «делами», как их называет светская чернь, а совсем иными занятиями. Все же было бы справедливо, если бы эти занятия, состоящие из чтения, бесед и раздумий о том, как обрести душевный покой, именовали бы не праздностью, а трудом мудреца.

13

Достойный человек никому не досаждал на службе тщеславием. Он не столько гордится своей должностью, сколько чувствует себя униженным, ибо знает, что способен был бы занимать другую, более высокую; склонный скорее к беспокойству, чем к презрительному высокомерию, он в тягость только самому себе.

14

Достойному человеку трудно состоять в свите вельможи, и вот по какой причине: будучи по природе скромным, он не допускает мысли, что доставит хоть малейшее

удовольствие высокому лицу, если станет попадаться ему на пути, все время вертеться у него перед глазами и привлекать к себе внимание. Скорее он думает, что его считают докучным, и он появляется в приемной именной особы, только подчиняясь велению обычая и долга. Напротив, человек, вполне довольный собой — таких людей обычно называют бахвалами, — любит выставлять свою персону; он является в приемные, не испытывая никакого замешательства, ибо не способен предположить, что, глядя на него, вельможа думает о нем не то, что думает о себе он сам.

15

За усердное исполнение своего долга благородный человек вознаграждает себя удовлетворением, которое он при этом испытывает, и не заботится о похвалах, почете и признательности, в которых ему подчас отказывают.

16

Если бы я решился сравнивать людей, далеко не равных по их жизненному положению, я сказал бы, что истинно храбрый воин исполняет свой долг примерно так, как кровельщик кроет крышу: оба они не ищут опасности, но и не бегут от нее, рассматривая смерть как неприятность, сопряженную с их ремеслом и поэтому неизбежную. Первому точно так же не придет в голову бахвалиться тем, что он побывал в траншее, ринулся на приступ или взял укрепление, как второму — тем, что он влез на конек крыши или на колокольню. И тот и другой стараются лишь получше исполнить свою обязанность, меж тем как фанфарон тщится получше выглядеть в глазах других людей.

17

Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон: она придает им силу и рельефность.

Внешняя простота — это будничная одежда заурядных людей, по их мерке скроенная и для них сшитая; в то же время — это чудесный убор для людей, совершивших великие деяния: глядя на них, я вспоминаю красных женщин, которые тем пленительнее, чем меньше заботятся о своей прелести.

Иные люди, вполне довольные собой, своими поступками и недурными произведениями, но наслышанные о том, что величию подобает быть скромным, смеют напускать на себя скромность, подделываются под естественность и простоту: они напоминают мне невысоких людей, которые, входя в двери, пригибаются, чтобы не набить себе шишку о притолоку.

18

Твой сын — заика: не требуй, чтобы он произносил речи с трибуны; твоя дочь создана для светской жизни: не понуждай ее стать весталкой; твой отпущенник Ксанф слаб и робок: немедленно возьми его из легиона, освободи от военной службы. «Я хочу, чтобы он занял видное положение», — говоришь ты. Что ж осыпь его дарами, надели землями, титулами, поместьями; воспользуйся тем, что мы живем в такой век, когда богатство приносит больше чести, чем даже доблесть. «Но мне это слишком дорого встанет», — возражаешь ты. Красс, ты, должно быть, шутишь! Подумай, ведь для тебя это все равно что капля воды, почерпнутая из Тибра, а речь идет о Ксанфе, о твоём любимце, о его спасении, ибо, оставшись на службе, к которой непригоден, он неминуемо навлечет на себя позор.

19

Думая о наших друзьях, мы должны помнить лишь об их высоких и дорогих для нас достоинствах, а не о том, благоприятствует ли им судьба. Если мы твердо знаем, что готовы разделить с ними все невзгоды, то смело и без оглядки можем искать их общества в дни полного их благополучия.

20

Мы постоянно восхищаемся всякими редкостями; почему же мы так равнодушны к добродетели?

21

Хорошо быть знатным, но не хуже быть и таким человеком, о котором никто уже не спрашивает, знатен он или нет.

Время от времени на земле рождаются необыкновенные, замечательные люди, чья добродетель сверкает, чьи высокие достоинства отбрасывают яркий сноп лучей. Подобно тем удивительным звездам, происхождение которых нам неведомо, равно как и неведома их судьба после того, как они исчезают с нашего горизонта, у этих людей нет ни предков, ни потомков: они сами составляют весь свой род.

Возвышенный разум подсказывает нам, в чем наш долг и как его выполнить, даже если это сопряжено с опасностью. Он вселяет в нас бодрость духа или хотя бы служит ей заменой.

Когда человек владеет тайнами своего искусства и создает совершенные творения, он как бы выходит за пределы этого искусства и становится вровень со всеми самыми благородными и возвышенными умами. В. — живописец, К. — музыкант, автор «Пирама» — поэт, но Люлли — это Люлли, Миньяр — это Миньяр, Кориель — это Корнель.

Человек свободный, холостой и к тому же неглупый может занять более высокое положение, чем ему было предназначено по праву рождения, войти в светское общество и стать на равную ногу с самыми именитыми людьми. Куда труднее сделать это женатому: брак словно вводит всех людей в назначенные им рамки.

Нужно признать, что, не считая личных достоинств, больше всего блеска и значительности придают человеку высокие должности и громкие титулы: кто не способен быть Эразмом, хочет стать епископом. Иные люди, чтобы стяжать известность, добиваются звания пэра, примаса, золотых орденских цепей, пурпура и мечтают о тиаре: но к чему кардинальский сан Трофиму?

Вы говорите, что Филимон носит одежды, на которых сверкает золото; но точно так же сверкает оно и у тех, кто им торгует. Он шьет платье из лучших тканей; но разве не выставлены они целыми штуками в лавках? Однако вышивка и узоры придают им особое великолепие; что ж, честь и хвала мастеру. Когда у Филимона спрашивают, который час, он вынимает бесподобные часы; чашка его шпаги сделана из оннкса; <sup>1</sup> он выставляет напоказ руку, где блестит великолепный бриллиант чистейшей воды; нет такой диковинной безделушки, служащей не столько пользе, сколько тщеславию, которая не украшала бы его особу, и, подобно молодому человеку, взявшему в жены богатую старуху, он не отказывает себе в самых дорогих нарядах. Вы разожгли наконец мое любопытство; следует, пожалуй, посмотреть на эти столь ценные вещи, — пришлите-ка мне одежду и безделушки Филимона; его самого можете оставить себе.

Ты заблуждаешься. Филимон, полагая, что сверкающая карета, толпа бездельников, бегущая за тобой, и шестерка коней, влекущая твою колесницу, способны внушить глубокое уважение к твоей особе; если совлечь покровы богатства, похожие на одежду с чужого плеча, сразу станет видно, что ты за птица: самый обыкновенный глупец.

Следует подчас быть снисходительным к человеку, который, гордясь большой свитой, богатым нарядом и роскошным экипажем, мнит себя выше других по уму и знатности, — ведь подтверждение этому он находит в глазах и жестах людей, которые к нему обращаются.

Вот человек, который при дворе, а часто и в городе носит длинный плащ из шелка или голландского сукна, широкий пояс, повязанный высоко на животе, изящное накрахмаленное жабо, сафьяновые туфли и такую же шапочку с красивой мереей; он искусно причесан и румян лицом; помнит что-то из начатков метафизики; может объяснить, что такое «благодать господня», и точно знает, каким видят бога святые в своих видениях. Такого человека все называют доктором наук. Вот другой человек, который

<sup>1</sup> Агата. (Прим. автора.)

не выходит из своего кабинета, смиренно размышляет, старается все понять, наводит справки, слнчает, не устает читать, пишет... Его называют педантом.

29

Во Франции войны храбры, а судьи учены. В Риме судьи были храбры, а войны учены: каждый римлянин соединял в себе война и судью.

30

Мне кажется, что только одно сословие, а именно военное, может породить героев, между тем как великие люди встречаются и среди судейских, и среди военных, и среди ученых, и среди придворных; но и герой и великий человек, вместе взятые, не стоят одного истинно нравственного человека.

31

В военном деле различие между героем и великим человеком очень тонко: и тот и другой должен обладать всеми воинскими доблестями. И все же мне кажется, что первый — обязательно молод, предприимчив, отважен, неколебим в минуты опасности и бесстрашен, тогда как второй отличается ясным разумом, дальновидностью, незаурядными дарованиями и большим опытом. Быть может, Александр был всего лишь героем, а вот Цезарь — великий человек.

32

Эмиль уже родился таким, каким даже самый замечательный человек обычно становится лишь благодаря суровой дисциплине, размышлениям и занятиям. Ему довольно было следовать своим природным дарованиям и руководствоваться голосом своего гения. Он начал действовать, вершить дела, еще не приобретя никаких знаний, вернее — он уже знал то, чему никогда не учился. Подумать только: будучи совсем ребенком, он шутя одержал несколько побед! Достаточно было бы подвигов, совершенных им в юности, чтобы прославить его жизнь, в которой долгий опыт сочетался с неизменной удачливостью. В дальнейшем он одерживал победы всякий раз, когда

предоставлялся случай, а если случая не было, он, ведомый своей доблестью и счастливой звездой, сам создавал его. Он вызывает в нас восхищение не только тем, что свершил, но и тем, что мог бы свершить. Его считали человеком, не способным уступить неприятелю, дрогнуть перед численным перевесом врага или перед препятствиями; его превозносили за высокий разум, непреодолимый, зоркий, различавший то, что никто еще не различал; его уподобляли тому полководцу, который шествовал во главе своих легионов и, сам стоя нескольких легионов, служил им залогом победы; о нем говорили, что как ни хорош он был, когда судьба баловала его, он становился еще лучше, когда она ему изменяла: отступление или неудачная осада придавали ему еще больше благородства, чем триумфы; его имя связывали со всеми выигранными битвами и взятыми городами; отмечали его скромность, равную его величию; рассказывали, что слова: «Я бежал» он произносил с такой же непринужденностью, как слова: «Мы их разбили». Преданный государству, своей семье и главе рода, чистосердечный с богом и людьми, он так поклонялся истинным достоинствам, словно сам не обладал ими, и был искренним, простым, великодушным человеком, которому не хватало лишь самых заурядных добродетелей.

33

Дети богов<sup>1</sup> — назовем их так — не подчиняются законам природы и являют собой как бы исключение из них: время и годы почти ничего не могут им дать. Их достоинства опережают их возраст. Они рождаются, уже умудренные знаниями, и достигают истинной зрелости раньше, чем большинство людей избыывает младенческое неведение.

34

Люди близорукие, я хочу сказать — недалекие и ограниченные узким кругом своих интересов, не понимают, что в одном человеке порою сочетаются самые разнообразные таланты. Они убеждены, что приятность в обхождении говорит о легкомыслии, они отказывают в праве на возвышенный и глубокий ум, широту суждений, мудрость тому,

---

<sup>1</sup> Дети, ввуки, потомки королей. (Прим. автора.)

кто изящно сложен, подвижен, гибок и ловок; из жизнеописания Сократа они вычеркивают то обстоятельство, что он был отличным плясуном.

35

Как бы ни был человек хорош и добр к своим близким, он все же дает им при жизни достаточно оснований для того, чтобы утешиться после его кончины.

36

Умный, честный и прямодушный человек вполне может попасться в ловушку: ему не придет в голову, что кому-то вздумается поймать его на промахе и превратить в посмешище. Доверчивость усыпляет в нем осторожность, а глупые шутники этим и пользуются. Тем хуже для тех, кто попытается подшутить над ним вторично: такого человека можно обмануть только раз.

Если я человек справедливый, я стараюсь никого не обижать; если же мне хоть сколько-нибудь дороги собственные интересы, я особенно стараюсь не обижать умного человека.

37

В любом самом мелком, самом незначительном, самом неприметном нашем поступке уже сказывается весь наш характер: дурак и входит, и выходит, и садится, и встает с места, и молчит, и двигается иначе, нежели умный человек.

38

Я познакомился с Мопсом, когда он нанес мне визит, хотя был со мною незнаком. Он просит людей, которых не знает, повести его в гости к другим людям, которые не знают его; пишет письма женщинам, которым не представлен; вмешивается в беседу почтенных людей, не имеющих понятия, кто он такой, и, не дожидаясь вопросов, не замечая, что он кого-то прервал, начинает разглагольствовать длинно и глупо; входит в гостиную и усаживается куда попало, не заботясь ни о других, ни о самом себе: его просят освободить место, предназначенное для министра, — он садится в кресло, предназначенное для герцога и пэра... Над ним все смеются, лишь он один серьезен и даже не

улыбнется. Сгоните пса с королевского трона — он тут же прыгнет на епископскую кафедру; он равнодушно оглядывает всех, не ведая ни замешательства, ни стыда: подобно глупцу, он не умеет краснеть.

Цельсий — невелика персона, но вельможи к нему снисходительны; он невежда, но водит знакомство с учеными; не отличается достоинствами, но на короткой ноге с людьми весьма достойными; беден талантами, но его язык служит людям толмачом, а ноги — скороходами. Он создан для того, чтобы бегать по чужим делам, передавать поручения, оказывать услуги, идти в переговорах дальше, чем его просят, а потом выслушивать, как от него отрекаются. Он мирит людей, рассорившихся при первой же встрече, успешно заканчивает одно дело и обрекает на провал сотню других, выставляет себя единственным виновником удачи и сваливает на других ответственность за неуспех, знает все толки, все городские сплетни; ничего не делает, зато вынюхивает и рассказывает, что делают другие. Цельсий обожает новости; ему известны даже семейные секреты и важнейшие государственные тайны; он сообщит вам, почему такой-то изгнан, а такой-то возвращен из изгнания; осведомит о причине ссоры двух братьев и о столкновении двух министров. Разве не он первый предсказал печальные последствия разлада между родственниками? Не он ли твердил, что дружба министров непрочна? Не самолично ли присутствовал, когда были произнесены некие слова? Не принимал ли участия в переговорах? Поверили ли ему? Послушались ли его? Кому вы это говорите? Кто, как не он, принимал самое горячее участие во всех придворных интригах? Если бы дело обстояло иначе, если бы все это ему, ну, хотя бы не пригрезилось и не причудилось, — разве стал бы он вас убеждать? И разве был бы у него такой важный и таинственный вид, подобающий человеку, который только что исполнил важную миссию?

Менипп, эта птица в чужих перьях, не говорит, не чувствует, а только повторяет чьи-то чувства и речи. Более того — он с такой естественностью присваивает чужой ум, что сам же первый дается в обман, чистосердечно

полагая, будто высказывает собственное суждение или поясняет собственную мысль, хотя на деле он просто эго того, с кем только что расстался. Это человек, который может быть в обращении не более получаса; затем он начинает тускнеть, утрачивает тот скудный блеск, который сообщала ему его скудная память, и окончательно теряет в цене, как стертая монета; при этом он один не ведает, как мало в нем величия и геронзма, один не способен понять, как много разума может быть отпущено человеку: он простодушно считает, что все похоже на него, поэтому держится и ведет себя так, словно ему нечего больше желать и некому завидовать. Он частенько разговаривает сам с собой на улицах и не скрывает этого; прохожие оглядываются и думают, что он, должно быть, решает какую-то сложную задачу и не находит ответа. Если вы поклонитесь ему, он придет в страшное замешательство, начнет соображать, нужно ли вам ответить, — а тем временем вы уже будете далеко. С помощью тщеславия он выбился в свет, возвысился, стал тем, чем прежде не был. С первого взгляда на него ясно: он занят только собою, убежден, что одет со вкусом и к лицу, уверен, что привлекает к себе всеобщее внимание, что люди обгоняют его только для того, чтобы получше его рассмотреть.

#### 41

Этот человек может жить в своем дворце, где есть и летнее и зимнее помещение, но он предпочитает ночевать на антресолях в Лувре; побуждает его к этому отнюдь не скромность. Другой, желая сохранить стройную фигуру, не пьет вина и ест только один раз в день, хотя он отнюдь не поклонник трезвенности и воздержания. Третий, после настойчивых просьб, приходит наконец на помощь своему обедневшему другу; не великодушие толкает его на это, а любовь к спокойной жизни, за которую он готов щедро платить. Побудительные причины — вот что определяет ценность человеческих поступков: благородно только то, что бескорыстно.

#### 42

Ложное величие надменно и неприступно: оно сознает свою слабость и поэтому прячется, вернее — показывает себя чуть-чуть, ровно настолько, чтобы внушить почтение,

скрыв при этом свое настоящее лицо — лицо ничтожества. Истинное величие непринужденно, мягко, сердечно, просто и доступно. К нему можно прикасаться, его можно трогать и рассматривать: чем ближе его узнаешь, тем больше им восхищаешься. Движимое добротой, оно склоняется к тем, кто ниже его, но ему ничего не стоит в любую минуту выпрямиться во весь рост. Оно порой беззаботно, небрежно, к себе, забывает о своих преимуществах, но когда нужно, показывает себя во всем блеске и могуществе. Оно смеется, играет, шутит — и всегда полно достоинства. Рядом с ним каждый чувствует себя свободно, но никто не смеет быть развязным. У него благородный и приятный нрав, внушающий уважение и доверие. Вот почему монархи, являясь нам великими и величественными, не дают нам почувствовать, как мы малы в сравнении с ними.

#### 43

Мудрец исцеляется от честолюбия с помощью того же честолюбия; он стремится к столь многому, что не может ограничить себя так называемыми житейскими благами: высоким положением, богатством, милостями вельмож. Эти преимущества кажутся ему такими незначительными, несущественными и жалкими, что не могут заполнить его сердца и приковать к себе его мысли и желания. Ему даже приходится делать над собой усилие, чтобы не слишком их презирать. Единственное, что искушает его, — это жажда той славы, которую должна была бы принести человеку чистая, ничем не запятнанная добродетель; но так как люди обычно отказывают в этой славе своим ближним, то он обходится и без нее.

#### 44

Кто сделал людям добро, тот добрый человек; кто пострадал за совершенное им добро, тот очень добрый человек; кто принял за это смерть, тот достиг вершин добродетели, геронческой и совершенной.

### Глава III

#### О ЖЕНЩИНАХ

##### 1

Мнение мужчин о достоинствах какой-нибудь женщины редко совпадает с мнением женщин: их интересы слишком различны. Те милые повадки, те бесчисленные ужимки, которые так нравятся мужчинам и зажигают в них страсть, отталкивают женщин, рождая в них неприязнь и отвращение.

##### 2

Иные женщины умеют так двигаться, поворачивать голову и поводить глазами, что это сообщает им некую величавость, некий внешний, напускной блеск, который потому только и производит впечатление, что никто не пробовал заглянуть внутрь. У других величавость проста и естественна, ибо зависит она не от поступи и движений, а от свойств души, и как бы свидетельствует о высоком происхождении этих женщин. Их очарованню, сдержанному и непреходящему, сопутствуют тысячи достоинств, которые проглядывают сквозь все покровы скромности и видны всякому, у кого есть глаза.

##### 3

Я знавал женщину, которая мечтала сперва стать девушкой в возрасте от тринадцати до двадцати двух лет — само собой разумеется, красивой, — а потом превратиться в мужчину.

Молодые женщины не всегда понимают, как чарует приятная внешность, дарованная судьбой, и как полезно было бы им не разрушать этого очарования. Они портят столь редкостный и хрупкий дар природы жеманством и подражанием дурным образцам. У них все заемное — даже голос, даже походка. Они усваивают то, что им не свойственно, проверяя в зеркале, довольно ли они непохожи на самих себя, и затрачивают немало труда, чтобы казаться менее привлекательными.

Все мы знаем, что женщины с великой охотой наряжаются и румянятся; это их обыкновение никак нельзя сравнить с обычаем носить маскарадную личину на костюмированном бале, ибо тот, кто ее надевает, не пытается выдать маску за самого себя, а лишь прячется под нею, стараясь остаться неузнанным, тогда как женщины стремятся ввести в заблуждение и выдают покупное за природное; следовательно, они просто обманывают.

Подобно тому, как рыбу надо мерить, не принимая в расчет головы и хвоста, так и женщин надо разглядывать, не обращая внимания на их прическу и башмаки.

Если женщины хотят нравиться лишь самим себе и быть очаровательными в собственных глазах, они, несомненно, должны прихорашиваться, наряжаться и выбирать украшения, следуя собственному вкусу и прихоти. Но если они желают нравиться мужчинам, если красятся и белятся ради них, то да будет им известно, что, по мнению всех или по крайней мере многих мужчин, с которыми я разговаривал, белила и румяна портят и уродуют женщин; что одни только румяна уже старят их и делают неузнаваемыми; что нам неприятно видеть их накрашенные лица, их вставные зубы, их челюсти из воска; что мы решительно осуждаем их старание обезобразить себя и что, наконец, бог не только не покарает нас за нашу суровость, но, напротив того, благословит, ибо это единственное верное средство излечить женщин.

Если бы женщины от природы были такими, какими они становятся из-за своих ухищрений, если бы они вдруг утратили свежесть кожи и лица их сделались свинцово-бледными и багровыми по воле судьбы, а не от белил и румян, они все пришли бы в отчаяние.

7

Кокетка до последнего своего вздоха уверена, что она хороша собой и нравится мужчинам. Она относится к времени и годам как к чему-то, что покрывает морщинами и обезображивает только других женщин, и забывает, что возраст написан и на ее лице. Наряд, который в юности украшал ее, теперь лишь портит, оттеняя все убожество старости. Жеманство и слащавость сопутствуют ей в недугах и немощи, и умирает она в пышном уборе и пестрых бантах.

8

Лиза слышит, как о некоей презираемой ею кокетке говорят, что та молодится и носит наряды, которые не пристали женщине за сорок. Лизе тоже все сорок, но для нее в году куда меньше двенадцати месяцев, и к тому же они ее не старят. Так считает Лиза. Накладывая румяна, прилепляя мушки, она глядится в зеркало и думает, что женщине в летах молодиться неприлично и что Кларисса с ее румянами и мушками действительно отменно смешна.

9

Если женщина ждет возлюбленного, она наряжается к его приходу, но если он нагрянет внезапно, она забывает о своей внешности и не думает о том, как она выглядит. Другое дело, когда к ней приходят люди, ей безразличные: тут она помнит о малейшей небрежности в своем уборе, сразу начинает прихорашиваться или же исчезает на минуту, чтобы вскоре появиться в полном блеске.

10

На свете нет зрелища прекраснее, чем прекрасное лицо, и нет музыки слаще, чем звук любимого голоса.

## 11

У каждого свое понятие о женской привлекательности; красота — это нечто более неизбежное и не зависящее от вкусов и суждений.

## 12

Порою женщины, чья красота совершенна, а достоинства редкостны, так трогают наше сердце, что мы довольствуемся правом смотреть на них и говорить с ними.

## 13

Ничто не доставляет такого наслаждения, как общество прекрасной женщины, наделенной свойствами благородного мужчины, ибо она соединяет в себе достоинства обоих полов.

## 14

У молодых женщин подчас невольно вырываются слова и жесты, которые глубоко трогают того, к кому они относятся, и бесконечно ему льстят. У мужчин почти не бывает таких порывов; их услужливость нарочита, они говорят, действуют, прельщают — и трогают куда меньше!

## 15

Женские прихоти сродни женской красоте и вместе с тем служат ей противовесом, ибо умеряют ее действие, которое в противном случае было бы смертельно для мужчин.

## 16

Чем больше милостей женщина дарит мужчине, тем сильнее она его любит и тем меньше любит ее он.

## 17

Когда женщина перестает любить мужчину, она забывает все — даже милости, которыми его дарила.

## 18

Женщина, у которой один любовник, считает, что она совсем не кокетка; женщина, у которой несколько любовников, — что она всего лишь кокетка.

Женщина, которая столь сильно любит одного мужчину, что перестает кокетничать со всеми остальными, слышит в свете сумасбродкой, сделавшей дурной выбор.

19

Давнишний любовник так мало значит для женщины, что его легко меняют на нового мужа, а новый муж так быстро теряет новизну, что почти сразу уступает место новому любовнику.

Давнишний любовник опасается соперника или презирает его в зависимости от характера дамы своего сердца.

Давнишний любовник отличается от мужа нередко одним лишь названием; впрочем, это весьма существенное отличие, без которого он немедленно получил бы отставку.

20

Кокетство в женщине отчасти оправдывается, если она сладострастна. Напротив, мужчина, который любит кокетничать, хуже чем просто распутник. Мужчина-кокетка и женщина-сладострастница вполне стоят друг друга.

21

Тайных любовных связей почти не существует: имена многих женщин так же прочно связаны с именами их любовников, как и с именами мужей.

22

Сладострастная женщина хочет, чтобы ее любили; кокетке достаточно нравиться и слыть красивой. Одна стремится вступить в связь с мужчиной, другая — казаться ему привлекательной. Первая переходит от одной связи к другой, вторая заводит несколько интрижек сразу. Одной владеет страсть и жажда наслаждения, другой — тщеславие и легкомыслие. Сладострастие — это изъян сердца или, быть может, природы; кокетство — порок души. Сладострастница внушает страх, кокетка — ненависть. Если оба эти свойства объединяются в одной женщине, получается характер, наигнуснейший из возможных.

Мы называем слабой женщину, которая заслуживает упрека за совершенный проступок и сама себя упрекает в нем, но не в силах совладать с собой, ибо сердце берет в ней верх над рассудком; она жаждет исцеления, но никогда не исцеляется или исцеляется слишком поздно.

Мы называем непостоянной женщину, которая разлюбила; легкомысленной — ту, которая сразу полюбила другого; ветреной — ту, которая сама не знает, кого она любит и любит ли вообще; холодной — ту, которая никого не любит.

Вероломство — это ложь, в которой принимает участие, так сказать, все существо женщины; это умение ввести в обман поступком или словом, а подчас — обещаниями и клятвами, которые так же легко дать, как и нарушить.

Если женщина неверна и это известно тому, кому она изменяет, она неверна — и только; но если он ничего не знает — она вероломна.

**Женское вероломство полезно тем, что излечивает мужчин от ревности.**

Иные женщины поддерживают изо дня в день две любовных связи, хотя сохранить их столь же трудно, как и порвать: одной из этих связей недостает брачного контракта, другой — любви.

Судя по красоте этой женщины, по ее молодости, гордости и разборчивости, она может отдать сердце только герою; но выбор ее уже сделан: она любит презренного негодяя, который к тому же еще глуп.

Некоторые женщины более чем зрелых лет то ли по неодолимой потребности, то ли по дурной склонности легко становятся добычей молодых людей, находящихся

в стесненных обстоятельствах. Не знаю, кто больше достоин жалости — немолодые женщины, которые нуждаются в юнцах, или юнцы, которые нуждаются в старухах.

29

Некий хлыщ, играющий в придворном обществе самую жалкую роль, встречает горячий прием у дамы, не имеющей доступа ко двору; он одерживает верх и над горожанином, прицепившим шпагу, и над судейским, щеголяющим в серой одежде и шейном платке; он всех оттирает, становится полновластным хозяином в доме, ему внимают, его любят; да и как устоять перед человеком, который носит штучную золотом перевязь и белое перо, говорит с самим королем и встречается с министрами? Женщины ревнуют его, мужчины ревнуют к нему, им восхищаются, ему завидуют, — а в нескольких лье от этого дома он внушает лишь презрительную жалость.

30

Столичный житель для провинциалки — то же, что для столичной жительницы — придворный.

31

Если человек тщеславен и нескромен, любит красноречиво и плоско шутить, всегда доволен собой и презирает окружающих, назойлив, чванлив, развращен душой, лишен порядочности, чести и здравого смысла и если вдобавок он красив собой и хорошо сложен, — у него есть все качества, чтобы кружить головы многим женщинам.

32

По какой причине — из боязни огласки или по склонности к ипохондрии — эта женщина любит лакея, та — монаха, а Дорина — своего врача?

33

Я согласен с вами, Леля, Росций выходит на подмостки весьма непринужденно; притом у него красивые ноги, и он умеет играть даже длинные роли. Он отлично

читал бы стихи, не будь у него, как говорится, каши во рту. Но разве он один знает свое дело? И разве его дело самое достойное и благородное на свете? К тому же Росций не может быть вашим, он принадлежит другой, а если бы и не принадлежал, все равно он не свободен: у Клавдии давно уже виды на него, она только ждет, чтобы ему надоела Мессалина. Возьмите себе Батилла, Лелия: даже среди гистрионов, не говоря уже о презираемых вами всадниках, не найти человека, который так ловко пляшет и скачет. Или, быть может, вам больше по вкусу прыгун Коб, который, оттолкнувшись от земли, успеваает перекувырнуться, прежде чем снова станет на ноги? А известно ли вам, что он не очень молод? Женщины, утверждаете вы, так избаловали Батилла, что теперь он чаще отказывает им, чем принимает их предложения. Но вы можете остановить свой выбор на Драконе-флейтисте: никто из его собратьев по ремеслу не раздувает с таким изяществом щек, дую в гобой или флажолет. А на каких только инструментах он не играет! И он шутник, он умеет рассмешить даже детей и простолюдинок! Кто может столько съесть и выпить за один присест? И при этом, заметьте, он сваливается под стол последним. Вы вздыхаете, Лелия: неужели и он занят, неужели вас опередила другая? Быть может, он склонил наконец свой взор к Цезонии, молодой, красивой, степенной патрицианке Цезонии, которая так бегала за ним, пожертвовав для него множеством поклонников — можно сказать, цветом римских юношей? Мне жаль вас, Лелия, если и вы, подобно многим римлянкам, заразились новомодной страстью к тем, кто развлекает толпу и по роду своего ремесла находится у всех на виду. Как вам быть, ведь лучшего из них вы упустили? Правда, есть еще Бронт-палач: все только и говорят о его силе и ловкости, он молод, у него широкие плечи и коренастая фигура; к тому же он чернокожий, он негр.

Для светских женщин садовник — просто садовник, каменщик — просто каменщик. Для других, живущих более замкнутой жизнью, и садовник и каменщик — мужчины. Не спастись от искушения тому, кто его боится.

Иные женщины щедры на даяния монастырям и дары своим любовникам; распутные и благочестивые, они даже в божьем храме заводят себе отдельные молельни и ложи и читают там любовные записки, не опасаясь соглядатаев, которые могли бы обнаружить, что погружены они отнюдь не в молитвы.

Чем отличается от других женщина, руководимая духовным наставником? Покорнее ли она мужу, добрее ли к слугам, больше ли печется о семье и доме? Правдивее ли и вернее в дружбе? Менее ли капризна и привержена к житейским благам? Дает ли она своим детям — не деньги, нет, в деньгах они не нуждаются, — но то, что им действительно необходимо? Относится ли к ним так, как обязана относиться, то есть справедливо? Меньше ли думает о собственных интересах, чем об интересах других людей? Свободнее ли от суетных пристрастий? Нет, отвечаете вы, все это совсем не так. Я настаиваю и повторяю свой вопрос: чем же отличается от других женщина, руководимая духовным наставником? Ага, понимаю, тем, что у нее есть духовный наставник.

Если исповедник женщины и ее духовный наставник не сходятся в том, как ей следует себя вести, кто будет тем третьим, кого она изберет судьей?

Главное для женщины не в том, чтобы иметь духовного наставника, а в том, чтобы жить разумно и не нуждаться в нем.

Если бы, исповедуясь в грехах, женщина сознавалась бы, какую слабость она питает к своему духовному наставнику и сколько времени проводит в его обществе, ей, быть может, пришлось бы в качестве епитимьи расстаться с ним.

О, если бы мне дозволено было воззвать к святым мужам, некогда претерпевшим тяжкие обиды от женщин: «Бегите женщин, не старайтесь наставить их на путь истинный, пусть другие пекутся о спасении их душ!»

Пускать в ход против мужа и кокетство и ханжество чересчур жестоко; женщинам следовало бы выбирать либо то, либо другое.

Я долго не решался заговорить об этом и мучился своим молчанием. Но вот я уже не в силах сдержать себя и теперь меня даже ободряет надежда, что чистосердечие мое пойдет на пользу женщинам, которые, считая, что одного только исповедника недостаточно для добродетельной жизни, приближают к себе духовного наставника — и делают это без должной осмотрительности. Иные из этих наставников поражают меня и приводят в недоумение; я смотрю на них во все глаза, созерцаю их, впиваю каждое их слово, расспрашиваю о них, собираю сведения, запоминаю — и не могу понять, как эти люди, полностью лишенные, на мой взгляд, истинной глубины и прямоты ума, опыта в житейских делах, богословской учености, знания людских сердец и нравов, — как это они осмеливаются полагать, что господь в наши дни вновь избрал себе апостолов и явил чудо, сделав их, обыкновенных, ничем не примечательных людишек, пастырями душ, хотя нет на этом свете дела более мудреного и возвышенного. Если же они и впрямь считают, что рождены для столь великого и многотрудного подвига, который мало кому по плечу, если внушают себе, что их влекут к нему и природные таланты и призвание, — что же, в таком случае я понимаю их еще меньше.

Я знаю, что желание быть хранителем семейных тайн, мирить рассорившихся, находить поставщиков, подбирать слуг, иметь доступ в дома сильных мира сего, то и дело получать приглашения на изысканные обеды, разъезжать в карете по городу, гостить в чудесных поместьях, быть окруженным заботами и вниманием высокородных и высокопоставленных особ, добывать разнообразные жизнен-

ные блага для других и для самого себя, — я знаю, всего этого более чем достаточно для того, чтобы в светском кругу появился неисчислимый рой духовных наставников, готовых взять на себя заботу о вечном спасении ближних.

43

Благочестие<sup>1</sup> приходит к иным людям, особенно к женщинам, внезапно, как страсть, или подкрадывается к ним, как слабость, свойственная преклонному возрасту, или же увлекает их, как модное поветрие. Когда-то женщины посвящали каждый день недели особому занятию: игре в карты, посещению театра, концерта, костюмированного бала, велеречивой проповеди. В понедельник они пускали на ветер свои деньги у Исмены; во вторник тратили время у Климены; в среду расставались со своим добрым именем у Селимены. Они еще накануне знали, какая радость ждет их завтра и послезавтра, одновременно наслаждались удовольствием и нынешним и предстоящим и жалели только о том, что приходится вкушать их поочередно, а не одновременно. Это было единственной их печалью, причиной постоянных огорчений: слушая оперу, они досадовали, что это не комедия. Другие времена, другие нравы: теперь женщины довели до крайности строгость нравов и отвращение к рассеянной жизни: они ходят потупив взор, хотя глаза даны им, чтобы видеть, не признают никаких развлечений и — кто бы поверил! — почти не болтают; впрочем, они по-прежнему держатся хорошего мнения о себе и плохого — о других. Они так соревнуются между собой в стремлении к добродетели и совершенству, что наводят на мысль, будто завидуют друг другу даже и в этом. Каждая тшится затмить других новоявленной чистотой нравов, как прежде жаждала затмить легкомыслием, осужденным им теперь из корысти или из склонности к переменам. В былые времена они весело губили свои души любовными похождениями, чревоугодием и бездельем, а теперь уныло губят их самомнением и черной завистью.

44

Гермас, если я женюсь на скряге, она сбережет мое добро; если на картежнице — она, возможно, приумножит

<sup>1</sup> Притворное благочестие. (Прим. автора.)

наше состояние: если на ученой женщине — она образует мой ум; если на чопорной — она не будет вспыльчивой; если на вспыльчивой — она закалит мое терпение; если на кокетке — она захочет нравиться мне; если на сладострастнице — она, быть может, даже полюбит меня; если на богомолке...<sup>1</sup> скажи, Гермас, чего мне ожидать от женщины, которая старается обмануть бога, но обманывает при этом только себя?

45

Женщиной нетрудно руководить — стоит лишь этого пожелать. Один мужчина руководит подчас даже несколькими женщинами одновременно. Он развивает их ум и память; поддерживает и укрепляет их благочестие; более того — он старается направлять их чувства; лишь прочитав одобрение на его лице и в глазах, они осмеливаются согласиться или отвергнуть, произнести похвалу или осудить. Он — поверенный их радостей и печалей, желаний и ревнивых подозрений, ненависти и любви; он заставляет их порывать с любовниками, ссорит и мирит с мужьями и ловко пользуется временем междуцарствий. Он занимается их делами, ведет их тяжбы, вступает в переговоры с судьей, посылает к ним своего врача, поставщика, своих рабочих, сам покупает им дома, обставляет апартаменты, заказывает экипажи. Вместе с ними он разъезжает в карете по городу и наносит визиты, сопровождает их на прогулке, сидит рядом с ними и в церкви на проповеди и в театральной ложе, возит их на грязи, на морские купания, в далекие путешествия, в загородные владения, где ему отводят лучшее помещение. Он стареет, но власть его не уменьшается: чтобы не утратить ее, достаточно проявить немного ума и потерять много времени. Дети, наследники, невестка, племянница, слуги — все зависят от него. Он начал с того, что внушил к себе уважение, кончил тем, что внушает страх. Когда этот друг, столь давний и столь незаменимый, умирает, его никто не оплакивает, а те десять женщин, которых он тиранил, после его смерти обретают свободу.

46

Я знавал женщин, которые старались скрыть свое легкомысленное поведение под личиной скромности. Этим по-

---

<sup>1</sup> Богомолке-ханже. (Прим. автора.)

стоянным и слишком явным для всех притворством они добились только того, что о них стали говорить: «С виду это настоящие весталки».

47

Если молва не хулит женщину за то, что она бывает в обществе представительниц своего пола, отнюдь на нее не похожих; если при всей склонности к злоречию люди не считают, что в основе подобной дружбы лежит сходство нравов, — значит, добрая слава этой женщины прочна и неколебима.

48

Комический актер, играя на сцене, усиливает смешные стороны действующего лица; поэт уснащает красотами описания; художник, живописуя с натуры, делает резче и выразительнее движения страстей, контрасты, позы; копиист, если он не выверил все размеры и пропорции, увеличивает фигуры и предметы, входящие в композицию картины, с которой он списывает; точно так же чопорность всего лишь утрирует черты благонаравия.

Порою ложная скромность — это всего лишь тщеславие, ложная храбрость — это легкомыслие, ложная величавость — это суетность, ложная добродетель — это лицемерие, ложное благонаравие — это чопорность.

Чопорная женщина думает о своих словах и осанке, благонаравная — о своем поведении. Та повинуется голосу предрассудков и причуд, эта — голосу разума и сердца; одна всегда строга и непреклонна, другая ведет себя так, как того требуют обстоятельства; первая под напускной безупречностью таит множество слабостей, вторая так проста и естественна, что богатство ее души открыто каждому. Чопорность стесняет ум и не только не скрывает возраста и изъянов внешности, но подчас даже наводит на мысль о них; напротив того, благонаравие искупает телесные недостатки, очищает ум, делает молодость еще прелестней, а красоту — еще соблазнительней.

49

Почему винят мужчин в том, что женщины необразованны? Какие законы, какие указы и рескрипты запрещают им открыть глаза, читать, запоминать прочитанное

и делиться потом этими сведениями в беседах и сочинениях? Не сами ли женщины виноваты в том, что они закоснели в привычном невежестве? Быть может, это случилось потому, что они слабы здоровьем, или ленивы, или безраздельно преданы заботам о своей красоте, или слишком легкомысленны для усидчивых занятий, или их способности, их таланты пригодны только для рукоделия, или они чересчур поглощены мелочами домашней жизни, или им от природы свойственно отвращение ко всему серьезному и трудному, или знания, к которым они стремятся, отнюдь не таковы, чтобы удовлетворить разум, или склонности, которые они проявляют, не способствуют развитию памяти? Какова бы ни была причина, которой мужчины обязаны женским невежеством, они должны радоваться тому, что у женщин, взявших такую власть над ними, нет хотя бы преимуществ в образованности.

На ученую женщину мы смотрим как на драгоценную шпагу: она тщательно отделана, искусно отполирована, покрыта тонкой гравировкой. Это стенное украшение показывают знатокам, но его не берут с собой ни на войну, ни на охоту, ибо оно так же не годится в дело, как маневренная лошадь, даже отлично выезженная.

Когда мне говорят, что некто сочетает в себе разумение с ученостью, я не допытываюсь, мужчина это или женщина, я просто восхищаюсь. Если вы скажете мне, что разумная женщина никогда не захочет стать ученой, а ученая всегда неразумна, я отвечу на ваше возражение так: вы, очевидно, уже забыли предыдущие строки, где я пишу, что женщин отвращают от наук лишь некоторые присущие им слабости; чем меньше будет у них этих слабостей, тем они станут разумнее и одновременно более склонны к образованию своего ума; можно сказать это и другими словами: ученая женщина сделалась таковой лишь потому, что смогла победить в себе многие слабости: следовательно, она особенно разумна.

Если две женщины, к которым мы равно питаем дружеские чувства, рассорились, то, даже не имея никакого касательства к причине их ссоры, нам все же не удастся сохранить одинаково добрые отношения с той и другой: чаще всего приходится выбирать между ними или терять обеих.

Я знаю женщин, которые друзьям предпочитают деньги, а деньгам — любовников.

Как это ни странно, на свете существуют женщины, которых любовь к мужчине волнует меньше, чем другие страсти, — я имею в виду честолюбие и страсть к карточной игре. Мужчины сразу становятся целомудренными в присутствии таких женщин, ибо женского в них только одежда.

Женщины склонны к крайностям: они или намного хуже, или намного лучше мужчин.

У большинства женщин нет принципов: они повинуются голосу сердца, и поведение их во всем зависит от мужчин, которых они любят.

Женщины умеют любить сильнее, нежели большинство мужчин, но мужчины более способны к истинной дружбе. Женщины не любят друг друга, и причина этой не любви — мужчины.

Передразнивать людей порою опасно. Лиза, уже почти старуха, тщится показать, как смешна некая молодая женщина, и сама при этом становится такой безобразной, что наводит на меня страх. Она отвратительна со своими гримасами и кривлянием, и, чтобы смягчить впечатление от ее уродства, мне хочется взглянуть на ту, над которой она потешается.

Жители столицы, не бывающие при дворе, награждают умом многих дураков и дур. Придворные, напротив, счи-

тают дураками многих весьма умных людей; красивой и умной женщине удастся избежать обвинения в глупости только потому, что она — женщина.

58

Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщина лучше хранит свою, нежели чужую.

59

Как бы сильно ни любила молодая женщина, она начинает любить еще сильнее, когда к ее чувству примешивается своекорыстие или честолюбие.

60

Даже для самых богатых девушек наступает время, когда им пора остановить на ком-нибудь свой выбор. Упущенные возможности готовят им долгие годы раскаяния. По-видимому, богатство утрачивает свою заманчивость с той же быстротой, с какой утрачивает красоту его обладательница. Но пока она молода, ей благоприятствует все, в том числе и мнение мужчин, охотно наделяющих ее всеми преимуществами, благодаря которым она становится особенно привлекательной.

61

Сколько на свете девушек, которым их незаурядная красота не дала ничего, кроме надежды на незаурядное богатство.

62

Красивые девушки, которые дурно обращались со своими поклонниками, не остаются безнаказанными: обычно за их вздыхателей им мстят уродливые, или старые, или недостойные мужья.

63

Женщина признает достоинства и привлекательность лишь за тем мужчиной, который производит на нее впечатление; она почти всегда отрицает за ним и то и другое, если он ей не нравится.

Если мужчину мучит вопрос, не изменился ли он, не начал ли стареть, ему следует заглянуть в глаза молодой женщине и обратить внимание на то, как она с ним разговаривает: он сразу узнает то, что так боится узнать. Суровый урок!

Когда женщина не спускает глаз с мужчины или все время отводит их от него, все сразу понимают, что это значит.

Женщины с легкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду.

В жизни нередки случаи, когда женщина изо всех сил скрывает страсть, которую испытывает к мужчине, в то время как он так же прилежно разыгрывает любовь, которой вовсе к ней не чувствует.

Подчас мужчина старается зажечь страсть в женщине, совершенно ему безразличной. Спрашивается, не проще ли обратить внимание на ту, которая его любит, чем тратить время на ту, которая к нему равнодушна?

Мужчине легко обмануть женщину притворными клятвами, если только он не таит в душе истинной любви к другой.

Мужчина громко негодует на женщину, которая его разлюбила, — и быстро утешается; женщина не столь бурно выражает свои чувства, когда ее покидают, но долго остается безутешной.

Если женщина ленива, ее могут исцелить от этого порока только тщеславие и любовь.

Когда деятельная женщина становится ленивой, это признак того, что она полюбила.

Если женщина пишет вам страстное письмо, это означает, что она страстно увлечена вами; но любит ли она вас — это еще неясно. Горячая и нежная любовь несообщительна и погружена в себя; женщина, чье сердце глубоко задето, жаждет узнать, любят ли ее, но вовсе не стремится поведать о своей любви.

Гликера не расположена к женщинам. Она не любит их общества и сказывается больной, когда они приезжают с визитами, даже если это ее подруги; впрочем, последних не много, и она сурова с ними, держит их на расстоянии и не позволяет им выходить из рамок светской дружбы: слушает их рассеяннo, отвечает односложно и явно ждет, чтобы они ушли. Она живет замкнуто и отчужденно, двери ее дома и спальни охраняются не хуже, чем двери Монторона и Эмери. Исключение составляет только Коринна — она всегда желанная гостья, ее всегда принимают с распростертыми объятиями и как будто любят: Гликера что-то шепчет ей на ушко в уединенной комнате, внимает ее излияниям, жалуется на остальных женщин, обо всем говорит и ни о чем не рассказывает, зато пользуется полным доверием Коринны. В тесной компании Гликера ездит на балы, в театры, на прогулки, на Венсенскую дорогу, где продают первые фрукты, порою на носилках отправляется одна в Сен-Жерменское предместье, где у нее прелестный сад, или к Канидии, которая знает столь удивительные секреты сохранения красоты, предсказывает молодым женщинам второе замужество и сообщает, когда и при каких обстоятельствах оно состоится. Волосы у Гликеры гладко и небрежно зачесаны, к гостям она выходит без корсета, в простом утреннем платье и туфлях без задников: такой наряд ей к лицу, только ее коже недостает свежести. Однако порой она носит драгоценную застежку, которую

старательно прячет от глаз мужа. Что касается последнего, то она льстит ему, угождает, каждый день придумывает новые ласкательные имена, спит на одном ложе с обожаемым супругом и не желает отдельной спальни. Утром она занимается туалетом и письмами; входит вольноотпущенник, — ему надо поговорить с ней с глазу на глаз: это Парменон, ее любимец; хозяин питает к нему неприязнь, слуги завидуют, но она стоит за Парменона горой. И действительно, кто лучше, чем он, умеет сообщить нужному человеку о ее намерениях и добиться желанного ответа? Кто никогда не говорит о том, о чем следует молчать? Кто так бесшумно открывает потайную дверь? Кто осторожно ведет гостя по черной лестнице? Кто так проворно выпроваживает его через ту же дверь, через которую привел?

74

Я не понимаю, как это муж, дающий волю дурному расположению духа и дурным склонностям, муж, который не только не скрывает своих недостатков, но даже хвалится ими, который скуп, неопрятен, резок, неучтив, холоден и угрюм, — как это он надеется защитить сердце своей молодой жены от натиска ловкого поклонника, который щедр, хорошо одет, снисходителен, заботлив, настойчив и осыпает ее лестью и подарками?

75

Любой муж сам создает себе соперника и как бы преподносит его в подарок своей жене. Он восхищается в ее присутствии прекрасными зубами и благородством черт этого человека; не отказывается от его услуг; радушно зовет к себе, а потом, когда случается то, чему он способствовал, со спокойной совестью принимает дичь и трюфели, которые тот ему посылает. Он устраивает званый ужин и говорит гостям: «Отведайте, пожалуйста, я получил это от Леандра, а уплатил ему одним лишь „Благодарю!“»

76

Я знаю женщину, которая до такой степени пренебрегает своим мужем и умалчивает о его существовании, что в обществе о нем даже не упоминают. Жив он? Умер? Никто не имеет об этом никакого понятия. В своей семье он

являет собой образец робкой, безропотной, рабской покорности. Когда он похоронит свою половину, ему не выделают вдовьей части, ему не придется носить траурную вуаль, но, не считая этого, да еще неспособности рожать детей, он — жена, а она муж. Они месяцами живут под одной кровлей, не подвергаясь ни малейшей опасности встретиться; они — всего только соседи. Счета мясника и повара всегда оплачивает хозяин, но это мясо всегда едят на званых ужинах у хозяйки. Между ними нет ничего общего — ни супружеского ложа, ни стола, ни даже имени: по греческому или по римскому обыкновению, у каждого свое. Лишь хорошо освоившись с жаргоном и нравами столицы, начинаешь наконец понимать, что господин Б. вот уже двадцать лет действительно муж госпожи Л.

77

Я знаю других женщин, чьи нравы вполне пристойны; однако и они ежесекундно уязвляют мужей богатым приданым, знатностью, связями, достоинствами, прелестями и тем, что принято называть добродетелью.

78

Как мало на свете таких безупречных женщин, которые хотя бы раз на дню не давали своим мужьям повода пожалеть о том, что они женаты, и своим холостым друзьям — случая порадоваться тому, что они свободны!

79

Молчаливое, тупое горе теперь не в моде: женщина рыдает, сокрушается вслух, то и дело повторяя один и тот же рассказ; она так потрясена кончиной своего супруга, что не упускает в своем повествовании ни единой подробности.

80

Неужели нельзя изобрести такое средство, которое заставило бы женщин любить своих мужей?

81

Женщина, которую все считают холодной, просто еще не встретила человека, способного пробудить в ней любовь.

Жила некогда в Смирне девушка по имени Эмира, известная всему городу своей красотой, строгостью нравов и в особенности равнодушием к мужчинам; она говорила, что может встречаться с ними, не подвергая свое сердце никакой опасности, ибо они для нее все равно что ее подруги или братья. Она наотрез отказывалась верить рассказам о безрассудствах, на которые во все времена любовь толкала людей, а если становилась свидетельницей подобных безумств, то приходила в полное недоумение, так как никогда не испытывала иной любви, кроме дружеской. К своей юной и прелестной подруге она питала такую нежную привязанность, что хотела бы до конца своих дней сохранить в неприкосновенности это чудесное чувство доверия и уважения, с которым, на ее взгляд, ничто не могло сравниться. Она только и говорила, что об Эфрозине — так звали ее верную подругу, — а в Смирне только и говорили, что о ней и об Эфрозине, ибо дружба их вошла в поговорку. У Эмиры было двое братьев, прекрасных юношей, против которых не могла устоять ни одна женщина. Эмира любила их так, как подобает сестре любить своих братьев. Некий жрец Юпитера, бывавший в доме отца Эмиры, полюбил ее, сказал ей об этом и встретил презрительный отказ; та же участь постигла старца, который, уповая на свое богатство и родовитость, осмелился предложить ей свою руку. Эмира торжествовала, считая свою холодность доказанной, хотя до тех пор ей удалось проверить ее только на братьях, жреце и старце. Судьба, казалось, пожелала подвергнуть ее более серьезным испытаниям, но они лишь укрепили за ней славу девушки, бесчувственной к любви, сделав ее тем самым еще более тщеславной. Она осталась равнодушной к страсти трех мужчин, поочередно плененных ее чарами; первый из них в порыве любовного безумия пронзил себе сердце у ее ног; второй, придя в отчаяние от того, что она не желает его выслушать, нашел смерть во время критской войны; третий зачах от тоски и бессонницы. Тот, кому суждено было отомстить за них, еще не появился. Старец, в свое время столь сурово отвергнутый Эмирой, исцелился от любви, поразмыслив о своих годах и о характере той, которой он пытался понравиться. Он решил видаться с ней и впредь, и она согласилась на это. Однажды он привел с собой своего сына, юношу благородной внешности и хорошо

сложенного. Эмира отнеслась к нему благосклонно, но юноша в присутствии отца скромно молчал, поэтому она решила, что он обделен умом, — и пожалела об этом. В следующий раз он пришел один, повел с ней беседу и блеснул остроумием, но почти не смотрел на нее и ни слова не сказал о ее красоте. Эмира была удивлена и даже возмущена тем, что мужчина столь привлекательной наружности и острого ума так неучтив. Она рассказала о нем своей подруге, и та захотела познакомиться с ним. Увидев Эфрозину, юноша уже не спускал с нее глаз; он сказал ей, что она прекрасна, и Эмира, равнодушная Эмира, почувствовала ревность, так как поняла, что Ктесифон говорит искренне и что он не только учтив, но и нежен. С той поры она уже не чувствовала себя так непринужденно со своей подругой. Ей захотелось увидеть их вместе еще раз и проверить, права ли она. Вторая встреча, подтвердив все, чего она боялась, превратила ее подозрения в уверенность. Она отдаляется от Эфрозины, не признает за ней достоинств, которыми еще недавно так восхищалась, не находит удовольствия в ее обществе. Эмира уже не любит свою подругу, и эта перемена говорит ей, что любовь вытеснила из ее сердца дружбу. Ктесифон и Эфрозина ежедневно встречаются, любят друг друга, решают соединить свои жизни, наконец сочетаются браком. Новость облетает весь город, из уст в уста передается весть, что двум человеческим существам выпало на долю редкое счастье заключить брак по любви. Эмира узнает об этом и приходит в отчаяние. Она не в силах совладать со своей страстью и вновь начинает искать встреч с Эфрозиной, чтобы лишней раз увидеть Ктесифона. Но молодой супруг все еще пылко влюблен в свою жену и встречает в ней ответное чувство: в Эмире он видит лишь подругу той, которая ему так дорога. Несчастливая девушка теряет сон, отказывается от еды, вянет, мысли мешаются у нее в голове. Она принимает своего брата за Ктесифона, признается ему в любви, потом, опомнившись, краснеет от стыда, но вскоре снова впадает в заблуждения еще более странные и уже не краснеет, ибо рассудок ее помрачен. Мужчины внушают ей страх, но увы! слишком поздно: страх этот подсказан безумием. Порою разум возвращается к ней, и тогда она жаждет вновь его потерять. Юноши и девушки Смирны, вспоминая, какой надменной и холодной была Эмира, находят, что боги наказали ее слишком сурово.

## Глава IV

### О СЕРДЦЕ

#### 1

В истинной дружбе таится прелесть, непостижимая ваурядным людям.

#### 2

Хотя между людьми разных полов может существовать дружба, в которой нет и тени нечистых помыслов, тем не менее женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой: это — нечто совсем особое.

#### 3

Любовь возникает внезапно и безотчетно: нас толкает к ней страсть или слабость. Довольно одной привлекательной черты, чтобы поразить наше сердце и решить нашу судьбу. Напротив того, дружба завязывается медленно и требует времени, близкого знакомства, частых встреч, Сколько ума, сердечной доброты, привязанности, услужливости и снисходительности должен проявить человек, чтобы через несколько лет ему ответили куда менее пылким чувством, чем то, которое порою рождается во мгновение ока при одном взгляде на прекрасное лицо или точеную руку!

4

Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь.

5

Пока любовь жива, она черпает силы в самой себе, а подчас и в том, что, казалось бы, должно ее убивать: в прихотях, в суровости, в холодности, в ревности. В противоположность любви, дружба требует ухода: ей нужны заботы, доверие и снисходительность, иначе она зачахнет.

6

В жизни чаще встречается беззаветная любовь, нежели истинная дружба.

7

Любовь и дружба исключают друг друга.

8

Тот, кто испытал большую любовь, пренебрегает дружбой; но тот, кто расточил себя в дружбе, еще ничего не знает о любви.

9

Любовь начинается с любви; даже самая пылкая дружба способна породить лишь самое слабое подобие любви.

10

Трудно отличить от настоящей дружбы те отношения, которые мы завязываем во имя любви.

11

По-настоящему мы любим лишь в первый раз; все последующие наши увлечения уже не так безогляды.

12

Труднее всего исцелить ту любовь, которая вспыхнула с первого взгляда.

## 13

Любовь, которая возникает медленно и постепенно, так похожа на дружбу, что не может стать пылкой страстью.

## 14

Тот, кто любит так сильно, что хотел бы любить в тысячу раз сильнее, все же любит меньше, нежели тот, кто любит сильнее, чем сам того хотел бы.

## 15

Если я признаю, что пылкая любовь в пору своего расцвета может вытеснить из человеческого сердца даже себялюбие, кому я доставляю этим большее удовольствие — тому, кто любит, или тому, кто любим?

## 16

На свете немало людей, которые и рады бы полюбить, да никак не могут; они ищут поражения, но всегда одерживают победу и, если дозволено так выразиться, принуждены жить на свободе.

## 17

Люди, вначале страстно любившие друг друга, сами способствуют тому, что постепенно их любовь начинает слабеть, а потом совсем угасает. Кто больше виноват в охлаждении — мужчина или женщина? Ответить на этот вопрос нелегко: женщины утверждают, что мужчины непостоянны, а мужчины доказывают, что женщины ветрены.

## 18

Как ни требовательны люди в любви, все же они прощают больше провинностей тем, кого любят, нежели тем, с кем дружат.

## 19

Нет слаще мести для любящего, чем такое поведение, которое превращает неблагодарность любимой женщины в безмерную неблагодарность.

Грустно любить тому, кто небогат, кто не может осыпать любимую дарами и сделать ее такой счастливой, чтобы ей уже нечего было желать.

Если случается, что женщина, которую мы горячо, но безнадежно любили, потом оказывает нам услугу, то, мала эта услуга или велика, мы легко впадаем в грех неблагодарности.

Признательность за услугу уносит с собой немалую долю дружеского расположения к тому, кто сделал нам добро.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно — только бы не разлучаться с ними; остальное безразлично.

Неизвисть не так далека от дружеской привязанности, как неприязнь.

Пожалуй, неприязнь скорее уж может перейти в любовь, чем в дружбу.

Друзьям мы охотно сами открываем наши тайны; от возлюбленных мы их не можем скрыть.

Подарить кому-нибудь свое доверие — еще не значит отдать ему сердце; тот, кто владеет сердцем другого человека, не нуждается ни в его излияниях, ни в доверии: ему и без них все открыто.

У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им, а у любимых те, от которых страдаем мы сами.

Только из первого разочарования в любви и первой провинности друга можем мы извлечь полезный урок.

Если называть ревностью несправедливое, неосновательное, нелепое подозрение, то ревность справедливая, естественная, основанная на здравом смысле и фактах, заслуживает, пожалуй, другого названия.

Источник ревности нередко кроется не в сильной любви, а в свойствах нашего характера; однако невозможно себе представить сильную страсть, которую не омрачала бы неуверенность.

Люди, не уверенные в том, что их любят, порой только сами и страдают от своей неуверенности, тогда как ревнивцы страдают сами и заставляют страдать других.

Мы не стали бы ревновать тех женщин, которые не щадят нас и ежечасно дают поводы к ревности, если бы наше чувство зависело от их поступков и отношения к нам, а не от нашего сердца.

В дружбе для всякого охлаждения и всякой размолвки есть своя причина; любить же друг друга люди перестают только потому, что прежде слишком сильно любили.

Мы так же не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить.

Умирает любовь от усталости, а хоронит ее забвение.

И при зарождении и на закате любви люди всегда испытывают замешательство, оставаясь наедине друг с другом.

Угасание любви — вот неопровержимое доказательство того, что человек ограничен и у сердца есть пределы.

Полюбить — значит проявить слабость; разлюбить — значит иной раз проявить не меньшую слабость.

Люди перестают любить по той же причине, по какой они перестают плакать: в их сердцах иссякает источник и слез и любви.

В жизни бывают такие утраты, о которых мы должны были бы безутешно скорбеть. Если нам и удастся забыть о своем несчастье, это вовсе не значит, что мы сильны духом или исполнены душевного величия: горе наше искренне, слезы непритворны, но постепенно наша печаль иссякает, ибо мы слабы и ветрены.

Тот, кто влюбляется в дурнушку, влюбляется со всей силой страсти, потому что такая любовь свидетельствует или о странной прихоти его вкуса, или о тайных чарах любимой, более сильных, чем чары красоты.

Люди по привычке встречаются и произносят слова любви даже тогда, когда каждое их движение говорит о том, что они уже давно не любят друг друга.

Стараться забыть кого-то — значит все время о нем помнить. Любовь тем похожа на укоры совести, что размышления и воспоминания лишь укрепляют ее. Чтобы побороть свою страсть, нужно попытаться вовсе о ней не думать.

Мы хотим быть источником всех радостей или, если это невозможно, всех несчастий того, кого мы любим.

Тосковать о том, кого любишь, много легче, нежели жить с тем, кого ненавидишь.

Как бы бескорыстно ни относился человек к тем, кого он любит, ему следует иногда пересиливать себя и великодушно принимать дары и от них.

Достоинно принимает дары лишь тот, кто испытывает при этом не менее возвышенную радость, чем даритель.

Творить добро — значит действовать, а не через силу совершать благодеяния или уступать просьбам тех, кто нуждается в помощи либо назойливо ее требует.

Если человек помог тому, кого он любил, то ни при каких обстоятельствах он не должен вспоминать потом о своем благодеянии.

Кто-то из римлян сказал, что ненависть обходится людям дешевле, чем любовь, или, иными словами, что дружба требует от человека большего, нежели вражда. В самом деле, мы вовсе не обязаны помогать своим врагам; однако разве месть так уж дешево обходится? И если приятно и естественно сделать зло тому, кого ненавидишь, то разве менее приятно и естественно сделать добро тому, кого любишь? Пожалуй, человеку одинаково трудно отказаться и от того и от другого.

Приятно встретить взгляд человека, которому только что помог,

Не знаю, можно ли помощь, оказанную неблагодарному, а значит, недостойному, назвать благодеянием, и заслуживает ли она особой признательности?

Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно.

Если верно, что жалость и сострадание — это лишь проявления любви к себе, заставляющей нас ставить себя на место страдальцев, то почему же мы служим для них столь скудным источником утешения в их несчастьях?

Лучше стать жертвой неблагодарности, чем отказать в помощи несчастному.

Опыт говорит нам, что попустительство и снисходительность к себе и беспощадность к другим — две стороны одного и того же греха.

Человек, усердный в труде, твердый в невзгодах и требовательный к себе, снисходителен к людям лишь потому, что к этому его принуждает разум.

Как ни тягостно нести бремя забот о человеке обездоленном, все же мы не испытываем особой радости, когда благоприятная перемена в судьбе вырывает его из-под нашей опеки; точно так же наше удовольствие при вести об успехе друга несколько омрачается легкой досадой на то, что теперь он возвысится над нами или станет нам ровней. Таким образом, мы живем в постоянном разладе с собою: нам нужны люди, зависящие от нас, но мы не хотим, чтобы они нас утруждали; мы желаем удачи нашим друзьям, но, когда она приходит к ним, первым нашим чувством далеко не всегда бывает восторг.

Мы зовем друга в гости, просим прийти к нам, предлагаем свои услуги, обещаем разделить с ним стол, кров, имущество; дело стоит за малым — за исполнением обещанного.

Для себя человеку довольно одного верного друга; и то уже много, что удалось его сыскать. Но сколько бы ни было друзей, все мало, если хочешь помочь другим.

Если мы сделали все, что могли, добиваясь расположения иных людей, и все же не снискали его, у нас остается в запасе еще одно средство: не делать больше ничего.

Обходиться с врагами так, словно они обязательно станут нашими друзьями, а с друзьями так, словно они могут стать нашими врагами, противно природе ненависти и обычаям дружбы. Это утверждение вытекает не из принципов морали, а из характера человеческих взаимоотношений.

Не следует вступать во вражду с людьми, которые, ближе узнав нас, могли бы сделаться нашими друзьями. Нужно избирать себе друзей надежных и порядочных, которые никогда, даже рассорившись с нами, не употребят во зло нашего доверия и не станут угрожать нам своей враждой.

Приятно бывать в обществе людей, когда к этому побуждают нас лишь дружеская склонность и уважение; тягостно искать с ними встречи, когда ждешь от них услуг: это значит набиваться на дружбу.

Нам следует искать расположения тех, кому мы хотим помочь, а не тех, от кого ждем помощи.

Люди с меньшим усердием добиваются удачи в делах, нежели исполнения самых пустяковых своих желаний и причуд. Отдаваясь прихотям, они чувствуют себя свободными и, напротив того, считают, что попали в неволю, хлопоча о своем устройстве: все к нему стремятся, но никто не желает утруждать себя ради него, ибо каждый полагает, что достоин обрести успех, не приложив к этому никаких стараний.

Тот, кто умеет ждать исполнения своих желаний, не отчаивается, даже потерпев неудачу, тогда как тот, кто слишком нетерпеливо стремится к цели, растрчивает столько пыла, что никакая удача уже не может его вознаградить.

Иные люди так страстно и упорно добиваются предмета своих желаний, что, боясь упустить его, делают все от них зависящее, дабы действительно его упустить.

Наши заветные желания обычно не сбываются, а если и сбываются, то в такое время и при таких обстоятельствах, когда это уже не доставляет нам особого удовольствия.

Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем себя счастливыми, иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не засмеявшись.

Жизнь коротка, если считать, что названия жизни она заслуживает лишь тогда, когда дарит нам радость; собрав воедино все приятно проведенные часы, мы сведем долгие годы всего к нескольким месяцам.

Как трудно быть вполне довольным кем-то!

Нельзя как будто не радоваться, узнав о предстоящей кончине дурного человека: вот когда мы вволю вкусим плодов нашей ненависти и насладимся тем, что этот человек мог нам подарить лучшего, — вестью о его гибели! Наконец он умирает, но при таких обстоятельствах, когда препятствием к нашей радости становятся наши собственные интересы: враг умер слишком рано или слишком поздно.

Трудно гордецу простить того, кто уличил его в какой-либо провинности и осыпал справедливыми укорами; он лишь тогда усмирит свою уязвленную гордость, когда снова возьмет перевес над обидчиком и докажет, что тот тоже совершил проступок.

Мы преисполнены нежности к тем, кому делаем добро, и страстно ненавидим тех, кому нанесли много обид.

Так же трудно заглушить обиду вначале, как помнить о ней по прошествии нескольких лет.

Мы ненавидим наших врагов и жаждем отомстить им по слабодушию, а успокаиваемся и забываем о мести из лени.

Мы позволяем другим управлять нами столько же из лени, сколько по слабодушию.

Нечего и думать о том, чтобы сразу, безо всякой подготовки, заставить человека следовать чужим советам в вопросах, важных для него или его близких: он чувствует, что на его разум оказывают давление, и, подстрекаемый стыдом или своеволием, сбрасывает бремя чужой власти. Надо начинать с мелочей, а уж от них нетрудно перейти

к самым серьезным делам. Тот, кого вначале трудно было заставить даже поехать в деревню или вернуться в город, в конце концов напишет под чужую диктовку завещание, в котором родного сына лишает наследства.

Долго и полновластно управлять своим ближним может только тот, у кого легкая рука и умение делать свою власть неощутимой.

Есть люди, которыми можно управлять лишь до известного предела; перейти этот предел они не позволяют и никаким уговорам не поддаются: путь к их сердцу и уму закрыт. Ни надменный тон, ни улещивания, ни сила, ни хитрость — ничто уже не действует на этих людей, однако с той разницей, что одними при этом движут зрелые размышления и разум, а другими — своеволие и прихоть.

Иные люди не внемлют голосу рассудка, глухи к благоразумным советам и сознательно совершают ошибки — только бы не подчиниться чужой воле.

Другие согласны подчиняться друзьям в маловажных вопросах, но считают своим правом управлять ими в делах первостепенной важности и значения.

Дранций хочет всем внушить, что он управляет своим господином, но ему никто не верит, в том числе и его господин. Непрестанно обращаться к вельможе, у которого находишься в услужении; таинственно сообщать ему что-то вслух или на ухо в таких местах и в такое время, когда это меньше всего пристало; покатываться со смеху в его присутствии; прерывать его речь; вмешиваться в его беседы с другими; высокомерно встречать тех, кто пришел засвидетельствовать ему свое почтение, или нетерпеливо выпроваживать их; стоять подле него с развязным видом; красоваться рядом с ним, прислонясь к камину; надоедать ему; ни на шаг не отступать от него; разыгрывать роль друга; слишком много позволять себе, — все это скорее изобличает глупца, нежели фаворита.

Здравомыслящий человек не позволяет другим управлять собой, но и сам не стремится управлять другими; он хочет, чтобы всеми правил один только разум.

Я ничего не имел бы против того, чтобы верить свою судьбу разумному человеку и всегда и во всем слепо ему подчиняться: я был бы уверен, что поступаю правильно, и при этом не утруждал бы себя размышлениями, а наслаждался бы спокойствием, уподобившись тому, кем управляет разум.

Все страсти лживы: они стараются надеть маску, они прячутся даже от самих себя. Нет такого порока, который не рядился бы под какую-нибудь добродетель или не прибежал бы к ее помощи.

Мы читаем душеспасительную книгу, и она трогает нас; мы читаем другую, в которой речь идет о любовных похождениях, и она тоже нас волнует; но осмелюсь ли я утверждать, что только сердце способно понять и примирить несовместимые чувства?

Люди не так стыдятся своих преступлений, как слабости и суетности; они порою не краснея совершают насилия и несправедливости, предают и клеветают и в то же время скрывают любовь и честолюбивые мечты, и притом без всякой выгоды для себя.

Никто не может сказать о себе: «Я был честолюбив». Человек или всегда исполнен честолюбия, или вовсе ему чужд. Но для всех нас приходит такое время, когда мы сознаемся, что любовь была и ушла.

Люди сперва познают любовь, потом исполняются честолюбием, а спокойствие обычно приходит к ним только вместе со смертью.

Страсть без труда берет верх над рассудком, но она одерживает великую победу, когда ей удастся одолеть своекорыстие.

Не столько ум, сколько сердце помогает человеку сближаться с людьми и быть им приятным.

Иными благородными чувствами и великодушными поступками мы скорее обязаны нашей природной доброте, чем уму.

Нет на свете излишества прекраснее, чем излишек благодарности.

Нужно быть очень уж глупым человеком, чтобы под воздействием любви, злобы или нужды несколько не поумнеть.

Проезжая иные места, мы приходим в восхищение; проезжая другие — умиляемся, и нам хочется там поселиться.

Мне кажется, что ум, расположение духа, пристрастия, вкусы и чувства человека зависят от места, в котором он живет.

Тот, кто творит добро, один заслуживал бы нашей зависти, если бы нам не дано было избрать участь более достойную — творить еще больше добра. Как сладка была бы нам такая месть человеку, вызвавшему в нас подобную зависть!

Иные люди не позволяют себе писать стихи и любить, словно это слабости, которые могут набросить тень на их ум и сердце.

Жизнь подчас кладет запрет на самые наши заветные радости, на самые нежные чувства, но мы не можем не мечтать о том, чтобы они были дозволенными. Со всепобеждающим очарованием этих чувств не сравнится ничто — кроме сознания, что мы отрелись от них во имя добродетели.

## Глава V

### О СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ОБ ИСКУССТВЕ ВЕСТИ БЕСЕДУ.

#### 1

Нет ничего бесцветнее, чем характер бесхарактерного человека.

#### 2

Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что он — лишний.

#### 3

У нас шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на глупого остролова: куда ни глянь, везде ползают эти насекомые. Истинно остроумный человек — редкость, и к тому же ему нелегко поддерживать свою репутацию: люди редко уважают того, кто умеет их смешить.

#### 4

Мы богаты пошляками, еще богаче сплетниками и насмешниками, но вот людей действительно остроумных у нас мало; изящно шутить и занимательно рассказывать о пустяках умеет лишь тот, кто сочетает в себе изысканность и непринужденность с богатым воображением: сыпать веселыми остротами это значит создавать нечто из ничего, то есть творить.

Начни мы обращать внимание на все вздорные, пустые и bestолковые разговоры, которые ведутся в нашем присутствии, мы больше не захотели бы ни говорить, ни слушать и дали бы обет молчания, а молчальник еще невыносимее в обществе, чем болтун. Поэтому будем снисходительны и примем как неизбежное зло пересказы ложных слухов, туманные рассуждения о нынешнем царствовании и замыслах государей или выпрениие и однообразные беседы на чувствительные темы; пусть Арунций сыплет поговорками, а Мелинда болтает о себе, о своих нервических припадках, мигренях и бессоннице.

С иными людьми едва познакомишься, едва вступишь в беседу — и уже не хочешь ее продолжать из-за их страстия к нелепым, необычным, я сказал бы даже диким словам, тем более что этим словам они придают не свойственный им смысл и сочетают их в несочетаемые выражения. Они говорят не так, как подсказывает разум или обычай, а как им взбредет в голову, и, подстрекаемые желанием блеснуть, неприметно создают свое собственное, особое, небывалое иаречие, на котором изъясняются, сильно жестикулируя и коверкая произношение. При этом они неизменно довольны собой и своим остроумием: в остроумии им, пожалуй, не откажешь, но оно так убого и, более того, так неприятно, что уж лучше бы его не было совсем.

О чем ты говоришь, Аций? Как ты сказал? Не понимаю, повтори, пожалуйста, еще раз. Нет, решительно не понимаю... Ага, кажется, я все-таки догадался: ты хочешь поведать мне, что сегодня холодно. Но почему бы не сказать: «Сегодня холодно»? Ты хочешь сообщить, что идет дождь или снег; так и скажи: «Идет дождь, идет снег». Ты находишь, что я хорошо выгляжу, и спешешь порадовать меня этим; так и скажи: «Ты хорошо выглядишь». «Но, — возражаешь ты, — это слишком просто и ясно, так мог бы сказать всякий». Тем лучше, Аций: разве плохо, что любой человек поймет тебя и ты научишься говорить как все? Дело в том, что тебе и прочим любителям

выспренности кое-чего недостает; ты-то этого не замечаешь и, конечно, очень удивишься, когда я скажу, что всем вам недостает ума. Но это еще не все: кое-чего в вас слишком много, а именно — уверенности в том, что вы умнее других; отсюда вся ваша напыщенная галиматья, и замысловатые обороты, и громкие слова, которые ничего не означают. Как только я увижу, что ты собираешься завязать беседу или входишь в гостиную, я потяну тебя за рукав и шепну тебе на ухо: «Не старайся блистать, казаться умным — будь самим собой. Попробуй говорить просто, как говорят те, кого ты считаешь глупцами, и тогда, может быть, люди поверят, что ты умнее».

## 8

Возможно ли в светском обществе уклониться от встреч с людьми пустыми, легкомысленными и развязными, которые повсюду немедленно завладевают разговором и принуждают слушать себя? Вы только еще в прихожей, а до вас уже доносится голос говоруна; не бойтесь прервать поток его красноречия, смело входите в гостиную: он не обращает никакого внимания и на тех, кто только что появился или уходит, и на своих слушателей, какое бы положение те ни занимали, какими бы достоинствами ни отличались. Если кто-нибудь рассказывает новость, он тут же перебьет его, чтобы рассказать на свой лад — единственно правильный, с его точки зрения: он узнал эту новость от Заметто,<sup>1</sup> от Ручеллаи,<sup>2</sup> от Кончини.<sup>3</sup> с которыми незнаком и ни разу в жизни не говорил (а если бы ему довелось обратиться к ним, он, уж конечно, титуловал бы их монсеньерами); порой он оказывает честь самому высшему опоставленному из присутствующих и на ухо сообщает ему о событии, которое никому не известно и не должно стать известным; при этом он опускает некоторые имена, не желая компрометировать участников и предавать дело огласке. Тщетно вы докучаете ему расспросами — он вынужден быть скромным, он не смеет назвать людей, которым дал слово молчать: это секрет, великая тайна, не говоря уже о том, что он действительно не может ее открыть, ибо сам не знает тех лиц и обстоятельств, о которых вы расспрашиваете.

---

<sup>1,2,3</sup> Не прибавляя слова «господин». (Прим. автора.)

Арий все читал и все видел — так по крайней мере он утверждает; он человек всеобъемлющих знаний — или выдает себя за такового; по его мнению, лучше соврать, чем промолчать или выдать свою неосведомленность. Как-то раз за столом у вельможи зашел разговор о дворе некоего северного государя; Арий вмешивается в беседу, перебивая тех, кто хотел поделиться своими сведениями: оказывается, он знает эту отдаленную страну вдоль и поперек, словно прожил в ней всю жизнь. Он повествует о том, какие там законы и обычаи, придворные нравы и женщины, рассказывает всякие басни, находит их презабавными и первый до слез смеется над ними. Кто-то дерзает не согласиться с ним и приводит неопровержимые доказательства того, что сведения Ария ошибочны. Нисколько не смутившись, Арий открывает огонь по противнику: «Я ничего не утверждаю, а просто передаю то, что знаю из первых рук, от Сетона, французского посла при этом дворе, который несколько дней назад вернулся в Париж; я с ним близко знаком, подробно обо всем расспросил, и он не стал ничего от меня утаивать». Арий с еще большей самоуверенностью продолжает свой рассказ, но тут к нему обращается один из гостей: «Вы спорили сейчас с послом Сетоном, который только что вернулся в Париж».

Следует избрать золотую середину между ленью, мешающей нам вступить в беседу, рассеянностью, которая, отвлекая от предмета разговора, заставляет ставить неуместные вопросы или давать глупые ответы, и придиричьим вниманием к каждому слову, которое мы подхватываем, высмеиваем, стараемся изобразить непонятным, хотя остальным оно совершенно ясно, или наоборот — глубокомысленным и остроумным, и все это только для того, чтобы проявить собственное остроумие.

Быть в восторге от самого себя и сохранять неизблемую уверенность в собственном уме — это несчастье, которое может стрястись только с тем, кто или вовсе не на-

делен умом, или наделен им в очень малой степени. Мне от души жаль всех, кому приходится беседовать с таким человеком. Сколько красивых фраз им суждено услышать! Сколько новомодных словечек, которые внезапно появляются в нашем языке, чтобы через короткое время так же внезапно исчезнуть! Передавая новость, он не старается подробно осведомить о ней собеседников, а думает лишь о том, как бы изложить ее, и притом возможно интереснее: в его устах она становится романом, герои которого думают, как он сам, и произносят длинейшие речи, уснащенные его излюбленными словечками. Он все время делает отступления, похожие на отдельные эпизоды и такие запутанные, что под конец и сам рассказчик и слушатели уже не помнят, в чем же, собственно, суть новости. Что случилось бы с тем и с другими, если бы, по счастью, чей-то приход не прервал повествования и не помог начисто забыть о нем?

12

Теодект еще в прихожей, а я уже его слышу. Чем ближе он подходит, тем громче говорит; едва переступив порог, он начинает так смеяться, кричать и грохотать, что все зажимают уши: это не голос, а настоящий трубный глас. Да, Теодект страшен не только тем, что говорит, но и тем, как говорит: он перестает орать только для того, чтобы проблеять какой-нибудь вздор. Он столь мало заботится о людях, обстоятельствах и приличиях, что, сам того не желая, наносит обиды направо и налево: еще не успев сесть, он ухитряется задеть всех присутствующих. Стоит позвать гостей к столу, как он первый занимает место, притом лучшее и обязательно между двумя женщинами; он ест, пьет, рассказывает, шутит, всех перебивает, будь то гость или хозяин, злоупотребляя глупой снисходительностью к себе. Кто, собственно, дает этот обед — он или Эвтидем? Он требует внимания всего стола, и еще неизвестно, что опаснее — подарить ему это внимание или отказать в нем: ведь вино и еда ничуть не укрощают его нрава. За картами он всегда выигрывает; желая подразнить проигравшего, он оскорбляет его, но все смеются шуткам Теодекта, ему прощается любая дерзость. Наконец я не выдерживаю и ухожу: у меня нет больше сил терпеть Теодекта и тех, кто его терпит.

Троил полезен тем людям, которые слишком богаты: он снимает с них бремя избытка, спасает от необходимости копить деньги, заключать сделки, запирасть сундуки, носить с собой ключи и бояться воров в собственном доме. Сперва он помогает хозяину дома приятно проводить время, потом становится пособником его страстей, а вскоре научается самовластно управлять его поведением. И вот уже Троил — семейный оракул, его решений ждут — что я говорю! — их предвидят, угадывают. Стоит ему заявить: «Этого раба надо наказать» — как раба секут; стоит распорядиться: «Его следует отпустить на волю» — как раба отпускают; некий приживал не может рассмешить Троила, того и гляди он навлечет на себя Троилов гнев — приживала выгоняют; хозяин дома рад-радешенек, что Троил не приказывает ему выгнать жену и детей. Если за обедом Троил скажет, что такое-то блюдо очень вкусно, хозяин и гости, которые вначале ели это кушанье с полным равнодушием, теперь не могут им иахвалиться; напротив, если Троил находит кушанье отвратительным, то даже тот, кто только что с удовольствием набивал им рот, уже не смеет проглотить ни кусочка и все выплевывает на пол; глаза гостей прикованы к Троилу, никто не дерзает похвалить вино или жаркое, не поглядев предварительно на Троила. Он помыкает богачом, днюет и ночует в его доме: там он ест, спит, предается пищеварению, бранит своего лакея, выслушивает поставщиков, сплавляет кредиторов; расположившись в одной из гостиных, он творит суд и расправу и принимает дань уважения и преданности тех ловких людей, которые через Троила втираются в доверие к хозяину. Если, на беду, ваше лицо ему не по нраву, он нахмурит брови и отвернется: если подойдете к нему — не встанет; заговорите — не ответит; будете настаивать — удалится в другую комнату; последуете за ним — пустится бежать по лестнице. Он готов залезть на крышу или выскочить из окна, только бы не вступать в разговор с человеком, чей облик или голос ему не по душе; зато если они ему приятны, он в лепешку разобьется, чтобы произвести благоприятное впечатление и завоевать дружбу. Но со временем все становится ниже его достоинства, а он сам — выше стремления поддержать свою репутацию, понравиться талантами, которыми прежде привлекал к себе людей;

если он и выходит из мрачного раздумья, то лишь затем, чтобы вступить с кем-нибудь в спор; впрочем, до язвительной критики он снисходит тоже не чаще раза в день. Не ждите от него, чтобы он считался с вашими взглядами, угождал вам, хвалил вас: скажите спасибо, если он не отвергнет ваших похвал и стерпит ваше желание угодить ему.

14

Случай свел вас с этим незнакомцем в наемной карете, на званом обеде или в театре; не мешайте ему говорить — и вы без труда узнаете всю его подноготную: как его зовут, на какой улице он живет, откуда родом, богат ли, какую должность занимают он сам и его отец, происхождение его матери, родство, свойство, герб. Вы быстро выясните, что он дворянин, живет в собственном замке, владеет прекрасной обстановкой, лакеями и выездом.

15

Иные люди сперва говорят, а потом лишь начинают думать; другие старательно обдумывают все, что хотят сказать; беседуя с ними, вы поневоле становитесь свидетелем тяжелой работы их мозга. Их речь всегда искусственна, их жесты и движения натянуты. Это — цуристы, которые боятся самых простых слов, даже когда эти слова могли бы произвести отличное впечатление; с их уст не сорвется ни одной удачной фразы, ни одного живого, бесхитростного выражения: они говорят правильно и скучно.

16

Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие; если после беседы с вами человек доволен собой и своим остроумием, значит, он вполне доволен и вами. Люди хотят не восхищаться, а нравиться, не столько жаждут узнать что-либо новое или даже посмеяться, сколько желают произвести хорошее впечатление и вызвать всеобщий восторг; поэтому самое утонченное удовольствие для истинно хорошего собеседника заключается в том, чтобы доставлять его другим.

---

<sup>1</sup> Люди, притязающие на особую чистоту речи. (Прим. автора.)

Избыток воображения вредит нам и тогда, когда мы говорим, и тогда, когда пишем: он нередко порождает пустые и вздорные вымыслы, которые не идут на пользу нашему вкусу и ничуть нас не улучшают. Пусть источником наших мыслей будут здравый смысл и ясный ум, а их пробным камнем — наше суждение.

Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо сказать, или здравого смысла, чтобы осторожно промолчать: не было бы на свете таких людей, не было бы и докучных невеж.

Скромно сказать о какой-либо вещи, что она хороша или дурна и привести доводы в пользу своего взгляда — совсем нелегко: тут нужно много здравого смысла и умения выражать мысль. Куда легче объявить тоном решительным и не терпящим возражений, что она отвратительна или великолепна.

Тот, кто стремится подтвердить каждое свое высказывание, даже самое пустячное, длинными и торжественными клятвами, поступает противно человеческим и божеским законам. Когда порядочный человек произносит «да» или «нет», ему верят: самый его характер говорит за себя, делает его слова убедительными и привлекает к нему всеобщее доверие.

Кто постоянно твердит о своей честности и порядочности, а в подтверждение того, что он никому не вредит и не делает зла, дает клятвы и призывает на свою голову громы небесные, тот не умеет хоть сколько-нибудь убедительно сыграть роль порядочного человека.

Как ни скромней добродетельный человек, он все-таки не может помешать своим ближним говорить о нем то, что не порядочный человек говорит о себе сам.

Клеон говорит или недоброжелательно, или несправедливо, иначе он не умеет; при этом он утверждает, что таков уж у него нрав: что на уме, то на языке.

Одни говорят хорошо, другие непринужденно, третьи правильно, четвертые уместно; что касается уместности, то против нее грешит тот, кто описывает только что съеденный им превосходный обед беднякам, у которых не хватает на хлеб насущный; хвалится отличным здоровьем перед больными; рассказывает о своем богатстве, доходах, обстановке тем, у кого нет ни ренты, ни крова, — короче говоря, распространяется о своем счастье в присутствии обездоленных: эти рассказы слишком тяжелы для них, а сравнение своей участи с вашей — непереносимо.

«Ну, вы-то богаты или, во всяком случае, должны были бы уже стать богатым! — восклицает Эвтифрон. — Десять тысяч ливров дохода и поместье — это приятно, это отлично и вполне достаточно для счастья». Так говорит тот, у кого пятьдесят тысяч ливров дохода и кто убежден, что заслуживает в два раза большего. Эвтифрон определяет, сколько вы платите налогов, оценивает вас, устанавливает ваши расходы; если бы он полагал, что вы достойны большего богатства, даже такого, о котором мечтает он сам, — ему ничего не стоило бы пожелать вам этого. Не он один так плохо считает и проводит столь неучтивые сравнения — мир полон эвтифронами.

Некто, следуя обычаю и собственной своей склонности хвалить всех без разбора, льстить и преувеличивать, поздравляет Теодема с блестящей речью, которую тот будто бы произнес. Сам он этой речи не слышал и ни от кого еще не имеет о ней сведений, но тем не менее восторгается красноречьем Теодема, его жестами и в особенности удивительной памятью. А дело было так: едва начав говорить, Теодем запнулся и уже не смог связать двух слов.

Как много на свете суетливых, вечно куда-то спешащих людей, *торолы*, хотя никаких занятий у них нет и делами они не обременены! Не успев обменяться с вами приветствиями, они уже жаждут отделаться от вас и чуть ли не гонят прочь: вы еще не закончили фразы, а их уже и след простыл. Эти люди — такие же невежи, как и те, что останавливают вас и потом ни за что не отпускают от себя; впрочем, последние, быть может, еще хуже первых.

Для иных людей говорить — значит обижать: они колючи и едки, их речь — смесь желчи с полынной настойкой; насмешки, издевательства, оскорбления текут с их уст, как слюна. Лучше бы они родились немыми или слабоумными: живость и даже ум вредят им больше, чем другим — глупость. Они не только злобно огрызаются, но подчас и сами дерзко нападают, разя всех, кто попадет им на язык, отсутствующих равно как и присутствующих; подобно быкам, они стараются воизвить рога то в грудь, то в бок жертвы. Но кому придет в голову требовать от быка, чтобы он отказался от рогов? Точно так же можно ли надеяться, что это описание исправит природы столь неподатливые, строптивые, свирепые? Завидев подобных людей, лучше всего без оглядки и со всех ног бежать прочь.

Существуют люди с таким нравом или, если хотите, характером, что лучше вовсе не иметь с ними дела, как можно меньше жаловаться на них и даже не позволять себе быть правыми в споре с ними.

Двое людей поссорились насмерть: один из них прав, другой ошибается, но большинство присутствующих, то ли боясь взять на себя роль судей, то ли из миролюбия — весьма неуместного, на мой взгляд — осуждают обоих; из этого поучительного обстоятельства можно извлечь важ-

ный и решающий довод в пользу того, что если глупец находится на востоке, нам следует бежать на запад, иначе нас поставят на одну доску с ним.

30

Я не люблю людей, которые сразу начинают презирать ближнего и преисполяются самомнением только потому, что он первый подошел к ним или поклонился, не дожидаясь их поклона. Монтень сказал бы: «Хочу дружить с кем вздумается, привечать и обласкивать кого душа принимает, не печалюсь о содеянном и последствий не страшась. Не склонен я над собою тиранствовать и перечить сердцу, когда оно радуется встрече. Ко всякому, кто мне ровня и не враг, поспешаю я первый с поклоном, о здравии и благорасположении расспрашиваю, услужить норовлю, не чинясь и не держа, как говорится, ухо остро. Не по нраву мне тот, кто так себя ведет и поступает, что с ним я и вольность свою и чистосердечие утрачиваю. Завидя его, должен я немедленно вспоминать, что вид надлежит мне принять важный и сановитый, дабы он смекнул, сколь хорошо я знаю ему цену, а для того должно мне держать в памяти, что я — человек доброго имени и жизни примерной, за ним же слава худая, да еще беспрестанно с ним себя сравнивать. Не с руки мне такая забота и неспособность столь рьяное усердие. А буде удастся мне сие на первый раз, так я непременно промахнусь во второй и выдам себя с головою: непривычно мне творить над собой насилие и лицедействовать затем лишь, дабы перед кем-нибудь покрасоваться».<sup>1</sup>

31

Добродетельный, благонравный и неглупый человек может быть тем не менее невыносимым: от учтивости, которая многим кажется вздором и пустяком, часто зависит, хорошо или дурно думают о вас люди. Чтобы все считали вас высокомерным гордецом и неприятным невежей, нужно немного; еще меньше нужно, чтобы изменить это мнение.

<sup>1</sup> Подражанне Монтеню. (Прим. автора.)

Учтивые манеры не всегда говорят о справедливости, доброте, снисходительности и благодарности, но они хотя бы создают видимость этих свойств, и человек по внешности кажется таким, каким ему следует быть по сути.

Можно определить, что такое учтивость, но нельзя рассказать, как она должна проявляться: это зависит от обычаев, от времени, страны, людей, даже от пола и положения в обществе. Понять ее суть еще не значит уметь выказать ее на деле: мы должны перенимать ее у окружающих и всегда в ней совершенствоваться. Одни ценят в собеседнике только учтивость, другие — большие дарования и неколебимую добродетель; однако в любом случае учтивые манеры оттеняют достоинства и придают им приятность: только из ряда вон выходящие качества могут спасти неучтливую человека в мнении света.

Мне кажется, суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами и самими собою.

Неучтиво в присутствии тех, кто только что пел для вас или играл на каком-нибудь инструменте, превозносить до небес других людей, наделенных такими же талантами; точно так же неучтиво, послушав одного поэта, похвалить ему стихи другого.

Устраивая обед или празднество в честь кого-нибудь, преподнося ему подарки, придумывая для него развлечения, мы должны стараться, чтобы, с одной стороны, все было сделано хорошо, а с другой — отвечало вкусам этого человека; второе важнее.

Пренебрежительно отвергая любую похвалу, мы проявляем своего рода грубость: нам следует благодарить за нее, если она исходит от достойного человека, который чистосердечно хвалит то, что заслуживает похвалы.

Когда умный и гордый человек впадает в бедность, он остается таким же гордым и непреклонным, как прежде. Только достаток может смягчить его нрав, придав ему бóльшую мягкость и снисходительность.

Не слишком хороший характер у того, кто нетерпим к дурному характеру ближнего: будем помнить, что в обращении требуются и золото и разменная монета.

Жить в постоянном общении с людьми, которые находятся в ссоре и непрерывно жалуются один на другого, — это все равно что не выходить из зала суда и с утра до вечера слышать, как противные стороны вчиняют друг другу иски.

Известны случаи, когда люди, прожив всю жизнь под одной кровлей и в полном согласии, не деля имущества и никогда не разлучаясь, вдруг на девятом десятке обнаруживают, что им пора расстаться и больше не видеть друг друга. До могилы обоим остались считанные дни, но их терпение исчерпано, они уже не в силах быть вместе и, пока еще дышат, спешат разойтись. Их совместное существование слишком затянулось: теперь они уже не пример для других, а вот умри они на день раньше, их добрые отношения сохранились бы в памяти людей как редкий образец верности и дружбы.

Жизнь большинства семей нередко омрачают недоверие, ревность, недоброжелательство, между тем как снаружи все выглядит так благообразно, мирно и дружелюбно, что мы вдаемся в обман и видим счастье там, где его нет и в помине; мало на свете таких семей, которые выигрывают от близкого знакомства с ними. Вы пришли с визитом — и ваше появление прервало ссору; но стоит вам откланяться, как она сразу же возобновится.

В светском обществе разум обычно первым сдает свои позиции: люди глубокого ума нередко оказываются в подчинении у глупца и самодура; они начинают изучать все его слабости, прихоти, капризы, они потакают ему, идут на любые уступки, ни в чем не перечат. Если он благодушно настроен — его превозносят до небес и как бы благодарят за то, что он не всегда невыносим. Его боятся, балуют, слушаются, порою даже любят.

Только тот, кто ждал или ждет наследства от престарелых родственников, знает, как дорого приходится за него платить.

Клеант — благороднейший человек, и женился он на превосходной, очень разумной женщине; каждый из них — украшение и гордость любого общества. На свете редко встречаются столь порядочные и учтивые люди, но... завтра они расстанутся: у нотариуса уже готов акт о раздельном жительстве. Очевидно, иные достоинства несочетаемы, иные добродетели несовместимы.

Муж может с уверенностью рассчитывать на приданое, жена — на вдовью часть, оба они — на соблюдение условий брачного контракта, но пусть они не надеются на содержание, положенное родителями и зависящее от столь непрочной вещи, как согласие между свекровью и невесткой, которое нередко нарушается в первый же год брака.

Тесть не любит зятя, свекор любит невестку; теща любит зятя, свекровь не любит невестку: все в мире уравновешивается.

Мачеха всеми силами души ненавидит детей своего мужа от первого брака; чем сильнее любит она их отца, тем больше она мачеха.

Мачехи опустошают города и села и плодят нищих, бродяг, лакеев и рабов не меньше, чем сама бедность.

47

Г. и Э. оба живут вдали от больших городов, вдали от общества; они соседи, у них смежные поместья. Казалось бы, боязнь одиночества и желание встречаться с себе подобными должны были бы связать их дружбой; однако они повздорили из-за совершеннейшего пустяка и теперь ненавидят друг друга такой лютой ненавистью, что она, несомненно, будет передаваться из поколения в поколение. Между тем даже родственники, даже братья никогда еще не ссорились из-за такой безделицы.

Предположим, что на земле живут всего два человека и она целиком принадлежит им — каждому по половине. Я не сомневаюсь, что очень скоро они ухитрятся рассориться — скажем, из-за определения границ.

48

Подчас легче и полезнее приладиться к чужому нраву, чем приладить чужой нрав к своему.

49

Я стою на вершине холма и смотрю вниз, на небольшой городок: он расположен на склоне, густой лес защищает его от холодных северных ветров, стены омывает река, которая потом струит свои воды по чудесной долине. Городок так ярко освещен солнцем, что я могу сосчитать все его башни и колокольни: кажется, будто он нарисован на косогоре. Охваченный восторгом, я восклицаю: «Какое счастье жить в этом пленительном уголке, под этими ясными небесами!» Я спускаюсь, вхожу в городок и через двое суток уже уподобляюсь его жителям: только и мечтаю, как бы из него удрать.

50

На свете никогда не было и, видимо, никогда не будет провинциального города, где жители не делились бы на враждующие партии, семьи жили бы в согласии, родственники взирали бы друг на друга с доверием, браки не

приводили бы к междоусобицам, вынос святых даров, каж-  
дение, свячение хлебов, процессии и погребальные обряды  
не служили бы поводом к местничеству, пересуды, кле-  
вета и злословие находились бы под запретом, президент  
парламента и бальи, присяжные и ассессоры не вступали бы  
в споры, настоятель жил бы в мире с канониками, кано-  
ники не гнушались бы капелланами, а капелланы не изво-  
дили бы певчих.

51

Провинциалы и недалекие люди то и дело готовы оби-  
даться, полагая, что их презирают, что над ними смеются;  
как бы мягка и безобидна ни была шутка, ее можно позво-  
лить себе только с людьми воспитанными или наделенными  
умом.

52

Не пытайтесь верховодить ни вельможами — они за-  
щищены от вас высоким положением, ни маленькими  
людьми — они всегда настороже.

53

Люди, украшенные достоинствами, сразу узнают, вы-  
деляют, угадывают друг друга; если вы хотите, чтобы вас  
уважали, имейте дело только с людьми, заслуживающими  
уважения.

54

Тот, кто облачен столь высоким саном, что люди не  
смеют отвечать ему насмешкой на насмешку, не должен  
позволять себе ни единой колкой шутки.

55

У каждого из нас есть мелкие недостатки, которые мы  
охотно позволяем порицать и даже высмеивать; именно  
такие недостатки должны мы избирать и у других в ка-  
честве мишени для шуток.

56

Смеяться над умными людьми — такова привилегия  
глупцов, которые в обществе играют ту же роль, что  
шуты при дворе, — то есть никакой.

Склонность к осмеиванию говорит порой о скудости ума.

Вы полагаете, что оставили этого человека в дураках, а он ничего и не заметил; но если он только притворился, что не заметил, кто больше в дураках — он или вы?

Поразмыслив хорошенько, нетрудно убедиться, что вечно брюзжат, всех поносят и никого не любят именно те люди, которые всеми нелюбимы.

Человек высокомерный и спесивый в обществе обычно добивается результата, прямо противоположного тому, на который рассчитывает, — если, конечно, он рассчитывает на уважение.

Друзья потому находят удовольствие в общении друг с другом, что одинаково смотрят на нравственные обязанности человека, но различно мыслят о вопросах научных: беседы помогают им укрепиться во взглядах, доказать свои убеждения или узнать что-либо новое.

Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки.

Сколько прекрасных и бесполезных советов мы преподаем тому, кого хотим утешить в большой беде: мы забываем, что внешние события, именуемые неблагоприятными обстоятельствами, порою сильнее не только нашего разума, но и нашей природы. «Ешьте, спите, не унывайте, постарайтесь жить как прежде!» Пустые и тщетные увещания! «Разумно ли так убиваться?» — спрашиваете вы. С таким же успехом вы могли бы спросить: «Не безрас судно ли быть несчастливым?»

Советы весьма полезны в делах, но в светском общении они порой лишь вредят советчику и не нужны тому, к кому обращены: вы указываете человеку на его недостатки, а он или не намерен в них сознаваться, или почитает их достоинствами; вы критикуете такие-то места в произведении, а между тем автор считает их превосходными, лучшими из всего, что он создал, и критика лишь укрепляет его в этом мнении. Ваши друзья не станут ни лучше, ни умнее от ваших советов — они только перестанут вам доверять.

Не так давно в нашем светском обществе существовал кружок, состоявший из мужчин и женщин, которые собирались, чтобы обменяться мыслями и побеседовать. Искусство изъясняться вразумительным языком они предоставили черни: стоило одному из членов кружка сказать что-нибудь неясное, как другой отвечал ему еще более туманно, и чем загадочней становился их разговор, тем громче рукоплескали остальные. Употребляя выражения, которые, на их взгляд, отличались изяществом, изысканностью, чувствительностью и утонченностью, они вовсе разучились понимать не только друг друга, но и самих себя. Для этих бесед не требовалось ни здравого смысла, ни глубины суждения, ни памяти, ни проницательности, ничего, кроме ума, да и то поверхностного, вывернутого наизнанку, — ума, в котором слишком большую роль играло воображение.

Я знаю, Теобальд, что ты состарился, но следует ли из этого, что, одряхлев умом, ты перестал быть поэтом и острословом, что теперь ты никуда не годный критик чужих творений и бездарный писака, что в твоих высказываниях не осталось ничего своеобразного и утонченного? Твой спесивый и развязный вид успокаивает меня, ибо он говорит об обратном: сегодня ты такой же, каким был прежде, — может быть, даже лучше, ибо если ты столь оживлен и неукротим в преклонные годы, то каков же ты был в юности, когда выступал в роли баловня и любимца женщин, которые смотрели тебе в рот, верили каждому твоему слову и восклицали: «Это прелестно... Только объясните, пожалуйста, что он сказал?»

Люди вкладывают много жара в свои высказывания обычно из тщеславия или по складу характера, а вовсе не потому, что этого требует предмет беседы: увлеченные желанием ответить на то, чего им никто и не говорил, они следуют за своими собственными мыслями, не обращая ни малейшего внимания на доводы собеседника: они не только не стараются вместе с ним обрести истину, но даже еще не знают, чего именно ищут. Тот, кто внимательно послушал бы такой разговор и потом записал его, нашел бы в нем немало здравых мыслей, хотя и никак между собой не связанных.

Одно время у нас были в моде глупые и пустые разговоры, которые все время вертелись вокруг легкомысленных тем, имеющих касательство к сердечным делам, к тому, что именуется страстью и нежностью; чтение некоторых романов ввело эти темы в обиход самых достойных придворных и горожан, но они быстро исцелились от этого поветрия, заразив им, однако, мещанство, которое переняло и эти темы и сопряженные с ними остроты и двусмысленности.

Иные жительницы столицы так утонченны, что якобы не знают или не смеют вслух назвать улицы, площади, общественные места, недостаточно, на их взгляд, благопристойные для порядочных женщин. Такие названия, как Лувр или Королевская площадь, они произносят смело, зато другие стараются обойти, заменяя их иносказательными оборотами или в крайнем случае просто коверкая — им кажется, что так приличнее. В своем жеманстве они далеко превзошли придворных дам, которые без всякого стеснения скажут «Рыночная площадь» или «Шатле», если им нужно сказать «Рыночная площадь» или «Шатле».

Люди, которые прикидываются, будто не помнят такого-то, по их мнению незнатного, имени, или коверкают его, поступают так потому, что с чрезмерным почтением относятся к своему собственному имени.

Иные люди, пребывая в хорошем расположении духа, любят во время непринужденной беседы отпускать безвкусные шутки, которые никому не нравятся, однако слышат остроумными именно потому, что очень плохи: это низменная манера шутить перешла к нам от черни, которой она свойственна, и заразила многих молодых придворных; правда, ей присуща такая грубость и глупость, что вряд ли она распространится дальше и заполонит двор — это естественное средоточие изысканности и вкуса, — но следовало бы внушить к ней отвращение и тем, кто ее себе усвоил: даже если для них это всего лишь забава, тем не менее подобные шутки занимают в их уме и беседе такое место, которое могли бы занять темы куда более достойные.

Не знаю, что лучше — дурно шутить или повторять хорошие, но давным-давно известные остроты, делая вид, что вы только что их придумали.

«Лукач изящно выразился... Клавдиан остроумно заметил... У Сенеки сказано...» — и дальше следует длиннейшая латинская цитата, ее обычно приводят в присутствии людей, которые не понимают ее, но делают вид, что понимают. Если бы у этих любителей цитат достало здравого смысла и ума, они или вовсе обошлись бы без ссылок на древних, или внимательно прочитали бы их и выбрали бы что-нибудь более удачное и идущее к месту.

Гермагор не знает, какой король правит Венгрией, и не может взять в толк, почему никто не упоминает о короле богемском. Не вступайте с ним в беседу о фландрском и голландском походах или по крайней мере избавьте его от необходимости отвечать: он не представляет себе, когда они начались и когда кончились, путает все даты, осады и бои для него — пустой звук. Зато он отлично осведомлен о войне богов с гигантами и может обстоятельно из-

ложить ее ход, не упустив ни единой подробности; так же досконально изучил он все перипетии борьбы двух царств — Вавилона и Ассирии; кроме того, ему известно решительно все об египтянах и о династиях египетских фараонов. Он никогда не видел Версаля и никогда не увидит, но, можно сказать, воочию видел Вавилонскую башню, — так хорошо он помнит, сколько в ней было ступеней, какие зодчие возводили ее и как их всех звали. Дело доходит до того, что Генриха IV<sup>1</sup> он считает сыном Генриха III и понятия не имеет о царствующих домах Франции, Австрии, Баварии. «Какое значение это имеет?» — восклицает он и тут же принимается перечислять всех мидийских и вавилонских царей; имена Апронала, Геригебала, Неснемордаха, Мардокемпада ему так же близки, как нам — имена Валуа и Бурбонов. Он спрашивает, был ли женат император, но, конечно, ему не приходится напоминать, что у Нина были две жены. Если ему скажут, что наш король в добром здравии, он сразу вспомнит, что египетский царь Тутмос был человек болезненный и что своим хилым телосложением он обязан своему предку Алифармутозу. Чего только не знает Гермагор! Есть ли что-нибудь в глубокой древности, сокрытое от него? Он поведаст вам о том, что у Семирамиды, или, как именуют ее многие ученые, Серимарнды, голос был в точности похож на голос ее отпрыска Нина и что многие путали их, хотя до сих пор никто не знает, была ли царица или царевич дискантил. Откроет он вам и то, что Нимрод был левшой, а Сезострис — оберуким. Если вы думаете, что Артаксеркса называли Длинноруким потому, что руки у него свисали до колен, Гермагор разуверит вас: просто одна рука у царя была длиннее другой; многие осведомленные авторы полагают, что длиннее была правая, но у Гермагора есть серьезные основания считать, что все же то была левая.

## 75

Асканий — скульптор, Гегион — литейщик, Эскин — сукновал, а Кидий — остроумец и виршеплет: такова его профессия. У него есть вывеска, мастерская, работа на заказ, подмастерья. Он обещал написать для вас стансы, но не раньше чем через месяц: иначе он не сдержит слова.

<sup>1</sup> Генриха Великого. (Прим. автора.)

данного Досифее, которая заказала ему элегию. Кроме того, сейчас у него в работе идиаллия для Крантора — тот очень его торопит и обещает хорошо заплатить. Проза, стихи — чего изволите? Ему все удается одинаково хорошо. Попросите его написать соблезнуюющее письмо или отказ от приглашения — он и тут к вашим услугам: если хотите, можете получить такое послание в уже готовом виде с его складов. У него есть друг, у которого одна-единственная забота в жизни — сначала за глаза расхваливать Кидия в гостиных, а потом представлять его там как человека редких достоинств и превосходного собеседника. Вот Кидий появляется в одной из таких гостиных: подобно певцу или лютнисту, приглашенному показать свое искусство, он откашливается, поправляет манжеты, вытягивает руку, растопыривает пальцы и начинает важно излагать суть своих утонченных мыслей и премудрых умозаключений. Люди, согласные в главном и знающие, что разум, подобно истине, един, перебивают друг друга для того, чтобы прийти к общему мнению; в отличие от них, Кидий открывает рот только затем, чтобы всему перечить. «Я полагаю, — учтиво говорит он, — что вы совершенно неправы», или: «Я никак не могу согласиться с вашим взглядом», или: «Когда-то я упорствовал в этом заблуждении так же, как вы, но... Следует принять во внимание три довода», — продолжает он и немедленно добавляет к ним четвертый. Не успеет этот утомительный болтун где-нибудь появиться, как сразу же начинает втираться в доверие к женщинам, покоряя их своим острословием, философскими познаниями, выкладывая диковинные теории. Пишет Кидий или говорит, он как чумы избегает равно и заблуждений и истины, разумного и нелепого, ибо единственное его желание — думать иначе, нежели другие, и ни в чем не быть похожим на них: поэтому, когда в обществе — случайно или его же стараниями — возникает разговор на какую-либо тему, он ждет, чтобы все высказали свое мнение, а потом безапелляционным тоном заявляет нечто ни с чем не сообразное, но с его точки зрения бесспорное и не подлежащее дальнейшему обсуждению. Кидий приравнивает себя к Лукиану и Сенеке,<sup>1</sup> смотрит свысока на Платона, Вергилия и Феокрита, а его прижи-

<sup>1</sup> Философ и автор стихотворных трагедий. (Прим. автора.)

вал каждое утро из кожи лезет, чтобы утвердить Кидня в этой уверенности. Связанный сходством вкусов с хулителями Гомера, он доверчиво ждет, чтобы люди прозрели и предпочли греку современных поэтов, ибо отводит себе первое место среди них и даже знает, кто занимает второе. Словом, он наполовину педант, наполовину жеманник, созданный для того, чтобы им восхищались и жители столицы и провинциалы, хотя единственное, что в нем действительно велико, — это самомнение.

76

Догматический тон всегда является следствием глубокого невежества: лишь человек непросвещенный уверен в своем праве поучать других вещам, о которых сам только что узнал; тот же, кто знает много, ни на секунду не усомнится, что к его словам отнесутся внимательно, поэтому говорит с подобающей скромностью.

77

О вещах серьезных следует говорить просто: напыщенность тут неуместна; говоря о вещах незначительных, также не нужно впадать в пафос: только тон, манера и выражение, с которым они произносятся, могут придать им смысл.

78

Пожалуй, в устную речь можно вложить еще более тонкий смысл, чем в письменную.

79

Только человек благородный по происхождению или хорошо воспитанный способен хранить тайну.

80

Неполная откровенность всегда опасна: почти нет таких обстоятельств, при которых не следовало бы либо все сказать, либо все утаить. Если мы считаем, что человеку нельзя открыть все, мы, рассказывая что-то, уже говорим слишком много.

Иной человек, обещавший хранить вашу тайну, выдает ее, сам того не ведая: губы его неподвижны, но окружающие уже всё понимают, ибо тайна написана у него на лбу и в глазах, просвечивает сквозь его грудь, которая внезапно стала прозрачной; другой говорит не совсем о том, что было ему доверено, но слова его и манеры таковы, что все само собой выплывает наружу; наконец, третий просто разбалтывает вашу тайну, серьезна она или незначительна: «Это секрет, такой-то поделился им со мной и запретил его разглашать», — и он тут же все рассказывает.

В разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил ее другому.

Никандр рассказывает Элизе, как хорошо и душа в душу прожил он со своей женою с того дня, как женился на ней, и до самой ее кончины. Он не устает сокрушаться о том, что она не оставила ему наследников, перечисляет, сколько у него домов в городе, потом переходит к своему загородному поместью, подсчитывает, какой доход оно ему приносит, делится замыслами новых построек, описывает местность, преувеличивает удобства того дома, в котором живет сейчас, богатство и новизну мебелировки, уверяет, что очень ценит хороший стол и выезд, жалуется, что покойница не очень любила карточную игру и общество. По его словам, один его друг все время повторяет: «Вы так богаты, почему бы вам не купить эту должность, не приобрести тот участок и не расширить свои владения?» «Меня считают еще более богатым, чем я есть», — добавляет он. Не упускает он и случая помянуть о своих связях: слова «господин суперинтендант, мой двоюродный брат», «госпожа канцлерша, моя свойственница» не сходят у него с уст. Он сообщает о некоем происшествии, которое должно показать, что он недоволен своими родственниками — в том числе и наследниками. «Разве я неправ? — спрашивает он Элизу. — Какие у меня основания радеть о них?» — и призывает ее высказать свое мнение. Наконец, он намекает, что здоровье у него слабое и все ухудшается, говорит о семейном склепе, в котором его должны похоронить. Он вкрадчив, льстив, услужлив с теми, кто окружает даму, руки которой он добивается. Но у Элизы

не хватает мужества приобрести завидное состояние ценою брака с ним: во время этого разговора докладывают о приходе придворного, который одним своим видом выводит из строя всю батарею почтенного горожанина. Растерянный и обозленный, он отправляется в другой дом, где снова заводит речь о том, что хотел бы вторично жениться.

Человек, наделенный умом, порою начинает чуждаться светского общества из боязни, как бы оно ему не наскучило.

## Глава VI

### О ЖИТЕЙСКИХ БЛАГАХ

1

Богач волеи есть лакомые блюда, украшать росписью потолки и стены у себя в доме, владеть замком в деревне и дворцом в городе, держать роскошный выезд, породниться с герцогом и сделать своего сына вельможей. Да, все это ему доступно; но довольство жизнью выпадает, пожалуй, на долю других.

2

Знатное происхождение и богатство — глашатаи заслуг: они привлекают к ним внимание.

3

Притязания честолюбивого глупца нередко оправданы тем, что едва он составил себе состояние, как люди начали находить в нем достоинства, которых у него никогда не было, и притом столь выдающиеся, что он сам в них поверил.

4

Стоит человеку утратить богатство и расположение двора, как сразу обнаруживаются те смешные стороны его характера, которые до тех пор были скрыты и неприметны для глаз.

Лишь убедившись на собственном опыте, можно поверить в существование тех удивительных различий, которые возникают между людьми, обладающими большим или меньшим запасом монет. Это «больше» и «меньше» побуждает человека надевать мундир, или мантию, или рясу, — а ведь иных путей в жизни почти что и нет.

Два купца жили по соседству и торговали одним и тем же товаром, но потом их судьба сложилась по-разному. У каждого из них было по единственной дочери, которые выросли вместе и дружили в юности так, как дружат лишь люди одинакового возраста и положения. Одна из них, пытаясь выбиться из нужды, ищет себе место и поступает на службу к весьма знатной особе — одной из первых придворных дам; это ее бывшая подруга.

Если финансист разоряется, придворные говорят: «Это выскочка, ничтожество, хам». Если он преуспевает, они просят руки его дочери.

Есть среди нас люди, которые смолodu учились одному ремеслу, а потом всю жизнь занимались другим — отнюдь не похожим на первое.

Передо мною невзрачный и неумный человек, но мне шепчут на ухо: «У него пятьдесят тысяч ливров дохода». Ну и пусть! Это касается только его: для меня он не стал от этого ни лучше, ни хуже. Если бы, вольно или невольно, я начал смотреть на него другими глазами, каким бы я сам оказался глупцом!

Не старайтесь выставить богатого глупца на посмеяние — все насмешники на его стороне.

У Н. есть и грубый, неприступный привратник — отдаленное подобие швейцара, — и передняя, и приемная, где сидят и томятся посетители, ожидая, пока он соизволит наконец выйти к ним, важно и рассеянно выслушать их и отпустить, даже не проводив до двери; хотя Н. — персона весьма незначительная, он внушает людям нечто весьма похожее на почтение.

Я у твоих дверей, Клитифон. Нужда, которую я имею до тебя, подняла меня с постели и выгнала из дому. Не приведи бог быть у тебя клиентом или просителем! Твои рабы объявляют мне, что ты еще не выходил и примешь меня только через час. Я возвращаюсь раньше указанного срока, и они отвечают, что ты вышел. Что же ты делаешь, Клитифон, запершись в самой отдаленной комнате своего дома? Чем ты так занят, что тебе некогда меня выслушать? Ты ведешь записи, проверяешь счета, подписываешь бумаги, делаешь заметки, а ведь у меня к тебе одна-единственная просьба и тебе достаточно сказать одно лишь слово — «да» или «нет».

Ты хочешь казаться важной персоной? Помогай тем, кто от тебя зависит, и добьешься цели скорее, нежели отказом принять просителей. О влиятельный и обремененный делами человек! Если тебе, в свой черед, понадобятся мои услуги, смело приходи в мой уединенный кабинет: доступ к философу открыт для всех, и я не отложу свидания на завтра. Ты найдешь меня согбенным над трудами Платона, которые трактуют об идеальной природе души и отличии ее от тела, или вычисляющим с пером в руке расстояния до Сатурна и Юпитера. Я созерцаю творения бога и поражаюсь его величию, я познаю истину и тщу просветить свой ум, чтобы стать более достойным человеком. Входи же — все двери открыты, передняя в моем доме устроена не для того, чтобы томиться, ожидая меня. Милости прошу без доклада прямо ко мне в кабинет: ты ведь доставил мне то, что дороже золота и серебра, — возможность оказать тебе услугу. Говори, чего ты ждешь от меня. Хочешь, я брошу мои книги, занятия, работу, не дописав начатой страницы?

Я с радостью прерву мои труды, если могу быть тебе полезен.

Финансист, государственный муж — это медведь, которого не приручить. Увидеться с ним в его берлоге нелегко — нет, что я говорю! — вовсе невозможно: сначала оказывается, что он еще не выходил, потом — что он уже ушел. Человек науки, напротив, доступен для всех, как уличная тумба: каждый может видеть его во всякое время и в любом виде — в постели, нагим, одетым, здоровым, больным. Он не может напускать на себя важность, да и не хочет этого.

13

Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, — они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого — сделка принесла бы нам лишь убыток.

14

Глядя на о...щ...в, мы поочередно испытываем все мыслимые чувства: сначала мы презираем их, как людей безродных, потом завидуем им, ненавидим их, боимся, иной раз ценим, наконец уважаем; а проживем подольше, так, пожалуй, начнем им сострадать.

15

Сосий начал с ливреи, выбился в сборщики налогов, потом в субарендаторы при откупщике, а затем, лихоимствуя, подделывая бумаги, злоупотребляя доверием и разоряя целые семьи, возвысился до заметного положения. Он купил должность и таким путем стал человеком благородным. Ему оставалось только сделаться добродетельным: звание церковного старосты совершило и это чудо.

16

Арфурия ходила в храм святого \*\*\* пешком и без служанки, занимала там место у самого входа и слушала издали проповедь кармелита или доктора богословия, чье

лицо еле-еле могла разглядеть, а слова — с трудом разобрать. Никто не замечал ее добродетелей, никто не знал ни о ее благочестии, ни о ее существовании. Но вот ее супруг получил откуп на восьмерину и меньше чем за шесть лет составил себе чудовищное состояние. Теперь Арфурия приезжает к обеду в карете, за нею несут тяжелый шлейф, проповедник прерывает речь и ждет, пока она усядется. Она сидит прямо перед ним, слышит любое его слово, видит любой жест. Священники интригуют, каждому хочется переманить ее в свою исповедальню, каждому лестно дать ей отпущение; наконец верх над остальными берет приходский кюре.

17

Креза несут на кладбище. Казнокрадством и лихоимством он стяжал огромные богатства, но, расточив их на роскошь и чревоугодие, не оставил себе даже на похороны. Он умер несостоятельным должником, без гроша за душой, лишенный ухода и помощи: перед смертью у него не было ни прохладительного питья, ни подкрепляющего лекарства, ни врачей; ни один доктор богословия не уверял его, что ему суждено вечное блаженство.

18

Шампань, встав из-за стола после долгого обеда, раздувшего ему живот, и ощущая приятное опьянение от авнейского или силлерийского вина, подписывает поданную ему бумагу, которая, если никто тому не воспрепятствует, оставит без хлеба целую провинцию. Его легко извинить: способен ли понять тот, кто занят пищеварением, что люди могут где-то умирать с голоду?

19

Сильван за деньги купил себе дворянство и новое имя; теперь он сеньор того прихода, где его предки платили подушное. Раньше его не взяли бы к Клеобулу даже в пажы, теперь он его зять.

Дор следует по Аппиевой дороге в носилках. Впереди бегут его отпущенники и рабы, разгоняя толпу и расчищая путь; ему не хватает только ликторов. Окруженный свитой, он вступает в Рим так, словно этим триумфальным въездом сотрет воспоминание о бедности и низком происхождении отца своего Санги.

Трудно употребить свое состояние лучше, чем Периандр: оно принесло ему высокое положение, почет, власть. Никто уже не ищет его дружбы — теперь у него просят покровительства. Раньше он говорил о себе: «Такой человек, как я...»; ныне он говорит: «Человек моего положения...» Он разыгрывает вельможу, и никто из тех, кого он ссужает деньгами или приглашает к столу (а стол у него отменный), не дерзает разуверить его на этот счет. Его великолепный дом выдержан снаружи в строгом дорическом стиле: дверь, например, — не дверь, а настоящий портик. «Что это, жилище частного человека или храм?» — недоумевают прохожие.

Периандр — первое лицо в своем квартале; все ему завидуют и жаждут его падения; его супруга своим жемчужным ожерельем навлекла на себя вражду всех дам по соседству. Но он держится крепко, и ничто не предвещает крушения его величия, которого он добился сам, которым никому не обязан, за которое заплатил.

Ах, почему его старый и дряхлый отец не умер лет за двадцать до того, как мир услышал о Периандре? Разве может последний примириться с той страшной бумагой,<sup>1</sup> которая, обличая истинное звание человека, вгоняет в краску вдову и наследников? Или он собирается обойтись без нее на глазах у целого города, завистливого, злоречивого, зоркого, и не посчитаться со множеством людей, которые жаждут занять подобающее им место в похоронной процессии? Надеется, что они смолчат, если он вздумает именовать «его честью», а то и «его милостью» своего отца, который был всего лишь «господин таковой-то»?

<sup>1</sup> Извещением о похоронах. (Прим. автора.)

Как много на свете людей, которые похожи на уже взрослые и крепкие деревья, перевезенные и высаженные в сады, где они восхищают взоры каждого, кто видит их в столь прекрасных местах, но не знает, откуда их доставили и как они росли!

Какое мнение составили бы себе о нашем веке иные покойные ныне вельможи, если бы, возвратясь в мир живых, увидели, что их имена и самые звучные титулы, их замки и древние жилища принадлежат людям, отцы которых, возможно, были у них арендаторами?

То, как распределены богатство, деньги, высокое положение и другие блага, которые предоставил нам господь, и то, какому сорту людей они чаще всего достаются, ясно показывает, насколько ничтожными считает творец все эти преимущества.

Если вы зайдете на кухню и познакомитесь там со всеми секретами и способами так угождать вашему вкусу, чтобы вы ели больше, чем необходимо; если вы во всех подробностях узнаете, как разделяют мясо, которое подадут вам на званом пиру; если вы посмотрите, через какие руки оно проходит и какой вид принимает, прежде чем превратится в изысканные кушанья и обретет то опрятное изящество, которое пленяет ваши взоры, заставляет вас колебаться при выборе блюд и побуждает отвратить от всех сразу; если вы увидите все эти яства не на роскошно накрытом столе, а в другом месте, — вы сочтете их отбросами и почувствуете отвращение. Если вы проникнете за кулисы театра и пересчитаете блоки, маховики и канаты тех машин, с помощью которых производятся полеты; если вы поймете, сколько людей участвует в смене декораций, какая сила рук, какое напряжение мышц необходимы для этого, вы удивитесь и воскликнете: «Неужели все это и сообщает движение зрелищу, столь же

прекрасному и естественному, сколь непринужденному и полному воодушевления?»

По той же причине не пытайтесь выведать, как разбогател откупщик.

26

Этот свежий, цветущий, пышущий здоровьем юноша — сеньер целого аббатства и обладатель десятка других бенефиций, от которых получает сто двадцать тысяч ливров дохода. Он купается в золоте, а рядом семьям ста двадцати бедняков нечем обогреться зимою, нечем прикрыть наготу и порою даже нечего есть. Их нищета ужасна и постыдна. Какая несправедливость! Но не предвещает ли она, что ожидает как их, так и его в будущей жизни?

27

Тридцать лет тому назад Хризипп, человек из новых и первый дворянин в своем роду, мечтал получать когда-нибудь хоть две тысячи ливров дохода; это было верхом его желаний, пределом его честолюбивых помыслов. Он сам так говорил, и многие это помнят. Теперь неведомыми путями он достиг того, что дает в приданое за одну из дочерей огромный капитал: проценты с него образуют как раз ту сумму, на которую он хотел когда-то жить всю жизнь; такие же доли отложены им для каждого из детей, которых он должен обеспечить, — а их у него много. Но это лишь задаток под будущее наследство: после его смерти найдутся и другие ценности. А он, хотя уже в годах, но полон жизни и тратит остаток дней своих на приумножение накопленного богатства.

28

Дайте Эргасту волю, и он обложит налогом воду, которую пьют, и землю, по которой ходят: он умеет превращать в золото все — даже тростник, камыш и крапиву. Он принимает любые советы и пытается провести в жизнь все, что ему советуют. Государь, уверяет он, жалуется только за счет Эргаста, оказывает им лишь те милости, которые заслужены Эргастом. Он полон ненасытной жажды приобретать и владеть; он готов торговать искусством и наукой, взять на откуп даже гармонию. Послушать его, так выходит, что народ с радостью предпочел

бы музыке Орфея мелодии Эргаста, лишь бы этот добрый человек был богат, держал свору гончих и завел конюшню!

29

Остерегайтесь иметь дело с Критоном: он печется лишь о собственной выгоде. Тот, кто польстится на его должность, поместье, собственность, попадет в ловушку — ему навяжут несообразные условия. Не ждите щепетильности и уступчивости от человека, столь преданного своим интересам и столь равнодушного к вашим: он вас проведет.

30

Бронтин, говорят в народе, так благочестив, что по неделям запирается наедине с изображениями святых; однако между святыми и Бронтином все же есть некоторая разница.

31

Народ нередко проявляет вкус к трагедии: он охотно смотрит, как на подмостках жизни гибнут актеры, которые натворили столько зла по ходу действия и так ему ненавистны.

32

Жизнь от...щи.ов распадается на две равные половины: первая, деятельная и непоседливая, целиком занята тем, что они грабят народ; вторая, предшествующая смерти, — тем, что они обличают и разоряют друг друга.

33

Человек, который многим ближним — в том числе и вам — помог составить состояние, не сумел сохранить своего и обеспечить перед смертью жену и детей; теперь они живут в неизвестности и нищете. Вам отлично известно их бедственное положение, но вы и не думаете его облегчить. В самом деле, до того ли вам? Вы держите открытый стол, вы строитесь. Зато вы с признательностью храните портрет вашего благодетеля... правда, уже не в кабинете, а в передней. Какая преданность! Его вполне можно было бы вынести и в чулан.

Человек иногда рождается черствым, а иногда становится им под влиянием своего положения в жизни. В обоих случаях он равнодушен к бедствиям ближнего, большего того — к несчастьям собственной семьи. Настоящий финансист не способен горевать о смерти своего друга, жены, детей.

Бегите, спасайтесь: опасность все еще слишком близка! «Я уже переехал тропик», — возразите вы. Нет, пересекайте полюс, скройтесь в другом полушарии, взлетите, если можете, к звездам. «Я уже достиг их». Вот и хорошо! Наконец-то вам ничто не угрожает.

Повсюду на земле я вижу алчных, ненасытных, неутомимых людей, которые стремятся жить за счет того, кто встретится на их пути или попадет им под руку, и — чего бы это ни стоило другим — хотят заботиться лишь о себе, приумножать свое достояние и утопать в излишествах.

«Нажить состояние» — это такое сладостное выражение и смысл его так приятен, что оно у всех на устах. Оно встречается на всех языках, нравится иностранцам и варварам, царит при дворе и в столице, проникает сквозь монастырские стены и вторгается в мужские и женские обители. Нет такого святилища, куда бы оно не прокралось, нет такой пустыни, где бы оно не звучало.

Иной человек, заключая все новые сделки и пряча все больше денег в сундуки, приходит в конце концов к мысли, что он умен и даже способен отправлять высокие должности.

Чтобы составить себе состояние, в особенности большое, нужен ум особого склада: не сильный, не острый, не обширный, не возвышенный, не свободный, не тонкий; каким он должен быть — я не знаю и жду, чтобы кто-нибудь подсказал мне это.

Чтобы составить себе состояние, нужен не столько ум, сколько опыт и привычка к такому занятию. Люди поздно берутся за это дело и, приступив к нему, обычно начинают с ошибок, исправить которые им уже недосуг; может быть, именно поэтому большие состояния и встречаются так редко.

Возмечтав выбиться в люди, человек небольшого ума забывает обо всем. С утра до ночи он только и думает, во сне только и видит, как бы ему возвыситься. С ранних пор, с самой юности он гонится за удачей. Если он натывается на стену, преграждающую ему путь, он просто обходит ее слева или справа, смотря по тому, где видит просвет и лазейку; если его останавливают новые препятствия, он возвращается на покинутую дорогу. Сообразуясь с характером препятствий, он то преодолевает их, то уклоняется в сторону, то принимает еще какие-нибудь меры в соответствии со своей выгодой, своими привычками и обстоятельствами. Так ли уж много таланта и находчивости требуется путнику, чтобы следовать сначала по большой дороге, затем, если она до отказа забита проезжими, двинуться прямо через поля, потом опять обратиться на нее и, продолжая свой путь, прибыть наконец на место? Так ли уж много ума нужно и нашему честолюбцу для достижения своей цели? Разве глупец, стяжавший богатство и всеобщее уважение, — такая уж редкость?

Бывают недоумки и, дерзну сказать, даже круглые дураки, которым удается занять важную должность и жить до конца дней своих, утопая в изобилии, хотя никому и в голову не приходит утверждать, что они добились этого трудом или предприимчивостью. Кто-нибудь — чаще всего просто случай — подвел их к источнику и сказал: «Хотите воды? Зачерпните». И они зачерпнули.

В молодости человек обычно беден: он еще не успел ничего нажить, ему еще не досталось наследство. Богатея, он в то же время стареет, ибо людям редко даются все блага сразу, а если кому-нибудь и даются, так ему не стоит завидовать: умирая, он теряет столько, что его нельзя не пожалеть.

Лет в тридцать мы впервые задумываемся о том, как бы составить себе состояние; к пятидесяти оно еще не составлено. Под старость мы начинаем строиться и умираем, прежде чем маляры и стекольщики закончат отделку.

Зачем нам богатство, как не затем, чтобы пользоваться плодами честолюбивых помыслов, усилий, трудов и затрат тех людей, которые пришли в мир до нас, и самим трудиться, сеять, строить и приобретать для потомков?

Каждое утро мы раскрываем глаза, как купец — ставни своей лавки, и выставляем себя напоказ, чтобы обманывать ближнего; а вечером снова закрываем их, потратив целый день на обман.

Стремясь сбыть с рук самое лежалое, купец показывает товар лицом: он наводит на него лоск и подновляет его, чтобы придать ему свежий вид и скрыть изъяны; расхваливает, чтобы продать дороже настоящей цены; ставит фальшивые и таинственные клейма, чтобы все думали, будто платят настоящую цену; мерит незаконной мерой, чтобы отпускать меньше чем следует. Зато в лавке стоят монетные весы, чтобы покупатель платил полновесным золотом.

Бедный человек любого звания почти всегда порядочен, богатый — склонен к мошенничеству: чтобы разбогатеть, мало быть ловким и предприимчивым.

В любом деле — как в ремесле, так и в торговле — можно разбогатеть, притворяясь честным человеком.

Кратчайший и вернейший способ составить себе состояние — это дать людям понять, что им выгодно делать вам добро.

Люди, подгоняемые нуждой, а иногда алчностью или честолюбием, развивают в себе способности к грешным мирским делам, избирают сомнительные занятия и долго не желают замечать, какими опасностями чревато их поведение. Позже они отказываются от этих занятий из благоразумия и смирения — но лишь после того, как жатва собрана и состояние упрочено.

Глянешь на иных бедняков, и сердце сжимается: многим нечего есть, они боятся зимы, страшатся жизни. В это же время другие лакомятся свежими фруктами: чтобы угодить их избалованному вкусу, землю заставляют родить круглый год. Простые горожане, только потому что они богаты, позволяют себе проедать за один присест столько, сколько нужно на пропитание сотне семейств. Пусть кто хочет возвышает голос против таких крайностей, я же по мере сил избегаю как бедности, так и богатства и нахожу себе прибежище в золотой середине.

Известно, что бедняки пеняют на свою нищету и на то, что никто не хочет ее облегчить. Богачи тоже порою бывают недовольны: они не выносят, когда им недостает хотя бы самой малости или когда им в чем-либо перечат.

Богат тот, кто получает больше, чем тратит; беден тот, чьи траты превышают доходы.

Можно иметь два миллиона дохода и при этом каждый год нуждаться в пятистах тысячах ливров.

Долговечнее всего скромный достаток: ничто так быстро не иссякает, как большое состояние.

От богатства до бедности один шаг.

Говорят, что богаты мы лишь тогда, когда ни к чему не вождедем; если так, значит самый богатый человек на свете — это мудрец.

Говорят, что бедны мы лишь тем, на что заримся; если так, значит честолюбец и скупец прозябают в страшной нищете.

50

Все страсти тиранят человека, но честолюбие затмевает остальные и на время даже наделяет его видимостью всех добродетелей. Трифон страдает всеми пороками, а я считал его воздержимым, целомудренным, щедрым, смиренным и даже благочестивым; я и поныне верил бы в это, не наживи он состояния.

51

Желание разбогатеть и возвеличиться никогда не оставляет человека: желчь уже разливается, подходит конец, на лице у бедняги печать смерти, ноги не держат его, а он все еще твердит: «Мое богатство, мое положение...»

52

Человек может возвыситься лишь двумя путями — с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости.

53

Черты лица выдают наш характер и нрав, а выражение говорит о благах, которыми нас наделила судьба, — оно свидетельствует о том, сколько у нас тысяч ливров дохода.

54

Хрисанф, человек богатый и спесивый, не желает показываться на людях вместе с Евгением, человеком достойным, но бедным: он думает, что это его унизит. Евгений боится того же. Им не грозит встреча.

55

Видя, как иные люди, некогда спешившие оказать мне знаки внимания, теперь считаются со мною чинами и не желают здороваться первыми, я говорю себе: «Вот и

хорошо! Я очень рад — тем лучше для них: значит, дом, утварь, стол у этих людей стали богаче, чем раньше; они, наверно, несколько месяцев тому назад вошли в выгодное дело и уже получили немалые барыши. Дай им бог поскорее восчувствовать ко мне презрение!»

56

Каким гонениям подверглись бы мысли, книги и авторы их, если бы они зависели от богачей и вообще от всех, кто составил себе изрядное состояние! На этих людей не было бы управы. Какую власть взяли бы они над ученым, как презрительно говорили бы с ним! С каким величавым видом взирали бы они на этого жалкого человека, которому заслуги не принесли ни места, ни богатства и который тем не менее продолжает и мыслить здраво и писать разумно! Нельзя не признать, что настоящее — за богачами; зато будущее — удел добродетели и таланта. Гомер был, есть и пребудет всегда, а мытарей-откупщиков уже нет. Кто помнит о них? Кому известны их имена, их родина? Да и кто знает, существовали ли они в Греции? Что стало с теми спесивцами, которые презирали Гомера, избегали показываться с ним вместе на площади, не отвечали на его поклон или грубо окликали по имени при встрече, не удостоивали приглашения к столу и смотрели на него свысока, как смотрят на всякого бедняка-сочинителя? Что ждет после смерти разных Фоконне? Будут ли они жить в веках так же долго, как Декарт, который родился французом, а умер в Швеции?

57

Высокомерие — вот единственная причина того, что мы так дерзко заносимся перед низшими и так постыдно пресмыкаемся перед высшими. Этот порок, порожденный не личными заслугами и добродетелями, а богатством, высоким положением, влиятельностью и ложной ученостью, равно внушает нам и презрение к тем, у кого меньше этих благ, чем у нас, и чрезмерное почтение к тем, у кого их больше.

Бывают низкие души, вылепленные из грязи и нечистот, любящие корысть и наживу так же сильно, как души высокие любят славу и добродетель. Их единственная отрада — все приобретать и ничего не терять; им интересно и важно только одно — поместить деньги из десяти годовых; они постоянно заняты мыслью о своих должниках, вечно боятся понижения пробы или веса монеты, всегда погружены в контракты, векселя и прочие документы. Их не назовешь ни отцами, ни гражданами, ни друзьями, ни христианами. Они, пожалуй, даже не люди. Зато у них есть деньги.

Сделаем сперва исключение для тех людей бестрепетной и благородной души — если они еще встречаются на свете, — которые всегда готовы помочь ближнему и облагодетельствовать его на тысячу ладов, которых никакая нужда, никакой успех, никакие уловки не отвратят от тех, кому они однажды отдали свою дружбу, и, после этой оговорки, смело выскажем горькую и печальную мысль: нет в мире человека, который был бы связан с вами узами знакомства и доброжелательства, любил вас, находил удовольствие в вашем обществе, тысячу раз предлагал вам свои услуги, а иногда и оказывал их и который не был бы готов порвать с вами и стать вашим врагом ради своей выгоды.

Оронт из года в год приумножает свой капитал и доходы. Тем временем в некоем семействе рождается девочка, растет, воспитывается, хорошеет, достигает наконец пятнадцати лет, и вот его уговаривают жениться на ней — молодой, красивой, умной. Ему уже пятьдесят, он низкого происхождения, глуп, не отличается никакими достоинствами и тем не менее предпочтен всем своим соперникам.

Нередко брак, который должен служить человеку залогом земного счастья, становится для него из-за бедности изнурительным и тяжким бременем. Тогда жена и

дети превращаются в источник соблазна, невольно толкая его на мошенничество, ложь и поиски незаконных доходов. Он как бы на распутье между плутовством и нищетой. Нелегкий выбор!

В устах настоящего француза слова «жениться на вдове» означают «составить себе состояние»; однако частенько слова эти оказываются ловушкой.

62

Тот, кто при разделе наследства с братьями получил достаточно, чтобы стать адвокатом и жить, не зная тревог, жаждет сделаться судьей; судья метит в советники, а советник — в президенты парламента. То же происходит с людьми любого звания: сперва они тщетно пытаются возвыситься, взяв, так сказать, судьбу за горло, а потом томятся в скудости и стесненных обстоятельствах. Они не в силах ни отказаться от мечты о богатстве, ни удержать его.

63

Обедай плотней, Клеарх, ужинай по вечерам, не жалей дров, купи себе плащ, обей спальню: ты не любишь своего наследника, не хочешь с ним знаться — стало быть, у тебя его нет.

64

В молодости человек копит себе на старость, а состарившись, откладывает на похороны. Расточительный наследник оплачивает пышное погребение и проматывает остальное.

65

Скупец после смерти тратит за один день больше, чем проживал в десять лет; наследник же его расточает за десять месяцев столько, сколько покойный не израсходовал за всю жизнь.

66

То, что человек проматывает, он отнимает у своего наследника, а то, что скаречно копит, — у самого себя. Кто хочет быть справедливым к себе и другим, тот держится середины.

Не будь дети в то же время и наследниками, они, вероятно, больше дорожили бы родителями, а родители — ими.

Участь человека так безотраднa, что может отбить охоту к жизни! Сколькo приходится ему потеть, недосыпать, кланяться и унижаться перед другими, прежде чем он составит себе скромное состояние или получит его благодаря смерти близких! Кто не позволяет себе мечтать, чтобы его отец поскорее расстался с этим миром, тот уже порядочный человек.

Тот, кто надеется на наследство, всегда угодлив по характеру: пока мы живы, никто так усердно не льстит, не повинуетя, не подпевает и не услуживает нам, никто так рьяно не заботится, не беспокоится и не печется о нас, как человек, который надеется выиграть от нашей смерти и с нетерпением ее ожидает.

Каждый считает себя наследником должностей, титулов и достояния своего ближнего и, движимый этой корыстной мыслью, всю жизнь невольнo и тайно желает другому смерти. В любом звании самый счастливый человек тот, кому в час кончины предстоит утратить больше других и больше других оставить наследнику.

Говорят, что игра равняет всех, но иногда положение партнеров в обществе столь несоизмеримо, между ними лежит столь огромная и безмерная пропасть, что подобное сближение крайностей режет глаз: это все равно что нестройная музыка, или плохо подобранные краски, или бессвязные и раздражающие ухо слова, или скрежещущие звуки, от которых вас передергивает; короче говоря, это откровенное нарушение благопристойности.

Если мне возразят, что так делается всюду на Западе, я отвечу следующим образом: это, как видно, один из тех обычаев, за которые в другой части света нас почитают варварами; возможно, восточные путешественники, приезжая к нам, отмечают этот обычай на своих памятных табличках. Не сомневаюсь даже, что подобная фамильярность вызывает у них не меньшее отвращение, чем у нас их зомбайя<sup>1</sup> и другие унижительные церемонии.

72

Заседание штатов или парламента, созванное для обсуждения дел государственной важности, не являет взору зрелища серьезнее и торжественнее, чем собрание игроков, восседающих за столом, где идет игра по большой: лица их мрачны и строги; непримиримые и безжалостные враги до конца партии, они не считаются ни с дружбой, ни со связями, ни со знатностью, ни с положением; только случай, это слепое и жестокое божество, самовластно правит и распоряжается ими. Они воздают ему дань почтения таким глубоким молчанием и такой сосредоточенностью, на которые отнюдь не способны в другое время. Все их страсти безмолвно отступают перед одной; царедворец — и тот забывает привычную вкрадчивость, лесть, угодливость и даже ханжество.

73

Тот, кого возвысила удача в игре, начисто забывает о своем звании: он не желает знаться с равными себе и льнет только к вельможам. Правда, при игре в кости или в ландскнехт счастье переменчиво: оно нередко возвращает такого человека в прежнее положение.

74

Я не удивляюсь тому, что существуют игорные дома, эти ловушки для людской алчности, эти пропасти, куда проваливаются и где безвозвратно исчезают богатства частных лиц, эти страшные подводные камни, о которые

---

<sup>1</sup> См. «Обычай королевства Сиамского». (Прим. автора.)

на смерть разбиваются игроки; я не удивляюсь и тому, что из этих мест во все стороны мчатся эмиссары, всегда умеющие вовремя выведать, кто вернулся из плавания, захватив новый приз и разжившись деньгами, кто выиграл тяжбу и взыскал немалую сумму, кому поднесли дар, кому достался крупный выигрыш, кто из отпрысков знатных родителей получил недавно богатое наследство, кто из приказчиков неосторожно собрался поставить на карту наличность своей кассы. Конечно, ремесло это — грязное, недостойное, основанное на обмане, но оно существует издавна, о нем все знают, им во все времена занимались люди, которых я называю шулерами и у которых только что не висит над дверью вывеска, гласящая: «Здесь честно обманывают». Да и зачем им выдавать себя за порядочных? Кому же не известно, что посещение игорного дома равнозначно проигрышу? Меня удивляет другое: откуда берется столько простаков, которые так охотно служат этим людям источником средств к существованию?

75

Игра разоряет тысячи людей, которые невозмутимо уверяют при этом, что не могут без нее жить. Хорошо оправдание! Тот же довод можно привести в защиту любой, самой неистовой и постыдной страсти; но разве кто-нибудь скажет, что он не в силах жить без воровства, убийств и прочих злодеяний? Неужели мы должны примириться с этой страшной, непрерывной, безудержной, безоглядной забавой, которая преследует лишь одну цель — полное разорение партнера, ослепляет человека надеждой на выигрыш, приводит его в иступление при проигрыше, отравляет жадностью, вынуждает ради одной ставки в карты или кости рисковать своим состоянием и судьбою жены и детей? Неужели так тяжело воздержаться от нее? Разве не тяжелее приходится нам в тех случаях, когда, доведенные игрою до полного разорения, мы вынуждены обходиться даже без платья и пищи и обрекать на такую же участь свою семью?

Я не мирюсь с шулерами, но мирюсь с тем, что шулер играет по крупной. Порядочному человеку я этого не прощаю: рисковать большим проигрышем — слишком опасное мальчишество.

Есть только одно непреходящее несчастье — потеря того, чем владел. Время, смягчающее все остальные горести, лишь обостряет эту: мы до самой смерти ежеминутно чувствуем, как недостает нам того, что мы утратили.

С человеком, который не тратит свое состояние на то, чтобы выдавать дочерей замуж, платить по счетам и заключать контракты, приятно иметь дело лишь в том случае, если он не приходится вам ни мужем, ни отцом.

О Зенобия, ни смута, потрясающая твое царство, ни война с могущественным народом, которую ты мужественно продолжаешь вести и после смерти твоего супруга, не умалили твоей любви к пышности. Ты решила построить себе величественный дворец и для этой цели избрала берега Евфрата, отдав этому краю предпочтение перед другими подвластными тебе областями. Воздух там здоровый и прохладный, местность красивая, с запада ее прикрывает от зноя священная роща. Боги твоей Сирии, обитающие порой на земле, — и те не выбрали бы себе лучшего жилища. Окрестности кишат людьми, которые обтесывают камень и валят деревья, приходят и уходят, подкатывают и подвозят ливанский лес, бронзу и порфир. Воздух оглашен скрипом блоков и машин, и, слыша его, купцы, проезжающие мимо по дороге в Аравию, надеются, что когда они вернуться к родным очагам, здание будет уже окончено и предстанет в том блеске, который ты хочешь ему придать, прежде чем поселиться в нем с царевичами — твоими детьми. Не жалея ничего — ни золота, ни труда отменнейших мастеров, великая царица; пусть Фидии и Зевксисы твоего века проявят свое искусство, отделявая потолки и стены; разбей вокруг такие обширные и восхитительные сады, чтобы они казались делом рук не человека, а волшебника; истощи свою казну и свою фантазию на это несравненное сооружение. Но когда оно

будет окончено, Зенобия, какой-нибудь пастух, живущий в песках по соседству с Пальмирой и разбогатевший на сборе пошлины за перевоз через твои реки, купит этот царственный дворец за наличные деньги и примется его украшать, дабы он стал достоин своего удачливого владельца.

79

Вы очарованы этим дворцом, его убранством, садами, прелестными фонтанами. Увидев в первый раз это изумительное здание, вы без устали восторгаетесь им и беспримерным счастьем его владельца. Но того уже нет, ему не удалось насладиться зрелищем так же беспрепятственно и спокойно, как вам: он не знал ни одного безмятежного дня, ни одной мирной ночи; чтобы выстроить этот прекрасный дворец, который восхищает вас, он запутался в долгах, и кредиторы выселили его; уходя, он обернулся, в последний раз издали взглянул на свой дом и скончался от потрясения.

80

Глядя на иные семьи, мы невольно думаем о том, что принято называть игрою случая или прихотью судьбы. Сто лет назад о них никто не знал, их не было. Внезапно небо взыскивает их своей милостью, на них дождем сыплются почести, богатства, титулы, и вот они уже наверху благополучия. У Эвмолпа не было прадедов, но зато был отец, который поднялся так высоко, что его сын всю свою долгую жизнь желал одного — сравняться с родителем, в чем и преуспел. Где причина возвышения этих людей? В глубоком уме, выдающихся талантах или в удачном стечении обстоятельств? Но счастье уже перестало им улыбаться: оно нашло себе иных любимцев, а с потомками Эвмолпа обходится так же, как с его предками.

81

Прямая причина упадка и оскудения людей обоих званий — как судейского, так и военного — состоит в том, что свои расходы они соразмеряют не с доходами, а со своим положением.

Если вы, стремясь возвыситься, ничем не пренебрегли, это стоило вам тяжелого труда; если вы при этом упустили из виду хотя бы самую ничтожную мелочь, это стоило вам тяжелого раскаяния.

У Гитона цветущий вид, свежее лицо, толстые щеки, пристальный и самоуверенный взгляд, широкие плечи, большой живот, твердая и решительная походка; выражается он без обиняков, заставляет собеседника повторять сказанное и не очень вслушивается в то, что ему говорят; он шумно сморкается в большой носовой платок, плюет далеко и чихает громко; он спит ночью, спит днем, причем глубоким сном, и похрапывает в обществе. За столом и на прогулке он всегда занимает больше места, чем другие; прогуливаясь в компании тех, кто ему ровня, он всегда идет в середине; он останавливается — и все останавливаются; он снова пускается в путь — и все следуют за ним, сообразуя с ним свои поступки; он прерывает и поправляет своих собеседников, его же не прерывают и слушают, пока он не устанет, соглашаются с его мнением и верят тому, что он рассказывает. Усаживаясь, он глубоко погружается в кресло, кладет ногу на ногу, хмурит брови, надвигает шляпу на лоб, чтобы никого не видеть или, напротив, с надменным и дерзким видом обнажает голову. Он весел, насмешлив, нетерпелив, заносчив, вспыльчив, распутен, хитер, скрытен в делах и воображает, будто умен и талантлив. Он богат.

У Федона запавшие глаза, тощее тело и худое, всегда воспаленное лицо; спит он мало и беспокойно; вид у него отсутствующий, рассеянный и потому глупый, хотя он умен; он вечно забывает рассказать то, что ему известно, или то, чему был свидетелем, а если и рассказывает, то плохо — боится наскучить собеседнику, старается быть кратким и становится скучным, не умеет ни привлечь к себе внимание, ни рассмешить; он рукоплещет и улыбается тому, что говорят другие, соглашается с ними, сломя голову бегаем по их поручениям; он угодлив, льстив, подобострастен, скрытен в делах, иногда лжив: он суеверен, обаятелен, робок, ходит неслышно и осторожно, словно боится наступить на землю, потупляет глаза и не смеет поднять

их на прохожих; он никогда не присоединяется к кругу беседующих, а встает за спиной говорящего, украдкой прислушивается к тому, что говорят, и уходит, если на него обратили внимание; он как бы вовсе не занимает места и поэтому не мешает соседям; на мостовой он втягивает голову в плечи, надвигает шляпу на лоб, чтобы его не увидели, закутывается в плащ и весь съеживается: какая бы давка ни была на улице или в крытом проходе, он всегда умеет пройти, не толкаясь, и проскользнуть незамеченным; когда ему предлагают стул, он садится на самый краешек; на людях он говорит тихо и невнятно, хотя о государственных делах высказывается довольно смело, осуждает нынешний век, не слишком жалуется министрам и весь кабинет. Рот он открывает не прежде, чем к нему обратятся; кашляя и сморкаясь, прикрывает лицо шляпой, плюет чуть ли не себе на ноги, чихает, только отойдя в сторону, или, если уж иначе нельзя, незаметно для окружающих; с ним не здороваются, ему не говорят любезностей. Он беден.

## Глава VII

### О СТОЛИЦЕ

#### 1

Каждый вечер в один и тот же час жители Парижа стекаются в аллею Королевы или в Тюильри, словно молчаливо назначили там друг другу свидание: они приходят на всех посмотреть и всех осудить. Они не любят людей, которых там встречают, насмеваются над ними, но обойтись без них не могут.

Гуляя в парке, они производят друг другу смотр: кареты, лошади, ливрейные лакеи, гербы — ничто не ускользает от их любопытства или недоброжелательства; к такому-то они проникаются уважением, такого-то начинают презирать, — все зависит от роскоши выезда.

#### 2

Все мы знаем длинную насыпь, которая ограничивает и окаймляет русло Сены с той стороны, где, приняв в себя Марну, она подходит к Парижу. В летний зной под этой насыпью купаются мужчины; сверху отлично видно, как они входят в воду и вылезают из нее; из этого устроили превеселое зрелище. Пока не наступила пора купания, женщины там не гуляют; как только эта пора проходит, они перестают там гулять.

#### 3

Женщины спешат в это людное место не для задушевных бесед друг с дружкой, а из желания щегольнуть красотой и роскошью наряда: они держатся вместе, чтобы

чувствовать себя увереннее на этих, так сказать, подмостках, не робеть перед публикой и дать достойный отпор критиканам; поэтому они разговаривают, ни к кому не обращаясь, вернее — обращаясь к прохожим, к тем, ради кого они все время повышают голос, размахивают руками, шутят, небрежно отвечают на поклоны, проходят и возвращаются.

4

Столичное общество делится на кружки, подобные маленьким государствам: у них свои законы, обычаи, жаргон, привычные шутки. Пока такой кружок находится в расцвете, члены его упорно держатся друг за друга, восхищаясь всем, что делают и говорят они сами, и находя заурядным все, что делают посторонние; более того — они презирают людей, не посвященных в тайны их содружества. Всякого, кто случайно попадает в их среду — будь то умнейший человек на свете, — они встречают как непрошеного гостя. Ему начинает казаться, что он приехал в чужую страну, где все ему незнакомо: проезжие дороги, язык, нравы, образ жизни. Он видит людей, которые болтают, шумят, шепчутся, покатываются со смеху, а потом вдруг погружаются в унылое молчание; он теряется, не знает, как принять участие в общей беседе, ничего в ней не понимает. В кружке всегда главенствует какой-нибудь глупый шутник, которому все остальные смотрят в рот, ибо считается, что он увеселяет общество: поэтому стоит ему сказать слово, как все уже покатываются со смеха. Если среди членов кружка появляется женщина, до сих пор не принимавшая участия в их развлечениях, они не могут взять в толк, почему она не смеется шуткам, ей непонятным, и равнодушна к нелепостям, которые лишь потому кажутся им остроумными, что они сами их придумали. Им все неприятно в этой женщине — и голос, и молчание, и фигура, и лицо, и наряд, и то, как она вошла, и то, как она вышла. Но век подобной котерии недолог — от силы два года. С самого начала в ней уже зреют семена раздора, через год они дают пышные всходы. Соперничество красавиц, ссоры за картами, излишества стола, вначале скромного, а затем все более обильного, роскошь празднеств подтачивают такую республику и наконец наносят ей смертельный удар. Вскоре об этом народе вспоминают как о прошлогоднем снеге.

Судейское сословие в столице делится на судейскую знать и мелкую сошку. Первые вымещают на вторых обиды, которые наносит их самолюбию презрительное высокомерие двора. Не так-то легко отличить их друг от друга, разобраться, где кончаются сановники и начинается мелюзга. Например, некая довольно многочисленная корпорация утверждает, что члены ее принадлежат к первым; хотя это право ожесточенно оспаривают у них, они не только не сдаются, но, напротив, важностью осанки и жизнью на широкую ногу стараются если не сравняться с советниками парламента, то хотя бы не очень от них отставать. Они утверждают, что благородство их ремесла, независимость положения, дар красноречия и личные достоинства стоят не меньше, чем мешки с золотом, отданные откупщиками и банкирами в уплату за должности, которые занимают их сынки.

Как! Вы собираетесь думать в карете? Может быть, даже мечтать? Да вы шутите! Живо берите книгу или бумаги, углубитесь в них, еле отвечайте на поклоны людей, которые проезжают мимо вас в экипажах; они вообразят, что вы действительно завалены делами, и скажут: «Как он трудолюбив и неутомим! Он читает и работает даже на улицах, даже по дороге в Венсен!» Спросите у любого адвокатишки — и он объяснит вам, что нужно всегда казаться страшно занятым, хмуриться, делать глубокомысленный вид, своевременно терять сон и аппетит, вернувшись домой, немедленно исчезать, растворяться, подобно привидению, во мраке своего кабинета, прятаться от людей, не появляться в театре, предоставляя это развлечение тем, кто уже не боится за свое доброе имя, кто действительно занят по горло, — всяким Гомонам и Дюамелям.

Иные из молодых советников парламента, богатые ветрогоны, вступают в дружеские отношения с теми, кого при дворе называют *петиметрами*; они подражают им и презрительно относятся к своим вечно серьезным собратьям

по ремеслу, убежденные, что возраст и богатство избавляют их от необходимости быть разумными и умеренными. Они заимствуют у придворных только их дурные свойства: тщеславие, изнеженность, невоздержность, вольномыслие, словно эти пороки обязательны для вельможи. Таким образом, присвоив себе характер, противоположный тому, который соответствует их положению, они по доброй воле становятся точными копиями отвратительных оригиналов.

8

Судейский в городе и тот же судейский при дворе — два разных человека. Вернувшись из дворца, он обретает оставленные дома повадки, осанку, облик: он уже не так искателен и не так учтив.

9

Криспены всем семейством собирают в складчину шестерку лошадей, чтобы удлинить свой цуг, и с кучей ливрейных лакеев, собранных опять-таки в складчину, отправляются в карете в аллею Королевы или на Венсенскую дорогу, где одерживают блестящую победу, сравнявшись в роскоши выезда с новобрачными, с Ясоном, который стоит на краю разорения, и Трасоном, который задумав жениться, уже купил патент.<sup>1</sup>

10

Мне говорили, что у всех Саньонов одинаковое имя и одинаковый герб, но так как в этом семействе три ветви — старшая, младшая и младшая от младшей, — то у первой герб полный, у второй — составной с гербовой связкой, у третьей — составной с зубчатым бордюром; в их гербе тот же фон, что у Бурбонов, то же золото и серебро, те же две и одна... правда, не лилии, но это не смущает Саньонов: быть может, в тайниках сердца они считают, что их герб все-таки не хуже, чем у Бурбонов... Во всяком случае, такие же гербы у многих важных вельмож, и те вполне ими довольны. Саньоны украшают гербами траурные полотнища, витражи, двери своих замков и даже позорный

---

<sup>1</sup> Заплатил в казну деньги за важную должность. (Прим. автора.)

столб, на котором, отправляя правосудие, они не так давно приказали повесить человека, заслуживавшего разве что изгнания. Гербы у них повсюду — на мебели, на дверных замках, ну, а кареты — те просто усеяны гербами. Их ливрейные лакеи под стать гербам. Мне хочется сказать Саньонам: «Вы начали делать глупости слишком рано: дайте вашему роду просуществовать хотя бы один век. Люди, которые знали вашего деда и разговаривали с ним, уже стары, они скоро умрут, и тогда никто уже не сможет сказать: „Вот тут он раскладывал свой товар и заламывал бешеные цены“».

Саньоны и Криспены очень не любят мотать деньги, зато очень любят, когда их обвиняют в мотовстве. Они длинно и нудно рассказывают о празднестве, которое недавно устроили, или о званом обеде, сообщают, сколько просадили в карты, и всем жалуются на мнимый проигрыш. О женщинах определенного сорта они говорят условными, таинственными словечками: *им нужно рассказать друг другу тысячу пикантных подробностей, они недавно сделали потрясающие открытия...* Каждый старается прослыть у остальных неотразимым волокитой. Один из них как-то поздно засиделся в своем загородном замке и очень хотел подольше поспать; тем не менее он встал чуть свет, надел гетры, полотняный костюм, перекинул через плечо пороховницу на шнурке, подвязал волосы, запасся ружьем — ни дать ни взять заправский охотник. Если бы к тому же он еще умел стрелять! Возвратился он уже на ночь глядя, насквозь промокший, еле живой от усталости, ничего не подстрелив; на следующее утро он опять отправился на охоту и весь день мазал по куропаткам и дроздам.

Другой, который завел себе нескольких дворняг, всюду твердит: «Моя свора!..» Он знает место, где сходятся охотники, является туда, стоит, пока спускают собак, залезает в самую чашу, болтается под ногами у доезжачих, трубит в рог. Он не спрашивает себя, как Меналипп: «Пришлась ли мне охота по вкусу?» — но твердо верит, что пришлась. Ему уже не до законов и параграфов, он истый Ипполит! Менаандр только вчера беседовал с ним по поводу какой-то тяжбы, но сегодня он не узнал бы своего докладчика. Посмотрите на него, когда на следующий день после охоты он приходит в зал судебных заседаний, где предстоит разбирательство серьезного преступления, которое карается

смертной казнью: он стоит, окруженный своими собратями по ремеслу, и рассказывает им, что только благодаря ему свора не упустила оленя, что он надорвал себе глотку, стараясь направить своих собак по верному следу и сбить чужих с ложного следа, что шесть собак взяли зверя... Пора начинать заседание: поспешно досказывая на ходу, как оленя все же удалось затравить и как потом кормили собак, он вместе с другими садится за стол и приступает к разбору дела.

11

Поистине печально заблуждение тех людей, которые, получив наследство от своих отцов, разбогатевших на торговле, подражают в пышности нарядов и выездов принцам крови, хотят удивить столицу бессмысленными тратами и нелепой роскошью, делаются предметом издевательств и острот и разоряются ради того, чтобы стать всеобщим посмешищем.

У других нет даже этого жалкого утешения: молва об их безумствах не выходит за пределы одного квартала — это единственные подмости, где может блистать их тщеславие. На острове Сен-Луи никто и понятия не имеет о том, что Андре знаменит в Маре и что он пускает там по ветру отцовское наследство; а ведь если бы его знали во всей столице и ее предместьях, где живет так много людей, и притом отнюдь не всегда здравомыслящих, непременно нашелся бы человек, который воскликнул бы: «Андре великолепен!» — и рассказал бы, как Андре угощает Ксанта и Аристана и как чествует Эламиру. Увы! Андре мотает свое состояние, но это мало кому известно. Он обрекает себя на нищету ради нескольких человек, не питающих к нему уважения; сегодня он разъезжает в карете, а через полгода ему не в чем будет выйти на улицу.

12

Нарцисс утром встает с постели, а вечером ложится в нее; в определенные часы он, как женщина, занимается туалетом и каждый день неукоснительно слушает торжественную мессу у фельянов или францисканцев; он человек приятного обхождения, поэтому обитатели квартала \*\*\* рассчитывают на него в качестве третьего или пятого партнера для игры в ломбер или реверси: ежевечерне он битых

четыре часа проводит у Арисии, рискуя всякий раз пятью золотыми пистоллями; он аккуратно читает «Голландскую газету» и «Галантного Меркурия», почитывал когда-то Бержерака,<sup>1</sup> Демаре,<sup>2</sup> Леклаша, книжонки из лавки Барбена и сборники виршей; он сопровождает дам на прогулках в Саблонском парке или по аллее Королевы и с педантичной точностью отдает визиты. Завтра он будет делать то, что делает сегодня, что делал вчера, и, прожив так жизнь, умрет.

13

«Этого человека я где-то видел, — говорите вы. — Где именно, не помню, но его лицо мне хорошо знакомо». Оно знакомо и многим другим; постараюсь прийти на помощь вашей памяти. Быть может, он встречался вам на бульваре, когда проезжал мимо, сидя на откидной скамеечке в чьей-нибудь карете? Или в Тюильри на главной аллее? Или на балконе в комедии? Или на проповеди, на балу, в саду Рамбуйе? Легче сказать, где он вам не встречался, где он не бывает. Если на площади казнят знаменитого преступника или жгут потешные огни — он выглядывает из окна ратуши; если в столицу торжественно въезжает именитая особа — стоит на помосте; если устраивают конные состязания — занимает место в амфитеатре; если король принимает посольство какой-нибудь державы — смотрит на шествие, присутствует при аудиенции, наблюдает из толпы за возвращением послов. Во время церемонии клятвенного подтверждения союза Франции со Швейцарскими лигами присутствие его не менее обязательно, чем присутствие канцлера или даже представителей самих лиг. Это его лицо мы видим на всех гравюрах, где изображены народ или зрители. Предстоит ли королевская охота в праздник св. Юбера — он велит седлать ему коня; прошел ли слух о том, что войска стали лагерем под городом и назначен смотр — он мчится в Уй или в Ашер; он обожает армию, солдат, войну: еще бы, он бывал в форту Бернарди! У каждого есть свое дело: Шанле занимается передвижением войск, Жакье — провиантом, дю Мец — артиллерией, а наш знакомец — глазеет; он состарился в строю зевак, он зритель по ремеслу, он не делает ничего толкового, не

<sup>1</sup> Сирано. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Сен-Сорлена. (Прим. автора.)

знает ничего полезного, зато, по его собственным словам, он видел все, что дано увидеть человеку, и теперь может спокойно умереть. Но какая это будет потеря для столицы! Кто после его смерти сообщит нам: «Аллея Королевы закрыта для гуляний, а свалка нечистот в Венсенне осушена, засыпана и туда запрещено лить помой»? Кто объявит о концерте, о торжественной вечерней службе, о ярмарочных чудесах? Кто принесет весть о том, что Бомавель вчера умер, а Рошуа простужена и неделю не будет петь? Кто будет помнить как свои пять пальцев гербы всех откупщиков? Кто скажет: «В гербе у Скапена цветы лилии»? И для кого это будет так важно? Кто с такой серьезностью и тщеславием произнесет имя жены какого-нибудь обыкновенного горожанина? Кто сохранит в памяти столько куплетов из водевилей? Кто станет доставлять женщинам «Ежегодник нежных душ» и «Листок влюбленных»? Кто споет за обедом целый дуэт из оперы, а в гостиной у дамы — арию неистового Роланда? Наконец, кто еще так придется по вкусу тем, кого немало в столице — глупцам, бездарностям, бездельникам и шалопаям?

#### 14

Терамен был богат и достоин; потом он унаследовал большое состояние, следовательно, стал еще богаче и достойнее: все дамы и девушки бегают за ним, чтобы заполучить его в поклонники или в женишки. Он ходит с визитами из дома в дом, и каждая мать семейства надеется, что он возьмет в жены именно ее дочь: стоит ему сесть, как она уже удаляется, чтобы дать возможность девице проявить на свободе свое очарование, а гостю — сделать предложение. Здесь он соперничает с президентом парламента, там оттесняет кавалера или простого дворянина. Самого цветущего, живого, веселого и остроумного юношу не ждут с таким пылом и не принимают с таким радушием, как Терамена: его прямо душат в объятиях, а того, кто пришел вместе с ним, едва достаивают улыбкой. Сколько влюбленных потерпят из-за него крушение! Сколько удачных браков не состоится! Да и то сказать: разве может он один жениться на всех нежно расположенных к нему наследницах? Он не только наводит страх на мужей, но и повергает в ужас всех, кто хочет вступить в брак, надеясь приданым жены восполнить брешь, проби-

тую покупкой должности. Таких богатых счастливицков следует изгонять из цивилизованных городов, а представительниц прекрасного пола нужно сажать в дома умалишенных или привязывать к позорному столбу, если они не научатся обходиться с Тераменом так, как обходились бы, обладай он одними лишь добродетелями.

15

Хотя Париж и обезьянничает, подражая двору, он не всегда умеет подделаться под него; например, ему не удается подражать любезному и ласковому обхождению, свойственному иным придворным, в особенности женщинам, когда они сталкиваются с человеком достойным — пусть даже у него нет ничего, кроме достоинств. Эти женщины не осведомляются у своего собеседника, на ком он женат и кто его предки: он принят при дворе — с них этого достаточно, они благоволят к нему, уважают его и не спрашивают, прибыл ли он в карете или пришел пешком, есть ли у него должности, поместье, экипаж; они так избалованы, богаты и знатны, что охотно отдыхают, болтая с философом или с добродетельным человеком. А горожанка, стоит ей слышать, что у ее дверей остановилась карета, начинает дрожать от восторженной нежности к гостю, кем бы он ни был; если к тому же она видит из окна красивую упряжь, множество ливрейных лакеев и глаза ей слепят несколько рядов раззолоченных блях на упряжи, — с каким трепетом ждет она появления в своей гостиной кавалера или советника! Как пылко его встречает! Еще бы: он приехал в карете на рессорах с двойной подвеской — как же ей не питать к нему особого почтения и горячей любви!

16

Тщеславие столичных жительниц с их подражанием придворным дамам еще противнее, чем грубость простолюдинок и неотесанность провинциалок: оно толкает их на жеманство.

17

Как это хитро придумано — делать великолепные свадебные подарки, которые ничего не стоят дарителю, но должны быть возвращены ему в звонкой монете!

Какое отличное и полезное обыкновение — просаживать на свадебные празднества треть приданого жены, начинать новую жизнь с пустых трат на бесчисленное множество ненужных вещей и закладывать поместье, чтобы расплатиться с Готье за обстаивку и наряды!

Как прекрасен и разумен наш обычай — забыв прстойность и целомудрие, дав полную волю бесстыдству, выставлять напоказ новобрачную, лежащую на кровати, словно на подмостках, делать из нее в течение нескольких дней всеобщее посмешище, забавлять ею людей обоего пола, званых и незваных, опрометью бегущих со всех концов столицы полюбоваться на этот спектакль! Если бы мы где-нибудь прочитали, что такой обычай существует в Мингрелии — мы непременно назвали бы его диким и бессмысленным!

Утомительна жизнь иных женщин, и тяжело бремя, которое они вынуждены нести: то и дело искать встречи друг с другом, хотя встречаться вовсе не хочется; бывать в гостях для того, чтобы поговорить о пустяках, рассказать то, что всем давно известно и не представляет интереса; входить в комнату, чтобы почти сразу же из нее выйти; уходить из дому после обеда, чтобы к вечеру вернуться в полном удовольствии оттого, что за каких-то пять часов удалось увидеть нескольких швейцаров и двух женщин, одну — малознакомую, другую — ненавистную... Кто знает цену времени, знает, как непоправима его потеря, тот обольется слезами, глядя на такое мотовство!

Горожане приучены с тупым равнодушием относиться ко всему, что связано с деревенской жизнью и сельскими занятиями. Лен они не отличают от конопли, рожь от пшеницы, то и другое — от мякины. Они сыты, одеты — остальное их не интересует. Не говорите с горожанами о земле под паром, подлеске, виноградных отводках, отаве —

они все равно вас не поймут, для них это какая-то тарбарщина. Заведите лучше речь с одними о мерах, тарифах, надбавке в су на ливр, с другими — об апелляциях, гражданских исках, частных определениях или о передаче дела в высшую инстанцию. Они знают общество, хотя отнюдь не с его лучшей или хотя бы самой привлекательной стороны, но им ничего не известно о природе, о ее пробуждении и расцвете, о ее дарах и щедротах. Это невежество, порой добровольное, зиждется на их преклонении перед своим ремеслом и своими талантами. Самый жалкий стряпчий, который сидит в унылой и прокопченной конторе, обдумывая очередное сомнительного свойства дело, задирает нос перед землепашцем, который трудится на вольном воздухе, обрабатывает землю, сеет зерно и собирает обильный урожай. Если рассказать этому крючкотвору о первых людях на земле, о патриархах, о их сельской жизни и труде под открытым небом, он выразит удивление, как это возможно было жить во времена, когда еще не существовало ни должностей, ни посредничества, ни президентов парламента и прокуроров: его ум не способен постигнуть, что некогда люди могли обходиться без канцелярий, залов судебных заседаний и буфетных при оных.

## 22

В Риме даже императорам не удавалось так легко, просто и надежно защититься от ветра, дождя, пыли и солнца, как это удается в Париже простым горожанам, которые развезжают по улицам в каретах; до чего непохожи эти горожане на своих предков, пользовавшихся только мулами! В старину люди еще не умели отказываться от насущного ради излишнего, предпочитать роскошь пользе. Они не жгли восковых свечей, но и не дрожали от холода у еле тлеющего очага: свечи горели только в храмах божьих и в Лувре; они не садились после дрянного обеда в карету: полагая, что ноги даны человеку, чтобы ходить, они пускали их в ход; в сухую погоду обувь их была чиста, а в дождь — покрыта грязью, ибо улицы и перекрестки они переходили так же смело, как охотник идет по вспаханному полю или солдат — по сырой траншее. В те времена еще никому не взбрело в голову, что в носилки можно запрячь двоих мужчин: советники — и те ходили пешком в суд или камеру парламента так же безропотно, как Август,

некогда ходил в Капитолий. На столах и на буфетах тускло поблескивала оловянная посуда, а для очагов был хорош и чугунок: золото и серебро были припрятаны в сундуки. Женщины брали в услужение — и даже на кухню — только женщин. Наши отцы отлично знали благородные имена воспитателей и воспитательниц, которым короли и принцы крови доверяли своих детей, тем не менее они не хотели поручать своих отпрысков слугам и ревнивым оком сами следили за их воспитанием. Они всегда жили по средствам, расходовали не больше, чем получали, соразмеряли все — ливрейных лакеев, экипажи, обстановку, яства, городские и загородные дома — со своим достатком и положением. Они отличались друг от друга и по внешнему виду: жену стряпчего никто не принял бы за супругу советника, а простолюдина или лакея — за дворянина. Занятые не столько приумножением или проматыванием имущества, сколько его сбережением, они в целости и сохранности оставляли свое состояние наследникам и, разумно прожив жизнь, мирно завершали земной путь. Они не твердили: «Наш век суров, нищета велика, денег не хватает». Этих денег у них было меньше, чем у нас, но по их нуждам достаточно, ибо они были богаты не столько доходами и поместьями, сколько предусмотрительностью и скромностью. Наконец, все понимали тогда истину, гласящую: что для вельможи блеск, роскошь, великолепие, то для человека простого — мотовство, безумие, глупость.

## Глава VIII

### О ДВОРЕ

#### 1

Сказать человеку, что он не знает двора, значит в некотором смысле сделать ему самый лестный для него упрек и признать за ним все добродетели, какие только существуют на свете.

#### 2

Человек, знающий двор, всегда владеет своим лицом, взглядом, жестами; он скрытен и непроницаем, умеет таить недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, прятать страсти, думать одно, а говорить другое и поступать наперекор собственным чувствам. Это утонченное притворство не что иное, как обыкновенное двуличие; впрочем, оно нередко оказывается столь же бесполезным для карьеры царедворца, как прямота, искренность и добродетель.

#### 3

Кто назовет все бесчисленные оттенки цвета, меняющиеся в зависимости от освещения, при котором смотришь на предмет? Точно так же — кто ответит, что такое двор?

#### 4

Покинуть двор хотя бы на короткое время — значит навсегда отказаться от него. Придворный, побывавший

при дворе утром, снова возвращается туда вечером из боязни, что к утру там все переменится и о нем забудут.

5

При дворе даже самый тщеславный человек начинает чувствовать себя ничтожным — и не ошибается в этом: так малы там все, даже великие.

6

Если смотреть на королевский двор с точки зрения жителей провинции, он представляет собою изумительное зрелище. Стоит познакомиться с ним — и он теряет все свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко.

7

Трудно привыкнуть к жизни, которая целиком проходит в приемных залах, в дворцовых подъездах и на лестницах.

8

Находясь при дворе, человек никогда не чувствует себя довольным; очутившись вдали от него, он недоволен еще больше.

9

Порядочный человек обязательно должен отведать придворной жизни: окунувшись в нее, он открывает новый, незнакомый ему мир, где равно царят порок и учтивость, и где ему полезно наблюдать все — как хорошее, так и дурное.

10

Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных.

11

Иные люди едут ко двору лишь затем, чтобы вскоре вернуться домой, приобретя поездкой уважение дворянства своей провинции или духовенства своего диоцеза.

Будь мы скромны и воздержны, золотошвей и кондитер остались бы не у дел — их товар никого бы не соблазнил; излечись мы от тщеславия и своекорыстия, дворы опустели бы и короли остались бы почти в одиночестве. Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом. Порою кажется, что самые влиятельные из вельмож оптом получают власть, величие и высокомерие, а затем раздают их провинциям в розницу. Истинные обезьяны, они ведут себя с низшими так же, как монархи — с ними самими.

Ничто так не обезображивает иных царедворцев, как присутствие монарха: они становятся неузнаваемы, черты их искажаются, осанка утрачивает благородство. Гордецы и спесивцы выглядят особенно приниженно, ибо они меняются разительнее других, человек порядочный и скромный держит себя достойнее: он остается самим собой.

Манеры, принятые при дворе, заразительны: их так же легко перенять в В., как нормандский акцент в Руане или Фалезе, — взгляните на гоф-фурьеров, мундшенков и камер-лакеев. Эта наука дается так легко и требует так мало ума, что человеку, обладающему большими достоинствами и недюжинными способностями, не требуется никаких усилий, чтобы изучить ее и усвоить. Он придает ей столь мало значения, что овладевает ею, сам того не замечая, и так же незаметно может потом ее забыть.

Н. подъезжает с превеликим шумом, всех расталкивает, прокладывает себе дорогу, скребется в дверь, чуть ли не пытается ее отворить и наконец называет себя; просители облегченно вздыхают, и входит он лишь вместе с остальными.

Время от времени при дворе появляются смелые искатели приключений, люди развязные и пронырливые, которые умеют отрекомендоваться и убедить всех, что владеют своим искусством с небывалым совершенством. Им верят на слово, и они извлекают пользу из общего заблуждения и любви к новизне. Они протискиваются сквозь толпу, пробираются к самому государю и удаиваются разговором с ним на глазах у придворных, которые были бы счастливы, если бы он бросил на них хотя бы взгляд. Вельможи терпят таких людей, потому что те им не опасны: разбогатеют, они вскоре бесславно исчезают, а свет, еще недавно обманутый ими, уже готов даться в обман новым проходивцам.

Иной раз вы видите людей, которые здороваются еле заметным кивком головы, всем наступают на ноги и ходят выпятив грудь, словно женщины. Вопрос они задают, не глядя на собеседника; говорят громко, показывая, что считают себя выше присутствующих. Стоит им остановиться, как их окружают; они разглагольствуют и задают тон беседе, сохраняя все ту же смешную позу напускного величия, пока не появится кто-нибудь из вельмож, в чьем присутствии они сразу притихают и возвращаются к естественному своему состоянию, которое куда больше им к лицу.

При дворе всегда существуют люди совершенно особого сорта — льстивые, угодливые, вкрадчивые. Они всегда трутся около женщин, изучают их слабости, поощряют увлечения, устраивают любовные дела; умело выбирая слова, они нашептывают им непристойности, говорят с ними о мужьях и любовниках, угадывают их огорчения и недуги, высчитывают, когда им рожать, придумывают для них новые моды, измышляют поводы для новых излишеств и трат и учат слабый пол, как транжирить побольше денег на уборы, мебель и выезды. Не менее изобретательны и расточительны они в своей собственной одежде; они поселяются в старых замках не раньше, чем перестроят и укра-

сят их. Они изысканны и разборчивы в еде, испытали все виды наслаждения и о каждом из них говорят как знатоки. Своим возвышением они обязаны только себе и отстаивают свое положение с той же ловкостью, с какой когда-то завоевали его; надменные и спесивые, они не подпускают к себе тех, кто им ровня, и даже не раскланиваются с ними; они говорят там, где все молчат; в любой час дня и ночи они входят и проникают туда, где не дерзают появляться даже вельможи; сановники, поседевшие на долгой службе, покрытые ранами, занимающие высокие должности и облеченные громкими званиями, — и те выглядят не столь самоуверенно; держатся не столь непринужденно. Эти люди пользуются доверием самых могущественных принцев, участвуют во всех их развлечениях и празднествах, живут в Лувре или Версале, где разгуливают и распоряжаются, как в собственном доме; их видят сразу в нескольких местах; их лица первыми бросаются в глаза тому, кто никогда не бывал до этого при дворе; они обнимают всех, и все обнимают их; они смеются, хохочут, сыплют остротами, рассказывают забавные истории; они покладисты, любезны, богаты, охотно дают взаймы — и никто не принимает их всерьез.

19

Глядя на Кимона и Клитандра, невольно думаешь, что на их плечах лежит все бремя государственной власти и что они самолично отвечают за все дела — один за морские, другой за сухопутные. Как описать их усердие, хлопотливость, любознательность, неугомонность? Это столь же невозможно, как запечатлеть на картине движение. Кто видел, чтобы они сидели, стояли на месте или пребывали в покое? Более того — видел ли кто-нибудь, чтобы они ходили шагом? Нет, они всегда бегут, разговаривают на ходу и задают вопросы, не дожидаясь ответа; они ниоткуда не пришли, никуда не направляются, а просто носятся взад и вперед. Не прерывайте их стремительного бега, не то собьете их с толку; не задавайте им вопросов или по крайней мере дайте им раньше перевести дух и сообразить, что никакого дела у них нет и никто им не мешает поговорить с вами подольше, а то и пойти туда, куда вы позовете. Они не спутники Юпитера, то есть не принадлежат к тем, кто окружает государя и теснится вокруг него; они

только предвещают его появление и предшествуют ему, неудержимо врезаясь в толпу придворных и чуть ли не сбивая их с ног. У них одно занятие — постоянно быть на виду; они не ложатся в постель, пока не выполнят эту столь важную и полезную для государства обязанность. К тому же им доподлинно известны все никому не нужные придворные новости; они знают то, чего вполне можно не знать; они обладают всеми талантами, для того чтобы сделать заурядную карьеру. Впрочем, люди это проворные, довольно сметливые, легкие на подъем и предприимчивые в любом деле, которое, по их мнению, для них небезвыгодно: они, так сказать, впряжены в колесницу удачи и влекут ее, гордо задрав голову, хотя у них мало надежды когда-нибудь стать седоками.

20

Придворный, у которого недостаточно громкое имя, должен прикрыть его более громким; если же оно таково, что его можно не стыдиться, он должен объяснять каждому встречному, что это самое прославленное из всех имен, а род его — самый древний из всех родов; ему следует считаться свойством с принцами Лотарингскими, Роганами, Шатильонами, Монморанси, а не то, пожалуй, и с принцами крови; рассуждать лишь о герцогах, кардиналах и министрах; приплетать к месту и не к месту своих предков с отцовской и материнской стороны, не забывая упомянуть об орифламме и крестовых походах; украшать залы своего дома родословными древами, гербовыми щитами с шестнадцатью полями и портретами предков, а также их собственников; хвастаться старинным замком, его башенками, зубцами и галереей с навесными бойницами; твердить при всяком удобном случае: «Мой род, моя ветвь, мое имя, мой герб»; объявлять, что такой-то не знатен, а такая-то — и вовсе не дворянка, и, услышав, что главный выигрыш в лотерее достался Гиацинту, осведомляться, благородного ли тот происхождения. Пусть кое-кто потешается над его нелепостями, пусть о нем рассказывают смешные истории, — он не станет этому препятствовать, по-прежнему будет настаивать, что дом его — второй по знатности после царствующего, и, непрерывно повторяя одно и то же, в конце концов добьется того, что ему поверят.

Только проstack может надеяться завоевать расположение двора, не будучи дворянином и не умея прослыть таковым.

И ложась в постель и вставая с нее, придворный печется только о собственной выгоде: мысль о ней не оставляет человека ни утром, ни вечером, ни днем, ни ночью; он руководствуется ею, думая, разговаривая, храня молчание, действуя; повинаясь ей, он раскланивается с одним, не замечает другого, превозносит третьего и хулит четвертого; по этой мерке он отмеряет свое внимание, услужливость, почтительность, равнодушие или презрение. Как бы далеко ни ушел он по стезе умеренности и мудрости, главной пружиной его поступков все равно остается честолюбие, увлекающее его к той же цели, что и самых жадных, неистовых в желаниих и тщеславных царедворцев. Разве можно пребывать в покое там, где все волнуется, все движется? Разве можно не бежать там, где все бегут? Всякий мнит, что он обязан добиваться удачи и стремиться к возвышению: человеку, которому это не удастся, двор выносит окончательный приговор, объявляя, что ему, значит, нечего там делать. Что же лучше — удалиться от двора, так ничего и не достигнув, или оставаться там в тщетном ожидании наград и милостей? Вот вопрос столь щекотливый, сложный и затруднительный, что множество придворных успевает состариться, не ответив на него, и умирает, так и не разрешив своих сомнений.

Есть ли при дворе что-нибудь более презренное и недостойное, нежели человек, не способный помочь нашему возвышению? Не понимаю, как это он дерзает там показываться!

Кто далеко обогнал человека одних с собой лет и положения, вместе с которым в первый раз представлялся ко двору, и кто убежден при этом, что он достоин успеха

и вправе смотреть на отставшего сверху вниз, тот, наверно, уже не помнит, что он думал до своего возвышения о себе и о тех, кто в ту пору был впереди него.

25

Вы нашли себе преданного друга, если, возвысившись, он не раззнакомился с вами.

26

Если тот, кто попал в случай, осмеливается извлечь все выгоды из своего положения, которое он может быстро утратить; если он пользуется попутным ветром, чтобы плыть дальше; если не упускает ни одного свободного места, ни одного незанятого аббатства, а без стеснения выпрашивает их и получает; если он осыпан пенсиями, пожалованиями и патентами на наследственные должности, — вы упрекаете его в алчности и честолюбии, говорите, что он жаден, все забирает себе, своим домочадцам и приживалам и что, стяжав столько милостей, он уже составил себе состояние, которого хватило бы на многих. Но что ему остается делать? Если судить не по вашим речам, а по тому, как вы сами поступали бы на его месте, он ведет себя именно так, как нужно.

Мы часто порицаем тех, кто при удобном случае составляет себе большое состояние, ибо по скудости собственного не верим, что добьемся того же и навлечем на себя те же упреки. Надейся мы стать преемниками этих людей, мы сразу почувствовали бы, что они не так уж виноваты, и поостереглись бы сурово их осуждать, чтобы не осудить заранее и самих себя.

27

Не следует ничего преувеличивать: не будем поэтому приписывать двору то, в чем он не грешен. Худшее, на что он способен, — это не воздать порою за истинную заслугу; если при дворе снизошли до того, чтобы ее заметить, ею не пренебрегают, а просто забывают о ней, ибо там отлично умеют не делать ничего или делать очень мало для тех, кто пользуется всеобщим уважением.

Когда мы возводим здание нашего успеха при дворе, нам среди многих идущих в дело кирпичей обязательно попадает несколько негодных: один из друзей, обещавший замолвить за нас словечко, не сделал этого; другой замолвил, но неохотно; третий невольно сказал что-то, идущее вразрез с нашими желаниями и его намерениями; у одного не хватает доброй воли; у другого — ловкости и осторожности. Нет человека, который так сильно хотел бы видеть нас счастливыми, чтобы, не щадя сил, способствовать нашему благополучию. Конечно, все прекрасно помнят, как дорого обошлось им их собственное возвышение и как помогли им тогда проложить себе дорогу. Они, несомненно, расквитались бы с этим долгом и в сходных обстоятельствах охотно помогли бы другим людям, если бы, возвысившись, не предались единственной заботе — попечению о самих себе.

Придворный употребляет весь свой ум, ловкость и хитрость не на то, чтобы найти способ услужить друзьям, умоляющим его о помощи, а на то, чтобы найти убедительные поводы и благовидные предлоги отказать в просьбе и сослаться на полную невозможность что-нибудь сделать; после этого он убеждает себя, что сполна заплатил долг дружбы или признательности.

При дворе никто не хочет сделать первый шаг, все предлагают лишь поддержать его, ибо судят о других по себе и надеются, что ни у кого не хватит смелости иачать и его поэтому не придется поддерживать. Какой учтивый и деликатный способ отказать помочь своим влиянием, услугами и заступничеством тому, кто в этом нуждается!

Сколько людей, оставшись с вами наедине, осыпают вас ласками, любят и ценят, а на людях стесняются подойти к вам и стремятся избежать вашего взгляда или встречи с вами на утреннем приеме и у обедни! Лишь немногие царедворцы занимают достаточно высокое положение или

достаточно самоуверенны, чтобы осмелиться выказать уважение к человеку, чьи достоинства не подкреплены должностью или саном.

31

Вот человек, всегда окруженный придворными, которые неотступно следуют за ним, — он занимает важное место; вот другой, с ним каждый старается заговорить, — он в милости; вот третий, его обнимают и ласкают все, даже вельможи, — он богат; вот четвертый, на него смотрят с любопытством и указывают пальцами, — он учен и красноречив; вот пятый, с ним никто не забывает раскланяться, — у него злой язык... Но покажите мне человека, который был бы добр, только добр, и с которым все тем не менее искали бы знакомства.

32

Человека назначают на должность, и вот уже поток восхвалений затопляет подъезды и капеллу, катится по лестнице, залам галереи и апартаментам монарха, скрывает с головой, сбивает с ног. Об этом человеке нет и не может быть двух мнений: зависть и злоба отзываются о нем в тех же выражениях, что и лесть; все плывут по течению, оно всех уносит, вынуждая людей, с которыми он подчас вовсе незнаком, говорить то, что они думают и чего не думают, а порою даже расхваливать того, кого они в глаза не видели. Человек умный, достойный, доблестный в мгновение ока превращается в величайшего гения, в героя, в полубога. Его портреты так чудовищно льстят ему, что он кажется безобразным в сравнении с ними: он не может подняться и никогда не поднимется до той высоты, на которую вознесли его низость и угодливость; он краснеет, слыша, как о нем говорят.

Но вот положение этого человека поколебалось, и мнение о нем сразу меняется; вот он уже пал, и те же самые пружины, которые, подняв его на невиданную высоту, исторгли у всех хвалу и лесть, снова приходят в действие, низвергая его в бездну всеобщего презрения, и никто не гнушается им больше, не порицает его язвительнее, не отзывается о нем хуже, чем тот, кто совсем недавно так неистово расхваливал его.

На мой взгляд, высокую и трудную должность куда легче занять, нежели сохранить.

Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, которые помогли им ее достичь.

При дворе известны два способа отделаться от человека или, как говорится, дать ему от ворот поворот: либо самому рассердиться на него, либо сделать так, чтобы он рассердился на вас и проникся к вам отвращением.

При дворе хорошо отзываются о человеке по двум причинам; во-первых, дабы он узнал, что мы хорошо о нем отзываемся; во-вторых, дабы он так же хорошо отзывался о нас.

Давать обещания при дворе столь же опасно, сколь трудно их не давать.

Есть люди, для которых не знать человека по имени и в лицо — все равно что получить право смеяться над ним и презирать его. Они спрашивают, кто он такой. Это не Руссо, не Фабри,<sup>1</sup> не Лакутюр, — их-то они узнали бы.

Мне говорят столько дурного об этом человеке, а я нахожу в нем так мало дурного, что начинаю думать, нет ли у него достоинств, которые раздражают других людей, так как затмевают их собственные.

<sup>1</sup> Сожжен на костре двадцать лет тому назад. (Прим. автора.)

Вы человек порядочный; вам все равно, пришлось вы по нраву фаворитам или нет; вы преданы только своему господину и думаете лишь о своем долге. Значит, вы человек конченный.

Наглость — это не умышленный образ действий, а свойство характера; порок, но порок врожденный. Кто не родился наглецом, тот скромн и нелегко впадает в другую крайность. Бесплезно поучать его: «Будьте наглы, и вы преуспеете», — неуклюжее подражание не пойдет такому человеку впрок и неминуемо приведет его к неудаче. Лишь бесстыдство непринужденное и естественное помогает пробить дорогу при дворе.

Человек домогается, хлопочет, интригует, тревожится, просит, встречает отказ, просит снова и наконец достигает цели; а послушать его, так он получил желаемое без всяких просьб и тогда, когда вовсе не думал просить, а занимался совсем иными делами. Избитый прием, невинная и бесполезная ложь — она никого не обманет!

Иные люди, домогаясь важной должности, пускаются на всякие происки, интригуют, принимают все необходимые меры; их успех несомнен: одни друзья замолвят словечко, другие поддержат первых. Но когда фитиль подведен и мина готова к взрыву, они удаляются от двора. Кто дерзнет заподозрить Артемона в том, что он мечтал о завидной должности, если его силком вытащили из провинции, заставили покинуть свои владения и занять это место? Грубая уловка, затасканная хитрость! Придворные столько раз прибегали к ней, что, пожелаю я обмануть свет и скрыть от него свое честолюбие, я нарочно остался бы на глазах и под рукой у государя, чтобы добиться той милости, которой так пылко жажду.

Люди не хотят, чтобы другие знали об их честолюбивых замыслах и догадывались об их видах на ту или иную должность; они полагают, что в случае отказа им будет стыдно, а в случае успеха выгоднее и почетнее представить дело так, будто им дали это место по заслугам, без всяких происков и домогательств с их стороны; тем самым они сразу украсят себя и знаками нового достоинства, и скромностью.

Что постыднее — не получить место, которое заслужил, или занять его, не заслужив?

Возвыситься при дворе трудно, но еще труднее стать достойным возвышения.

Легче сделать так, чтобы о вас говорили: «Почему он получил это место?» — чем добиться того, чтобы кто-нибудь спросил: «Почему он не получил этого места?»

В прежнее время люди искали консульства, сейчас они домогаются избрания эшевенном, купеческим старшиной или членом Французской академии. Не разумнее ли им посвятить первые годы жизни труду, подготовить себя к важной должности, а потом уже, отказавшись от тайных происков, открыто и с полной уверенностью в своих силах проситься на службу отечеству, монарху и государству?

Я еще не видел придворного, который, получив от государя управление богатой провинцией, высокую должность или большую пенсию, не уверял бы из тщеславия или желания казаться бескорыстным, что ему не столько приятна сама милость, сколько то, как она была оказана. В таких уверениях всегда бесспорно лишь одно — их полное несоответствие истине.

Только люди дурно воспитанные не умеют давать с любезным видом: самое важное и самое трудное — в том, чтобы дать; так почему бы не сопроводить даяние улыбкой?

Нельзя тем не менее отрицать, что некоторые люди умеют отказывать пристойнее, чем другие — давать. Иных, как я слышал, приходится так долго упрашивать, соглашаются они так неохотно и обставляют вырванную у них

милость такими обидными условиями, что еще большей милостью с их стороны было бы избавить вас от необходимости что-либо получать от них.

46

При дворе встречаются люди настолько жадные, что они из корысти хватаются за любую должность; губернаторство, место в парламенте, бенефиций — все им по сердцу. Они так ловко устраивают свои дела, что их положение позволяет им отправлять любые обязанности. Это настоящие амфибии: у них духовное звание, а живут они шпагой и притом умудряются еще носить судейскую мантию. «Что же они делают при дворе?» — спросите вы. Получают пожалования и завидуют всем, кому тоже передают награды.

47

При дворе есть множество людей, которые всю жизнь кого-нибудь обнимают, прижимают к сердцу, поздравляют с пожалованием, а сами сходят в могилу, так ничего и не получив.

48

Одежда Менофила никак не вяжется с его званием. Круглый год он носит маску, хоть лицо у него и открыто; всюду — при дворе, в столице, в провинции — он появляется под новым именем и в новом наряде, что, впрочем, никого не обманывает: все знают его в лицо.

49

К высокому положению ведут два пути: протоптанная прямая дорога и окольная тропа в обход, которая гораздо короче.

50

Люди бегут за несчастными преступниками, чтобы взглянуть на них вблизи, выстраиваются шпалерами и высовываются из окон, чтобы увидеть, с каким лицом и осанкой идет на казнь человек, который приговорен и ждет неизбежной смерти. Какое пустое, злобное, бесчеловечное

любопытство! Будь люди немного разумнее, место казней всегда пустовало бы, а присутствовать на подобных зрелищах считалось бы позором. Если уж вас так мучит любопытство, направьте вашу страсть на более возвышенный предмет: взгляните на счастливца, понаблюдайте за тем, как он принимает поздравления в день, когда назначен на новую должность; прочитайте в его глазах, насколько он доволен собою, какого высокого мнения держится о себе и как все это прикрито заученным спокойствием и притворной скромностью, посмотрите, какую ясность сообщили его сердцу и лицу исполненные желания, как хочется ему жить и наслаждаться здоровьем, как радость его вырывается все-таки наружу и он больше не в силах ее скрывать, как он сгибается под бременем счастья, как холоден и сдержан становится с теми, кто еще недавно был ему равен, как он не кланяется им и не замечает, как объятия и любезности вельмож, на которых он взирает теперь с близкого расстояния, окончательно портят его, как он теряет равновесие, забывается и впадает в кратковременное умоисступление.

Вы тоже хотите стать счастливецом, вы жаждете милостей. Запоминайте же, чего вы должны будете избегать!

## 51

Человек, получивший видную должность, перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом в своих манерах и поведении, сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном. Отсюда забывчивость, гордость, высокомерие, черствость и неблагодарность.

## 52

Теон тридцать лет был аббатом; наконец это ему наскучило: иные меньше мечтают о монаршем пурпуре, чем он жаждал золотого наперсного креста. Но так как праздник проходил за праздником, а перемена в его судьбе все не наступала, он стал роптать на свой век, уверять, что государством плохо управляют, и предсказывать грядущие бедствия. Рассудив, что при дворе заслуги только вредят тому, кто хочет возвыситься, он уж решил было отказаться от надежд на прелатство, как вдруг кто-то прибежал сообщить ему, что он назначен епископом. Столь

неожиданная новость преисполнила его такой радости и самоуверенности, что он тут же объявил: «Вот увидите, я на этом не останавлиюсь — меня еще сделают архиепископом».

53

Вельможи и министры, даже исполненные самых благих намерений, нуждаются при дворе в услугах плутов; однако они должны соблюдать при этом осторожность и прибегать к таким людям лишь тогда и при таких обстоятельствах, когда без них не обойтись. Честь, добродетель, совесть — все это похвальные, но часто бесполезные достоинства. Мало ли случаев, когда порядочность только мешает?

54

Некий старинный автор, мысль которого я приведу здесь дословно, дабы не исказить ее вольной передачей, пишет: «Иные мелкими людишками, ровнями своими, гнушаются, их за челядь и холопов почитают, а больше всё водят дружбу с вельможами и персонами именитыми и многоимущими, и от такового с ними дружества и знакомства во всех потехах, машкерадах, непотребствах и бесчинствах оных участвуют, стыда не имут, срама не страшатся, отчину и дедину расточают, посмеяние и поношение от каждого терпят, а сами, ничтоже сумняшеся, шикан своих не оставляют и тем себе удачу и достаток великий во благовремени снискивают».

55

Молодость государя — источник многих крупных состояний.

56

Тимант все тот же, что и раньше, он сохранил достоинства, которые стяжали ему громкое имя и всяческие милости, но в глазах придворных он стал уже терять былое значение: им наскучило изъяслять ему уважение, они раскланиваются с ним холодно, больше не улыбаются ему, избегают вступать с ним в разговор, не обнимают его, не отводят в сторону, чтобы с таинственным видом шепнуть какой-нибудь пустяк; им больше нечего ему сказать. Но

вот он получает пенсию или новую должность, и все его добродетели оживают, а мысль о них, наполовину изгладившаяся из памяти придворных, мгновенно обретает свежесть. Теперь с ним опять обращаются так же, как прежде, и даже еще лучше.

57

Сколько друзей и родственников появляется за одну ночь у нового министра! Одни вспоминают старые связи, годы совместного учения, права соседства; другие, полистав родословную и дойдя до прапрадеда, отыскивают общих родственников с отцовской или материнской стороны; всем лестно иметь хоть какое-нибудь отношение к этому человеку; каждый сто раз на дню твердит о своей близости к нему и старается всем внушить: «Это мой приятель, и я очень рад его возвышению, оно касается и меня — мы ведь с ним накоротке». О тщеславные царедворцы, ничтожные поклонники успеха, разве утверждали вы что-нибудь подобное неделю назад? Разве он стал за это время добродетельнее, стал более достоин выбора, который остановил на нем государь? Неужели вы и без того не знали, что он за человек?

58

Видя, как пренебрежительны иногда со мною и вельможи и даже те, кто мне равен, я черпаю поддержку и утешение в том, что говорю себе: «Эти люди презирают не меня, а только мое звание — оно и вправду низкое. Будь я министром, они, без сомнения, преклонялись бы передо мной».

Как! Вельможа здоровается со мной? Что бы это значило? Уж не получу ли я вскоре должность? Он, наверно, об этом проведал или просто у него такое предчувствие.

59

Тот, кто так часто повторял: «Я обедал сегодня в Тибуре», «Я ужинаю там вечером», кто по каждому поводу поминал имя Планка, кто вечно твердил: «Планк просил меня... Я сказал Планку...» — неожиданно узнает, что герой его рассказов унесен скоропостижной смертью. Он сразу берет с места в карьер, собирает народ на площадях и в портиках, обвиняет покойника во всех грехах, поносит его поведение, чернит его консульство, отрицает за

ним его прославленную осведомленность в самых мелких делах правления, утверждает, что усопший не оставил по себе ни одного доброго воспоминания, отказывает ему не только в репутации человека серьезного и трудолюбивого, но даже в чести быть врагом врагов империи.

60

Любопытное, я полагаю, зрелище представляется взору добропорядочного человека в обществе или театре, когда место, в котором ему отказали, получает тот, у кого нет глаз, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, разума, чтобы понимать и судить, тот, кто обязан возвышением только ливрее, да и то давно уже им снятой.

61

Теодот одевается строго, но лицо у него — как у комедианта, выходящего на подмостки; голос, походка, жесты, осанка — под стать лицу; он себе на уме, хитер, слащав, вид у него таинственный; он подходит к вам и шепчет на ухо: «Какая прекрасная погода! Все растаяло». Манеры у него не слишком изысканные, зато такие приторные, что в пору юной жеманнице. Вообразите себе ребенка, который с увлечением строит карточный домик или гоняется за бабочкой: таков Теодот в самом пустяковом деле; оно не стоит выеденного яйца, а он занят им всерьез, словно это нечто важное. Он хлопочет, суетится, добивается своего и наконец переводит дух, давая себе заслуженный отдых — он ведь изрядно потрудился.

Бывают люди, охмелевшие от погони за милостями и как бы околдованные ими: они думают о них днем, видят их во сне по ночам, снуют взад и вперед по лестнице в доме министра, то и дело входят к нему в приемную и выходят оттуда, обращаются к нему, хотя сказать им нечего, обращаются вторично и наконец преисполняются радости: они говорили с ним. Притройтесь к ним, нажмите пальцем — и вы увидите, как из них так и брызнут спесь, заносчивость, самомнение. Если вы заговорите с ними, они не ответят вам и даже не узнают вас; глаза у них блуждают, мысли далеко; родным следует держать их взаперти, иначе их помешательство станет буйным и опасным для окружающих.

У Теодота более безобидная мания: он тоже до безумия жаждет быть в милости, но страсть его не так шумлива; он предается своим мечтам, лелеет их, служит им, но только тайком. Он вечно начеку, вечно ловит желания каждого, кто недавно облачился в ливрею удачи: как только у того появляется новая прихоть, Теодот предлагает свою помощь, интригует в его пользу, втихомолку приносит ему в жертву любые достоинства, связи, дружбу, обязательства, признательность. Освободись место Кассини и пожелай швейцар или скороход фаворита занять его, он поддержит их искательство, сочтет их достойными этой должности, объявит способными производить наблюдения, вычислять, рассуждать о ложном солнце и параллаксах.

Если бы меня спросили, кто такой Теодот — автор или плагиатор, оригинальный писатель или копиист, я взял бы его сочинения и сказал: «Читайте и судите сами»; но как решить, глядя на портрет, нарисованный мною, кто служил мне моделью — ханжа или придворный? Гораздо смелее я выскажусь о его судьбе: «Теодот, я наблюдал звезду, под которой ты родился. Знай, ты получишь должность, и скоро. Оставь же хлопоты, перестань докучать людям — они давно уже просят пощады».

Не ждите искренности, откровенности, справедливости, помощи, услуг, благожелательности, великодушия и постоянства от человека, который недавно явился ко двору с тайным намерением возвыситься. Узнаёте вы его по речам, по выражению лица? Он уже перестал называть вещи своими именами, для него нет больше плутов, мошенников, глупцов и нахалов — он боится, как бы человек, о котором он невольно выскажет свое истинное мнение, не помешал ему *выдвинуться*. Он плохо думает о людях, но никому не скажет об этом; желая добра только себе, делает вид, будто желает его всем, чтобы все делали ему добро или по крайней мере не делали зла; он не только чужд искренности сам, но и не терпит ее в других, ибо правда режет ему ухо; с холодным и безразличным видом уклоняется он от разговоров о дворе и придворных, ибо опасается прослыть соучастником говорящего и понести ответственность. Тиран общества и жертва собственного че-

столюбия, он уныло осмотрителен в своем поведении и словах: шутки у него безобидные, вялые и натянутые, смех принужденный, любезность притворная, речь отрывистая, рассеянность нарочитая; он целыми ведрами — нет, что я говорю! — целыми бочками изливает похвалы на сановников и на тех, кто в милости, со всеми же остальными сух, точно кожа чахоточного; у него всегда наготове несколько приветственных и прощальных фраз: нанося визит, он употребляет одни, принимая визитера — другие, так что те, кому важно лишь, как с ними говорят и с каким лицом их встречают, всегда остаются им довольны. Он находит покровителей и умеет привязать к себе тех, кому покровительствует сам; он — посредник, наперсник, сводник, но этого ему мало — он хочет властвовать и со рвением новичка перенимает все мелкие придворные уловки: как встать, чтобы его заметили, как вовремя обнять вас и порадоваться вместе с вами, как участливо расспросить вас о вашем здоровье и делах, как потерять нить разговора при вашем ответе, чтобы перебить вас и перейти к другому предмету или обратиться в то же время к новому собеседнику, с которым ему нужно поговорить о совсем иных вещах, как, продолжая поздравлять вас, выразить тому соболезнование, как плакать одним глазом и смеяться другим. Иногда, принаравливаясь к мннистрам или фавориту, он рассуждает в обществе о пустяках — о ветре, о морозе; иногда же, если дело идет о чем-нибудь важном, что ему известно, а еще чаще неизвестно, он многозначительно молчит.

### 63

Есть некая страна, где радости явны, но притворны, а горести глубоко скрыты, но подлинны. Кто поверит, что спектакли, громовые рукоплескания в театрах Мольера и Арлекина, охота, балет и военные парады служат лишь прикрытием для бесчисленных тревог, забот и расчетов, опасений и надежд, неистовых страстей и серьезных дел?

### 64

Придворная жизнь — это серьезная, холодная и напряженная игра. Здесь нужно уметь расставить фигуры, рассчитать силы, обдумать ходы, осуществить свой замысел, расстроить планы противника, порою идти на риск,

играть по наитию и всегда быть готовым к тому, что все ваши уловки и шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, а то и мата. Часто пешки, которыми умно распоряжаются, проходят в ферзи и решают исход партии; выигрывает ее самый ловкий или самый удачливый.

65

Взгляните на часы: колесики, пружины, словом — весь механизм, скрыты; мы видим только стрелку, которая незаметно свершает свой круг и начинает новый. В точности такова и жизнь придворного: нередко, продвинувшись довольно далеко, он оказывается у отправной точки.

66

«Две трети своей жизни я уже прожил, зачем же так беспокоиться о том, как пройдет остаток моих дней? Самая блестящая карьера не стоит ни тех мучений, которым я себя обрекаю, ни тех низостей, на которых себя ловлю, ни тех унижений и обид, которые претерпеваю. Еще каких-нибудь тридцать лет — и рухнут могучие колоссы, на которых я сейчас смотрю снизу вверх; исчезнут все — и я, такой маленький и ничтожный, и те, на кого я так жадно взираю, связывая с ними свои заветные надежды на возвышение. Самое лучшее в жизни, — если в ней и вправду есть что-нибудь хорошее, — это покой, уединение и место, где ты сам себе хозяин».

Так думал Н., пребывая в опале: он забыл об этих мыслях, как только снова вошел в милость.

67

Дворянин, живя в своей провинции, свободен, но лишен покровительства сильных мира сего; живя при дворе, он обретает покровительство, но теряет свободу. Одно стоит другого.

68

Однажды Ксантиппу, жившему в глухой провинции под ветхой кровлей, приснилось на его жестком ложе, будто он видит государя, говорит с ним и необычайно этим счастлив. Проснувшись, он опечалился, рассказал свой

сон и воскликнул: «Какие только небылицы не приходят в голову, когда спишь!» Через несколько лет Ксантип попал ко двору, увидел государя, поговорил с ним, и явь далеко превзошла сновидение: он стал фаворитом.

69

Кто пребывает в большем рабстве, нежели усердный царедворец? Разве что еще более усердный царедворец.

70

Раб зависит только от своего господина, честолюбец — от всех, кто способен помочь его возвышению.

71

На утреннем приеме всегда толпится множество никому не известных людей, жаждущих, чтобы их заметил государь, который не может, однако, видеть всех сразу. А если, сверх того, он постоянно замечает одних и тех же, то каково число несчастливцев?

72

Люди, которые окружают вельмож, осыпая их знаками внимания, разделяются на три части: меньшая искренне их чтит, большая заискивает в них из честолюбия и своекорыстия, самая большая льнет к ним из глупого тщеславия или смешного стремления выставить себя напоказ.

73

Бывают семейства, обязанные по законам света или в силу того, что называется приличиями, пребывать в вечной вражде. Но вот они примирились: то, что не удалось религии, без труда совершил расчет.

74

Говорят, есть некая страна, где старики галантны, любезны и учтивы, а молодые люди, напротив, грубы, жестоки, распущенны и невоспитанны; они перестают любить

женщин в том возрасте, когда юноши обычно только начинают испытывать это чувство, предпочитают ему пирюшки, чревоугодие и низкое сластолюбие; тот, кто пьет лишь вино, слывет у них скромником и трезвенником, ибо неумеренное потребление этого напитка давно отбило у них охоту к нему; они пытаются пробудить утраченный вкус к спиртному с помощью самых крепких настоек и разных водок, останавливаясь в своем разгуле разве что перед царской. Женщины в этой стране ускоряют увядание своей красоты с помощью снадобий, сообщающих им, как они полагают, миловидность и привлекательность: у них в обычае размалевывать себе губы, щеки, ресницы и плечи, которые, равно как грудь, руки и уши, они оголяют из боязни, что мужчины проглядят какую-нибудь из их прелестей. Лица у обитателей этой страны расплывчатые и утопают в заемных волосах, которые они предпочитают собственным и носят на голове в виде густой длинной гривы; она свисает до пояса, искажает облик человека и делает его неузнаваемым. У этого народа есть свой бог и свой король. Ежедневно в условленный час тамошние вельможи собираются в храме, который именуют капеллой. В глубине этого храма возвышается алтарь их бога, где жрец совершает таинства, называемые святыми, священными и страшными. Вельможи становятся широким кругом у подножия алтаря и поворачиваются спиной к жрецу, а лицом к королю, который преклоняет колена на особом возвышении и, по-видимому, приковывает к себе души и сердца всех присутствующих. Этот обычай следует понимать как своего рода субординацию: народ поклоняется государю, а государь — богу. Жители этой страны называют ее ..., она расположена примерно под сорок восьмым градусом северной широты и удалена больше чем на тысячу сто лье от моря, омывающего край ирокезов и гуронов.

Вспомним, что лицезрение государя преисполняет царедворца счастьем, что всю жизнь он занят и поглощен одной мыслью — как бы увидеть государя и попасться ему на глаза, — и мы поймем, почему созерцание бога составляет славу и блаженство святых угодников.

Знатные вельможи всегда благоговейно почтительны с государем и видят в этом свой долг, так как сами ждут того же от тех, кто ниже их. Царедворцы низших рангов пренебрегают этой обязанностью, позволяют себе фамильярничать и чувствуют себя людьми, не обязанными служить примером для других.

Чего еще не хватает молодым людям наших дней? Они всё могут и кое-что знают. Впрочем, если бы даже их знания равнялись их возможностям, они все равно не стали бы решительней в своих поступках.

О слабые люди! Вельможа говорит, что ваш друг Тимаген глуп, хотя это неправда, ибо он — человек умный. Я уж не жду от вас возражений вслух, но наберитесь мужества и сделайте их хоть про себя.

Тот же вельможа утверждает, что Ификрат — труслив, а между тем вы своими глазами видели, как он совершил подвиг. Успокойтесь, я не требую, чтобы вы рассказывали об этом. С меня довольно, если, услышав слова вельможи, вы не забудете, что были свидетелями этого подвига.

Умение говорить с королями — предел искусства и мудрости для придворного. Нечаянно сорвавшееся слово, поразив слух государя, запечатлевается у него в памяти, а порою и в сердце; взять это слово назад уже невозможно; все старания и уловки царедворца, который тщится придать ему иной смысл или ослабить произведенное им впечатление, ведут лишь к тому, что оно все глубже западает в душу монарха. Если сказанное идет во вред нам самим, — хотя это бывает не часто, — мы еще можем утешаться тем, что наша ошибка будет нам уроком и мы поплатимся за наше собственное легкомыслие; но какая досада, какое раскаяние ожидают нас, если сказанное принесло ущерб нашему ближнему! Поэтому самое полезное

правило, предотвращающее подобную опасность, состоит в том, чтобы говорить с государем о других людях, об их трудах, поступках, правах и поведении хотя бы так же осторожно, сдержанно и осмотрительно, как мы говорим о себе.

80

«Хороший острослов — дурной человек». Я и сам сказал бы то же, если бы это не было сказано до меня. Но я беру на себя смелость сказать другое, еще никем не сказанное: кто ради красного словца не щадит доброго имени и счастья ближнего, тот заслуживает самой позорной кары.

81

У нас есть готовые фразы, которые мы как бы вынимаем из кладовой, когда поздравляем друг друга с чем-нибудь приятным. Часто их произносят без всякого чувства и выслушивают без признательности, но обойтись без них все-таки невозможно, ибо они — замена самого лучшего, что есть в мире, то есть дружбы: люди не могут понастоящему рассчитывать друг на друга, поэтому они как бы молчаливо соглашаются довольствоваться внешними изъявлениями приятни.

82

Иные люди, выучив пять-шесть ученых слов, уже выдают себя за знатоков музыки, живописи, зодчества, астрономии и воображают, будто слух, зрение и вкус доставляют им больше наслаждения, чем другим; таким способом они внушают уважение окружающим и обманывают самих себя.

83

При дворе всегда довольно людей, у которых светскость, учтивость или богатство играют роль ума и способностей. Они умеют войти и выйти, поддержать разговор, не участвуя в нем; понравиться, не сказав ни слова, придать себе важность, храня упорное молчание или время от времени издавая односложные возгласы. Они берут выражением лица, тоном, жестом, улыбкой и похожи на тонкий слой чернозема: копните его на два дюйма вглубь — и вы наткнетесь на бесплодный камень.

Есть люди, которые попадают в милость как бы незначай: они первые бывают поражены и подавлены ею, но затем, придя в себя, находят свое возвышение вполне заслуженным; а так как, по их мнению, глупость и успех — две вещи несовместные и быть одновременно дураком и удачником нельзя, они начинают верить в свой ум и даже дерзают — нет, что я говорю! — смело принимаются разглагольствовать в любом обществе о чем угодно, не считаясь с тем, кто их слушает. Стоит ли говорить, что их самодовольные нелепости лишь повергают окружающих в ужас или внушают крайнее отвращение? Важнее напомнить, что такие люди непоправимо позорят тех, кто так или иначе способствовал их случайному возвышению.

Как назвать тех, у кого хватает хитрости только на глупцов? Насколько мне известно, человек по-настоящему ловкий не отличает их от тех, кого они умеют обманывать.

Кто умеет внушить, что он не очень хитер, тот уже далеко не прост.

Хитрость — качество не слишком похвальное и не слишком предосудительное, это нечто среднее между пороком и добродетелью; почти нет случаев, где ее не могло и не должно было бы заменить благоразумие.

От хитрости до плутовства — один шаг, переход от первой ко второму очень легок: стоит прибавить к хитрости ложь, и получится плутовство.

С теми хитрецами, которые много слушают и мало говорят, говорите еще меньше, а если уж вам приходится говорить много, старайтесь ничего не сказать.

Правое и важное для вас дело зависит от согласия двух человек. Один говорит: «Я похлопочу, если не возражает такой-то». Такой-то не возражает, но при одном условии — он хочет быть уверен в согласии первого. Проходят месяцы, годы, а дело не подвигается. «Я теряюсь, я ничего не понимаю, — говорите вы. — Ведь им нужно только встретиться и поговорить». А мне, признаться, все ясно и понятно: они уже поговорили.

Я полагаю, что тот, кто хлопочет за других, всегда исполнен уверенности в себе, как человек, который добивается справедливости; выпрашивая или домогаясь чего-нибудь для себя, он смущается и стыдится, как человек, который кланчит милости.

Если умный человек не остережется ловушек, постоянно расставляемых при дворе всем, кого хотят высмеять, то, к удивлению своему, обнаружит, что постоянно ходит в дураках у глупцов.

В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью оказываются простота и откровенность.

Когда вы в милости, каждая ваша затея уместна, вы не делаете ошибок, все пути ведут вас к цели; когда вы в опале, все становится ошибкой, все ваши хитрости бесполезны, любая тропинка уводит вас в сторону.

Человек, некоторое время занимавшийся интригами, уже не может без них обойтись: все остальное ему кажется скучным.

Для интриг нужен ум, но когда его много, человек стоит настолько выше интриг и происков, что уже не снисходит до них; в этом случае он идет к успеху и славе совсем иными путями.

Аристид, ты человек высокого ума, всеобъемлющей учености, испытанной честности и несомненных дарований. Не бойся же опалы при дворе и немилости у вельмож — этого не случится, пока ты им нужен.

Фаворит должен всегда следить за собой. Ведь если он протомит меня в приемной меньше, чем обычно; если лицо его будет приветливей, а брови не так насулены; если он любезно выслушает меня и проводит чуть дальше к двери, я решу, что ему грозит падение, — и не ошибусь.

Как мало в человеке истинной добродетели, если, чтобы стать человечнее, доступнее, мягче и благороднее, он должен впасть в немилость или претерпеть унижение!

При дворе попадаютя люди, чья речь и поведение доказывают, что они не думают ни о своих предках, ни о потомках. Для них существует только настоящее, но они не пользуются, а злоупотребляют им.

Стратон родился сразу под двумя звездами — счастливой и несчастливой. Жизнь его — настоящий роман; хотя нет — ей не хватает правдоподобия; в ней не было приключений, а были только приятные или дурные сны. Впрочем, что я говорю! Жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Никто не взял от судьбы больше, чем он; ему были знакомы и крайности и золотая середина; он блистал, претерпевал страдания, вел обыденную жизнь и познал все без исключения. Он внушал почтение к себе своими достоинствами, о которых с серьезным видом рассуждал вслух; он говорил: «Я умен, я храбр», и все повторяли: «Он умен, он храбр». И в милости и в опале он сохранял облик и дух подлинного придворного, являя зрителям больше хорошего и больше плохого, чем, возможно, было в нем на самом деле. Обворожительный, любезный, неподражаемый, замечательный, неустрашимый — каких только слов не говорили ему в похвалу; каких только бранных эпитетов не находили потом, чтобы его унижить! Это неясный, противоречивый и непонятный характер, это загадка, и притом почти неразрешимая.

Монаршая милость ставит человека выше тех, кто равен ему; немилость — ниже.

Кто умеет при необходимости спокойно отказаться от громкого имени, высокого положения или большого состояния, тот разом избавляется от груза многих забот, тревог, а подчас и преступлений.

Через сто лет мир в существе своем останется прежним: сохранится сцена, сохраняются декорации, сменяются только актеры. Те, кто сегодня радуется полученной милости или огорчается и отчаивается из-за отказа в ней, все до одного сойдут со сцены. На подмостки уже выходят другие люди, призванные сыграть те же роли в той же пьесе; в свой черед исчезнут и они, а за ними — те, кого еще нет и чье место опять-таки займут новые комедианты. Стоит ли возлагать наши надежды на лицедеев?

Кто видел двор, тот видел все, что есть в мире самого прекрасного, изысканного и пышного; кто, повидав двор, презирает его, тот презирает и мир.

Столица отбивает охоту жить в провинции, двор открывает нам глаза на столицу и вылечивает от стремления ко двору.

Человеку, наделенному здравым умом, двор прививает вкус к одиночеству и замкнутой жизни.

## Глава IX

### О ВЕЛЬМОЖАХ

#### 1

Народ так слепо предрасположен к вельможам, так повсеместно восхищается их жестами, выражением лица, тоном и манерами, что боготворил бы этих людей, будь они с ним хоть немного добрее.

#### 2

Феаген, если ты порочен от природы, мне жаль тебя; если же тебя сделала таким слабость к тем людям, которым выгодно, чтобы ты был порочен, которые сговорились развратить тебя и уже похваляются, что преуспели в этом, я не могу тебя не презирать. Но если ты благоразумен, воздержан, скромн, учтив, великодушен, не чужд признательности, трудолюбив, а к тому же так могуществен и знатен, что тебе подобает скорее служить примером, чем брать его с других, и самому наставлять житейским правилам, нежели учиться им, условься с этими людьми, что будешь из снисходительности подражать им в распутстве, пороках и безумствах на том условии, что они из уважения, которое обязаны питать к тебе, будут совершенствоваться в добродетелях, дорогих твоему сердцу. Прими это насмешливое, но полезное предостережение, и оно поможет тебе сохранить чистоту души, расстроит все их замыслы и вынудит их оставаться тем, что они есть, и не делать попыток изменить тебя.

Вельможи обладают одним огромным преимуществом перед остальными людьми. Я завидую не тому, что у них есть все: обильный стол, богатая утварь, собаки, лошади, обезьяны, шуты, льстецы, но тому, что они имеют счастье держать у себя на службе людей, которые равны им умом и сердцем, а иногда и превосходят их.

Вельможи чванятся тем, что прорезают леса аллеями, окружают свои владения непомерно длинными стенами, раззолачивают потолки, сооружают фонтаны и устраивают оранжереи; однако их страсть к новизне не настолько велика, чтобы вселить довольство в чье-то сердце, преисполнить радостью чью-то душу, предотвратить или облегчить чью-то горькую нищету.

Сравнивая между собой людей разного звания, их горести и преимущества друг перед другом, бесполезно задать вопрос, не наблюдается ли при этом известное смещение или равновесие добра и зла, которое всех уравнивает или по крайней мере делает положение одного не более завидным, чем положение другого. Поставить такой вопрос вправе человек могущественный, богатый и ни в чем не знающий нужды, но решить его может только бедняк.

В любом из возможных житейских положений есть своя прелесть, которой лишено только одно из них — нищета. Так, вельможа находит удовольствие в излишествах, а простые люди — в умеренности; первые любят повелевать и властвовать, вторые почитают за счастье и даже за честь служить им и повиноваться; вельможи окружены свитой, почетом, знаками внимания; простые люди состоят в их свите, чтят их, оказывают им знаки внимания, и все довольны.

Вельможам так легко отделяться одними обещаниями, их сан с такой легкостью избавляет их от необходимости держать слово, что они, как видно, очень скромны, если сулят только то, что сулят, а не в три раза больше.

«Этот человек стар и ни к чему не пригоден,— говорит вельможа.— Он загнал себя, бегая за мною. На что он мне?» И вот кто-нибудь помоложе лишает несчастного последних надежд и получает должность, в которой бедняге отказали только потому, что он слишком честно ее заслужил.

«Право, не понимаю,— говорите вы холодно и высокомерно.— Филант не лишен достоинств, ума, приятности; он исполняет свой долг, отличается верностью, предан своему покровителю, но его почему-то не ценят, он не нравится, к нему не расположены». Объясните, кого же вы осуждаете — Филанта или вельможу, которому он служит?

Подчас бывает выгодней оставить службу у вельможи, чем жаловаться на него.

Кто объяснит, почему сорвать крупный выигрыш или снискать расположение вельможи удастся именно тем людям, а не другим?

Сильные мира сего так взысканы счастьем, что ни разу за всю жизнь не испытывают даже такого огорчения, как утрата лучших слуг или людей, которые прославили себя в своей области, а им принесли много радости и пользы. Стоит этим единственным в своем роде и незаменимым людям умереть, как льстецы принимаются выискивать их слабые стороны, которых, уверяют они, отнюдь не будет у тех, кто займет место покойных. Они твердят, что преемник, обладая всеми талантами и познаниями предшественника, свободен от его недостатков, и такими речами утешают государей в потере великого и замечательного человека, которого сменила посредственность.

Сановники пренебрегают умными людьми, у которых нет ничего, кроме ума; умные люди презирают сановников, у которых нет ничего, кроме сана; добродетельный человек жалеет и тех и других, если единственная их заслуга — их сан или ум. Когда я, с одной стороны, вижу около вельмож, в тесном кругу их близких, и за одним столом с ними ловких и угодливых интриганов, опасных и вредных проходимцев, а с другой стороны, вспоминаю, как трудно пробиться к вельможе человеку достойному, я отнюдь не всегда заключаю из этого, что людей дурных терпят из корысти, а добродетельных почитают бесполезными. Я склонен скорее утвердиться в мысли, что высокое положение отнюдь не предполагает знания людей, а также любви к добродетели и к тем, кто добродетелен.

Луцилий предпочитает тратить жизнь на то, чтобы лхнуть к вельможам, которые едва терпят его, чем проводить ее в дружеском общении с равными себе.

Известное правило: «Водись с тем, кто выше тебя» — нуждается в оговорке: чтобы следовать ему, подчас нужны дарования, и притом особого свойства.

Что за неизлечимая болезнь у Феофила? Он страдает ею вот уже тридцать лет, а она все не проходит: он сгорал, сгорает и будет сгорать желанием управлять умами вельмож; только смерть, прервав его дни, положит предел этой жажде власти и влияния. Что это — забота о ближнем, привычка или непомерное самомнение? Нет дворца, в который он не пробрался бы; он не останавливается посреди приемной, а проникает дальше за портьеры, в кабинет; тому, кто домогается аудиенции или жаждет представиться, приходится ждать, пока не закончит говорить Феофил, а говорит он долго и обстоятельно. Он посвящен в семейные тайны вельмож, причастен к их удачам и невзгодам, предупреждает их желания, предлагает свои услуги, навязывается на каждое празднество, и все вынуждены его приглашать. Попечение о многих тысячах

душ, за которые он отвечает перед богом как за свою собственную, не может ни заполнить его время, ни насытить его честолюбие — он метит выше и озабочен делами куда более важными, которым и предается весьма охотно, хотя они вовсе его не касаются. Он прислушивается ко всему и всюду выискивает пищу для своего ума, склонного к интригам, вмешательству в чужую жизнь и всяким проискам; не успевает знатная особа высадиться на берег, как Феофил уже тут как тут и завладевает ею; ему самому еще не пришла в голову мысль, что он может управлять высоким гостем, а все уже уверяют его, что он им управляет.

15

Холодность или неучтивость со стороны тех, кто выше нас, внушают нам ненависть к ним, но один их поклон или улыбка уже примиряют нас с ними.

16

Бывают гордецы, которых смиряет и укрощает возвышение соперников. Такая неприятность доводит их порой до того, что они даже начинают с ними раскланиваться, но время, постепенно все сглаживающее, рано или поздно возвращает этих людей к естественному для них высокомерию.

17

Презрение вельможи к простолюдинам делает его равнодушным к лестии и похвалам последних, тем самым умеряя его тщеславие; точно так же хвала, которую вельможи и царедворцы без меры и роздыха расточают монарху, не делает его тщеславней лишь потому, что он мало уважает тех, кто его превозносит.

18

Вельможи признают совершенство только за собой и с трудом допускают мысль, что другие могут отличаться прямоотой, обходительностью и вкусом; они приписывают себе эти редкие дары как нечто присущее им по праву рождения. Однако эти ложные притязания — грубая ошибка: лучшие мысли, изречения, книги да, пожалуй, и самые

возвышенные поступки, которые нам известны, отнюдь не их заслуга; большие владения и длинный ряд предков — вот единственное, чего у них не отнимешь.

19

Правда ли, что ты наделен умом, величием, дарованиями, вкусом и знанием людей, или ты обязан всем этим лишь лести и пристрастной молве, трубящей о твоих достоинствах? Они возбуждают во мне подозрение, я отказываюсь в них верить. Меня не ослепляет твой высокомерный многозначительный вид, который ставит тебя выше всего, что сделано, сказано и написано; не действуют на меня и твое равнодушие к похвалам и неспособность бросить кому-нибудь хоть словечко одобрения. Я просто заключаю из этого, что ты в чести, влиятелен и очень богат. Как решить, что ты такое, Телеф? К тебе, как и к огню, не подступишься, а ведь чтобы составить о тебе здоровое и основательное мнение, нужно заглянуть в твою душу, пожить рядом с тобой, сравнить тебя с тебе подобными. Твоего наперсника — того, который накоротке с тобой, дает тебе советы, отвлекает тебя от общества Сократа и Аристиды, смешит тебя и сам смеется еще громче, чем ты, — одним словом Дава, я знаю отлично, но довольно ли этого, чтобы знать тебя?

20

Если бы иные люди знали, что такое их приближенные и что такое они сами, им было бы стыдно занимать первое место.

21

Конечно, хороших ораторов мало, но много ли на свете людей, способных их слушать? Хороших писателей тоже не много, но где люди, умеющие читать? Точно так же народ вечно сокрушается о том, что редки люди, которые могли бы стать советниками и помощниками королей в государственных делах; однако когда они все-таки появляются и начинают действовать согласно своему разуму и понятиям, разве этих искусных и мудрых сановников любят и ценят по заслугам? Разве хвалят их за то, что они задумывают и совершают во имя отечества? Довольно ли того, что им не мешают. Если они терпят неудачу — их

бранят, если добиваются успеха — им завидуют. Не убоимся же порицать народ там, где оправдывать его было бы смешно: именно его недовольство и зависть, которые кажутся неизбежным злом вельможам и сильным мира сего, постепенно приучают последних не ставить его ни во что, не считаться в делах с его мнением и даже возводить такое пренебрежение в правило политики.

Люди маленькие враждуют между собой, ибо нередко мешают друг другу. Вельмож они ненавидят за то зло, которое те делают им, и за то добро, которого те им не делают. Вельможи всегда ответственны за приниженность, бедность и неудачи маленьких людей; по крайней мере тем так кажется.

## 22

«Не довольно ли и того, что с народом у нас общая религия и общий бог? Охота нам еще называться Пьерами, Жанами, Жаками, словно мы купцы или пахарн? Будем избегать всего, что роднит нас с чернью, и, напротив, подчеркивать все, что нас от нее отделяет. Пусть она берет себе всех двенадцать апостолов, их учеников и первых мучеников (по человеку и святой!); пусть каждый простолюдин радуется тому определенному дню в году, когда он празднует свои именины. Мы же, вельможи, обратимся к языческим именам: пусть нас крестят Ганнибалами, Цезарями, Помпеями — это великие люди; Лукрециями — в честь прославленной римлянки; Танкредами, Роже, Оливье и Рено — это палadini, которых не затмил еще ни один герой романов; Гекторами, Ахиллами, Гераклами — это полубоги; пусть нарекают нас даже Фебами и Днанами. А если мы пожелаем, никто не может запретить нам именоваться хотя бы Юпитерами или Меркурнями, Венерами или Адоннсами!»

## 23

Вельможи не желают ничему учиться — не только тому, чем они могли бы послужить монарху и государству, но даже тому, что нужно для управления собственными делами, домом и семьей. Они похваляются своим невежеством, позволяют управляющим обирать их и вертеть им, а сами довольствуются тем, что считают себя знатоками вин и ценителями тонкого стола, навещают Фрин и Таис, ведут разговоры о гончих и борзых и в точности знают, сколько

почтовых перегонов от Парнжа до Безансона или Филиппсбурга. Между тем простые граждане знакомятся с внешними и внутренними делами королевства, постигают науку правления, становятся тонкими политиками, изучают сильные и слабые стороны своего государства, помышляют о месте, получают его, возвышаются, достигают могущества и облегчают государю заботы о благе отечества, а вельможи, которые прежде презирали их, склоняются перед ними, почитая за счастье стать их зятьями.

## 24

Сравнивая меж собой людей двух наиболее далеких друг от друга званий, то есть вельмож и простолюдинов, я вижу, что последние довольны жизнью, хотя обладают лишь самым необходимым, а первые — бедны и беспокойны, хотя утопают в излишествах. Человек из народа никому не делает зла, тогда как вельможа никому не желает добра и многим способен причинить большой вред; один живет, занимаясь лишь полезными делами; другой убивает время на дурные забавы; первый простодушен, груб и откровенен, второй под личиной учтивости таит развращенность и злобу. У народа мало ума, у вельмож — души; у первого — хорошие задатки и нет лоска, у вторых — все показное и нет ничего, кроме лоска. Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: «Народом».

## 25

Царедворцы, весьма искушенные в притворстве, очень ловко надевают личину и прячут собственное лицо; тем не менее им не удается скрыть свою злобу и склонность вечно потешаться над ближним, предавая осмеянию то, что вовсе не смешно. Этот редкий талант легко подметить в них с первого взгляда; он, конечно, весьма приятен, когда нужно подшутить над человеком глупым; но еще чаще он лишает их возможности наслаждаться обществом человека умного, который мог бы, к их же собственному удовольствию, раскрыться и блеснуть на тысячу ладов, если бы коварство придворных не вынуждало его быть крайне осторожным. Поэтому он ведет себя сдержанно, замыкается в себе и делает это так умело, что самые завзятые насмешники не находят случая пройтись на его счет.

Монархи обладают всеми жизненными благами, они наслаждаются изобилием, спокойствием и благоденствием: поэтому им доставляет удовольствие посмеяться над карликом, обезьяной, глупцом или нелепой историей; людям, не столь счастливым, нужен более существенный повод для смеха.

Вельможа любит шампанское и терпеть не может сыра бри. Он напивается более дорогим вином, чем простолудин, — в этом и состоит все различие в разгуле сановника и лакея, людей столь различных званий.

На первый взгляд кажется, что монархам порой доставляет удовольствие нарочно стеснять окружающих. Но нет, государи — тоже люди: они пекутся о самих себе, следуют своим склонностям и пристрастиям, заботятся о своих удобствах, и это естественно.

Иной раз кажется, что люди сановные и влиятельные, рассматривая просьбы тех, кто зависит от них в делах, ставят себе за правило чинить им все помехи, каких только могут опасаться последние.

Если вельможа действительно несколько счастливее, чем остальные люди, то это, на мой взгляд, выражается лишь в том, что он чаще имеет власть и повод доставлять другим радость; следовательно, когда ему представляется такой случай, он обязан им воспользоваться и уж подавно не смеет его упускать, когда речь идет о человеке добродетельном. Но так как дело у последнего всегда правое, вельможа должен все устроить сам, не дожидаясь просьб, и позвать к себе подобного человека лишь для того, чтобы принять изъявления благодарности; если дело было нетрудное, вельможе не следует даже упоминать о своей услуге в разговоре с просителем; если же вельможа ему откажет, мне жаль их обоих.

Иные люди от рождения неприступны: это как раз те, в ком нуждаются и от кого зависят другие. Они всегда на ногах; подвижные, как ртуть, они суетятся, размахивают руками, кричат, хлопочут и, подобно тем шутихам, которые запускаются на празднествах, сыплют искры, извергают пламя, мечут громы и молнии, — словом, к ним и не подходи, пока они не потухнут, не упадут и не станут безопасными, а заодно и бесполезными.

Швейцар, камердинер, ливрейный лакей, если только умом они не выше, чем званием, судят о себе не по низкому своему положению, а по знатности и богатству тех, кому служат, и всех без изъятия, кто входит в дом и поднимается мимо них по лестнице, ставят ниже себя и своих господ. Недаром говорится: терпишь от хозяина, терпи и от слуги.

Сановник должен любить своего государя, жену, детей, а после них — людей, наделенных большим умом; пусть он привлекает их к себе, пусть окружает себя ими, чтобы никогда не испытывать в них недостатка. За услуги и помощь, которые он получает от них, порою сам того не замечая, нельзя отплатить не то что пенсионами и прочими щедротами, но даже дружбой и лаской. Сколько эти люди опровергают ложных слухов, сколько зловредных и вздорных выдумок удастся им разоблачить! Они умеют оправдать неудачу благими намерениями, доказать в случае успеха, что замысел был верен, а принятые меры — разумны, восстать против злобы и зависти и объяснить похвальное деяние еще более похвальными соображениями, благоприятно истолковать неловкие поступки, скрыть небольшие промахи и во всем блеске выставить напоказ достоинства, тысячу раз подчеркнуть выгодные подробности и обстоятельства, обратив иронию и насмешки на тех, кто дерзнет в этом сомневаться или утверждать противное. Я знаю, что вельможи берут за правило всегда действовать по-своему, невзирая на пересуды, но мне известно и то, что дать свободу пересудам — значит порою лишить себя возможности действовать.

Оценить достоинства и вознаградить их как подобает — вот два смелых и не терпящих отлагательства поступка, на которые неспособно большинство вельмож.

Ты сановит, ты влиятелен, но этого мало: сделай так, чтобы я уважал тебя и скорбел, утратив твое расположение или не сумев его снискать.

Вы говорите о вельможе или сановнике, что он предупредителен, обязателен, рад услужить каждому; вы подтверждаете это длинным перечнем всего, чем он помог вам в одном важном для вас деле. Я понял: раз вам идут навстречу, значит вы влиятельны, вас знает министр, к вам благоволят власти. Разве не это вы хотели мне дать почувствовать?

Иной говорит вам: «Я обижен на такого-то. Возвысившись, он чересчур занесся, он презирает меня и не хочет знаться со мной». Вы отвечаете: «А я вот не могу на него пожаловаться. Напротив, я им очень доволен. Мне даже кажется, что он весьма учтив». Я опять угадал вашу мысль: вы даете понять, что сановник внимателен к вам, что в приемной он выделяет вас из множества достойных людей, на которых он даже не смотрит из боязни подвергнуть себя неприятной необходимости кивнуть или улыбнуться им.

Когда речь идет о ком-нибудь, особенно о вельможе, выражение «я им доволен» таит в себе тонкий смысл и, без сомнения, означает, что мы довольны собою и теми благодеяниями, которые он нам оказал, равно как и теми, которых он даже не думал оказывать.

Вельмож хвалят куда чаще из желания подчеркнуть свою близость с ним, чем из уважения и благодарности: иной вовсе и не знает того, кого хвалит. Порою тщеславие и легкомыслие берут в нас верх даже над обидой — мы недовольны вельможей, а все-таки его превозносим.

Участвовать в сомнительной затее опасно, еще опасней оказаться при этом сообщником вельможи: он-то выпутается, а вам придется нести двойную ответственность — и за себя и за него.

Государю не хватило бы всей его казны, чтобы вознаградить низких льстецов, принимай он их слова за чистую монету; ему не хватало бы всей его власти, чтобы наказать таких людей, пожелай он соразмерить кару с вредом, который они ему причинили.

Дворянин рискует жизнью ради блага отечества и славы монарха; судья, отправляя правосудие, избавляет государя от части его забот о подданных. И то и другое — высокие и чрезвычайно полезные занятия; люди вряд ли могут избрать себе более похвальное поприще, и мне непонятно, почему это военные и судейские так презирают друг друга.

Хотя вельможа, подвергая опасности свою жизнь, полную изобилия, радости и наслаждений, рискует большим, чем простолюдин, которому нечего терять, кроме своей бедности, следует все же признать, что он получает за это неизмеримо большую награду — славу и громкое имя. Простой солдат не ждет, что о нем узнают: один из многих, он умирает безвестным. Правда, жил он также в безвестности, но все-таки жил. В этом одна из причин того, что людям низкого и холопского звания часто недостает мужества. Напротив, тот, кому высокое происхождение не дает затеряться в толпе, кто, вынужденный жить на виду у всех, стяжает всеобщую хвалу или всеобщее неодобрение, порой способен даже преодолеть свою натуру, если ей не свойственна доблесть, столь присущая людям благородным. Храбрость — это особый настрой ума и сердца, который передается через отцов от предков к потомкам; к нему, пожалуй, сводится и само благородство.

Бросьте меня в гущу войска, сделайте простым солдатом, и я — Терсит; поставьте меня во главе армии, дайте мне помериться силами со всей Европой, и я — Ахилл.

Принцы крови научаются искусству сравнивать даже без помощи науки и правил: они с младенчества живут как бы в самом центре того, что есть на свете лучшего; с этим они и сравнивают всё, что читают, видят и слышат. Каждый, кто слишком далек от Люлли, Расина и Лебрена, встречает у них лишь осуждение.

Учить юных принцев лишь тому, как им не уронить своего достоинства, — излишняя предосторожность, ибо весь двор считает своим долгом и первым признаком учтивости оказывать им уважение, да и сами они не склонны поступиться хотя бы одним из тех знаков почтения, которых позволяет им требовать от каждого их сан; при этом они нередко путают своих придворных и обращаются со всеми одинаково, невзирая на различия положения или знатности. У них есть врожденная гордость, которая сама пробуждается, когда это необходимо. Их нужно учить лишь тому, как держать ее в узде, и наставлять их лишь в добросердечии, честности и знании людей.

Со стороны человека знатного было бы чистым лицемерием не занять без лишних просьб то место, которое приличествует его сану и которое все охотно ему уступают: ему ведь ничего не стоит напустить на себя скромный вид, смешаться с толпой, которая расступается перед ним, и занять в собрании последнее место, чтобы все это увидели и бросились его пересаживать.

Человеку попроще скромность обходится много дороже: если он замешается в толпу, его могут раздавить; если он займет неудобное место, его там и оставят.

Аристарх выходит на площадь с глашатаем и трубочом. Раздается зов трубы, сбегаются люди. Глашатай кричит: «Внимай, народ! Тише, тише! Вон стоит Аристарх. Завтра он совершит доброе дело».

Я скажу прямо и без обиняков: этот человек поступает хорошо; он хочет поступать еще лучше? Пусть делает добро так, чтобы я не знал этого или хотя бы узнавал об этом не от него.

45

Совершая самые похвальные поступки, люди часто все портят и сводят на нет тем, как они их совершают; порою даже начинаешь сомневаться в чистоте их намерений. Кто защищает или превозносит добродетель ради нее самой, кто наказывает или порицает порок лишь ради его исправления, тот делает это просто, естественно, без лишних слов, чудачеств, чванства и притворства: он не говорит важным и наставительным тоном, а уж колким и насмешливым — и подавно; он не устраивает представлений для толпы, а подает благой пример и выполняет свой долг; он не превращает свой поступок в предмет женских пересудов, в повод для кабинетных<sup>1</sup> толков, в пищу для вестовщиков; он не поставляет светским болтунам новых тем для разговоров. Конечно, добро, которое он сделал, получает при этом несколько меньшую огласку, но ведь он его сделал — чего же ему еще желать?

46

Вельможам, должно быть, не нравятся первобытные времена, и они не склонны о них вспоминать: им обидно думать, что у нас с ними общие предки — одни и те же брат и сестра. Все люди — единая семья: их разделяет лишь большая или меньшая степень родства.

47

Феогнид одевается изысканно: он выходит из дому разряженный, как женщина. Не успеет он очутиться на улице, как сразу придает лицу и глазам подобающее выражение, чтобы предстать людям в самом лучшем своем виде, чтобы даже прохожие находили его изящным и никто не мог устоять перед его обаянием. Проходя по залу, он поворачивается и направо, где много народу, и налево,

---

<sup>1</sup> Кабинетом называют в Париже место, куда порядочные люди сходятся для беседы. (Прим. автора.)

где никого нет, кланяется и присутствующим и отсутствующим, обнимает первого встречного, прижимает его к груди, а потом осведомляется, кого это он обнимал. Если кто-нибудь имеет до него дело, даже самое простое, и приходит изложить свою просьбу, Феогнид благосклонно выслушивает его. Он счастлив быть ему полезным, он заклинает его сказать, как можно ему услужить. Тот повторяет просьбу, — тогда Феогнид объявляет, что тут он бессилен, умоляет войти в его положение и не судить его слишком строго. Затем он провожает посетителя до дверей, и тот уходит, обласканный, смущенный и почти довольный, что ему отказали.

48

Занимать высокую должность и надеяться, что ваша заученная любезность и долгие, но холодные объятия произведут впечатление на людей — значит быть о них очень дурного мнения и все-таки хорошо их знать.

49

Памфил разговаривает с людьми, которых встречает в дворцовых залах и подъездах, таким торжественным и важным тоном, словно позволяет им приблизиться к нему, дает аудиенцию, а потом отсылает. Выражения он выбирает пристойные, но обидные, со всеми без разбора ведет себя учтиво, но надменно и напускает на себя ложное величие, которое принижает его и озадачивает тех, кто ему друг и не питает к нему презрения.

Такой человек, как Памфил, полон самомнения, вечно любит себя, думает только о своем достоинстве, своих связях, должности, звании; он не расстается со своими регалиями и постоянно щеголяет ими, чтобы придать себе весу; от него постоянно слышишь: «Мой орден, моя синяя лента»; он то выставляет их напоказ, то прикрывает из тщеславия. Одним словом, Памфил хочет быть вельможей и мнит себя им, но он не вельможа, а подобие его. Иногда он дарит улыбкой ничтожнейшего из людей, то есть человека, наделенного только умом, но так ловко выбирает время для этого, что его никто не может застать с поличным: он сгорел бы от стыда, если бы — о ужас! — его заподозрили в малейшей короткости с тем, кто не богат, не влиятелен и не состоит у министра в друзьях, приживалах

или родственниках. Он строг и холоден с теми, кто еще не успел нажать состояния; встретив вас в галерее, он отворачивается, а на другой день, увидев вас не в таком общедоступном месте или хотя бы в таком же, но в компании вельможи, набирается храбрости, подходит к вам и объявляет: «Вы вчера сделали вид, что не заметили нас». То он внезапно покидает вас, чтобы подойти к сановнику или помощнику министра, то, застав их за беседой с вами, оттирает вас и уводит их; в другой раз вы обращаетесь к нему, но он не останавливается, принуждает вас следовать за ним и говорит с вами так громко, что все, кто проходит мимо, наслаждаются этой сценой. Словом, памфилы всегда как бы лицедействуют на подмостках, они насквозь живы и больше всего на свете ненавидят естественность; это сущие комедианты, настоящие Флоридоры и Мондори.

Но я еще не все сказал о Памфилах. Они принижены и трусливы в присутствии государей и министров, высокомерны и самоуверенны с теми, чье единственное достоинство — добродетель; они молчаливы и застенчивы с учеными, говорливы, смелы в речах и решительны в суждениях с невеждами; с судейскими они беседуют о войне, с откупщиком — о политике, с женщинами — об истории; с богословом они поэты, с поэтом — геометры; они не связывают себя никакими житейскими правилами, а тем более — принципами, и плывут по течению, подгоняемые ветром удачи и несомые рекой богатства; не имея своего мнения, они по мере надобности заимствуют его, но не у людей умных, одаренных или добродетельных, а у тех, которые в моде.

## 50

Мы питаем к вельможам и сановникам бесплодную зависть и бессильную ненависть, которые, отнюдь не уменьшая заманчивости их высокого положения, лишь усугубляют нашу собственную нищету невыносимым зрелищем чужого счастья. Как вылечить такую застарелую и заразительную болезнь души? Будем довольствоваться малым, а если сможем, то еще меньшим, научимся мириться с утратами — вот единственное безотказное лекарство, и я готов испробовать его на себе. Оно избавит меня от желания уговаривать швейцара и умягчать секретаря, протискиваться к дверям министра через несметную толпу просителей и придворных, от которой по несколько раз

в день ломится его дом, томиться в его приемной, просить, трепеща и запинаясь, его помощи в правом деле, терпеть его надменность, колкие насмешки и слишком лаконичные ответы; оно исцелит меня от зависти и ненависти к нему. Он меня ни о чем не просит, я его тоже, следовательно, мы равны во всем, если, пожалуй, не считать того, что он вечно в тревоге, а я наслаждаюсь покоем.

51

Вельможам часто представляются случаи сделать нам добро, но они редко ими пользуются; желая сделать нам зло, они также не всегда находят эту возможность. Таким образом, тому, кто уповает на них, легко обмануться в своей надежде, если она основана лишь на вере в них или на страхе перед ними: иной человек долго живет на свете и наконец умирает, не будучи им обязан ни своим благополучием, ни своим злополучием, более того — не дождавшись от них самой ничтожной услуги. Мы должны их чтить, потому что они сановиты, а мы люди маленькие и потому что другие, еще более незначительные, чем мы, так же чтят нас самих.

52

И при дворе и в народе — одни и те же страсти, слабости, низости, заблуждения, семейные и родственные раздоры, зависть и недоброжелательство; всюду есть невестки и свекрови, мужья и жены, всюду люди разводятся, ссорятся и на время мирятся; везде мы находим недовольство, гнев, предвзятость, пересуды и, как говорится, злопыхательство. Умеющий видеть легко обнаружит, что какая-нибудь улица Сен-Дени в маленьком городке — это те же В. или Ф.; только там ненавидят с большей заносчивостью, надменностью и, пожалуй, с большим достоинством, вредят друг другу более ловко и хитро, предаются гневу более красноречиво и наносят обиды в более учтивых и пристойных выражениях, оскорбляя человека и черня его имя, но щадя чистоту языка. Пороки там всегда скрыты под благовидной личиной, но в существе своем, повторяю, остаются теми же, каковы они у людей низкого звания: там можно встретить любую подлость, любую слабость, любой недостойный поступок. Все, кто высоко вознесен благодаря своему происхождению, монаршим

милостям или сану, все мужчины, столь взысканные мудростью и талантами, все женщины, столь прославленные умом и учтивостью, — все они презирают народ, хотя они сами — тоже народ.

Сказать «народ» — значит сказать многое. Это — всеобъемлющее понятие, смысл которого удивительно широк, а значения бесчисленны: его можно противопоставлять слову «вельможи», и тогда «народ» означает «толпа» или «простонародье»; его можно противопоставлять словам «мудрец», «талант», «человек добродетельный», и тогда оно будет охватывать как людей маленьких, так и вельмож.

53

Вельможи руководствуются только велениями чувства: это праздные души, склонные поддаваться первому впечатлению. Сталкиваясь с чем-нибудь, они сначала говорят об этом слишком много, потом говорят меньше, наконец вообще перестают говорить и больше уже не заговорят... Что бы это ни было — поступок, ряд поступков, произведение, событие — они все начисто забывают. Не ждите от них ни последовательности, ни предусмотрительности, ни рассудительности, ни признательности, ни награды.

54

По отношению к некоторым людям мы всегда впадаем в крайности. Когда они умирают, в народе ходят сатиры на них, а под сводами храмов гремит воздаваемая им хвала. Иногда они не стоят ни пасквилей, ни надгробных речей, иногда заслуживают и тех и других.

55

О сильных мира сего лучше молчать: говорить о них хорошо — почти всегда значит льстить им; говорить о них дурно — опасно, пока они живы, и подло, когда они мертвы.

## Глава X

### О МОНАРХЕ ИЛИ О ГОСУДАРСТВЕ

#### 1

Когда человек, не предубежденный в пользу своей страны, сравнивает различные образы правления, он видит, что невозможно решить, какой из них лучше: в каждом есть свои дурные и свои хорошие стороны. Самое разумное и верное — счесть наилучшим тот, при котором ты родился, и примириться с ним.

#### 2

Чтобы управлять людьми, тиран не нуждается ни в искусстве, ни в мудрости: политика, которая сводится к пролитию крови, всегда недалёковидна и лишена гибкости. Она учит убивать тех, кто служит помехой нашему честолюбию; поэтому человек, жестокий от природы, следует ей без труда. Это самый гнусный и самый грубый способ удержаться у власти или прийти к ней.

#### 3

Усыплять народ празднествами, зрелищами, роскошью, пышностью, наслаждениями, делать его тщеславным, изнеженным, никчемным, ублажать его пустяками — вот безошибочная политика, к которой с давних пор прибегают во многих государствах. Чего только не добивался деспотизм ценою такой снисходительности!

У подданных деспота нет родины. Мысль о ней вытеснена корыстью, честолюбием, раболепством.

При нововведениях и переменах в государстве правители обычно думают не столько о необходимости реформ, сколько об их своевременности: бывают обстоятельства, подсказывающие, что нельзя слишком раздражать народ; бывают другие, из коих ясно, что с ним можно не считаться. Сегодня вы властны лишить какой-нибудь город всех его вольностей, прав, привилегий; завтра не дерзайте изменить хотя бы цвет его знамен.

Когда народ охвачен волнением, никто не может сказать, как восстановить спокойствие; когда он умиротворен, никто не знает, что может нарушить его спокойствие.

Бывает зло, с которым государство мирится только потому, что оно предупреждает или устраняет еще большее зло. Бывает и другое, которое объясняется пороками государственного строя, порождено непорядками или дурными обычаями; тем не менее его существование и последствия менее пагубны, чем введение нового, более справедливого закона или более разумного обычая. Бывает и такое зло, которое можно исправить каким-нибудь новшеством или реформой, но те, в свой черед, представляют собою зло, и притом весьма опасное. Есть зло скрытое, словно нечистоты в клоаке, стыдливо погребенное под покровом тайны и мрака; стоит его коснуться или обнажить, как оно начинает источать яд и зловоние; даже самые проникательные умы порою не могут решить, что лучше — понять его сущность или закрыть на него глаза. Нередко государство терпит довольно серьезное зло, так как оно предотвращает множество мелких зол и неурядиц, которые в противном случае были бы неизбежны и непоправимы. Бывает зло, от которого стонет каждый в отдельности, и все-

таки оно оказывается благом для общества в целом, хотя последнее — не что иное, как совокупность отдельных людей. Случается и так, что зло, причиняемое отдельной личности, приносит пользу и выгоду каждой семье. Есть зло, которое разоряет или бесчестит отдельные семьи, но способствует благоденствию и сохранности государственного механизма и правительства. Иное зло подрывает основы государства и воздвигает на его обломках новое. Наконец, бывает и такое зло, которое повергало во прах великие империи и стирало всякое воспоминание о них, изменяя и обновляя тем самым облик вселенной.

8

Какое дело государству, что Эргаст богат, что у него превосходные гончие, что он утопает в роскоши, устанавливает моды на одежду и экипажи? Можно ли принимать в расчет частное лицо там, где речь идет о выгоде и пользе всего общества? Утешением народов, несущих тяжкое бремя, является сознание того, что они облегчают жребий государя и что государь — единственный, кого они обогащают: они не считают своим долгом приумножать благосостояние Эргаста.

9

У войны за плечами тысячелетия: она существовала во все века, она всегда наполняла мир вдовами и сиротами, лишала семьи наследников и уничтожала нескольких братьев сразу в одном и том же сражении. О юный Сокур, я печалюсь о твоей доблести, о твоей чистоте, о твоём уже зрелом, пронизательном и возвышенном уме! Я оплакиваю твою безвременную смерть, которая соединила тебя с твоим неустрашимым братом и отняла у двора, где ты едва успел сделать свои первые шаги. Какое прискорбное и вместе с тем обыденное несчастье! С незапамятных времен люди словно сговорились разорять, жечь, убивать, резать друг друга ради лишней пяди земли; чтобы делать это более изобретательно и безошибочно, они придумали превосходные правила, которые наименовали военным искусством, поставили в зависимость от соблюдения этих правил долговечность нашего имени и славы и с тех пор из столетия в столетие изощрялись друг перед другом во взаимном истреблении. Несправедливость, присутствующая

первым людям, — вот где истоки войны и необходимости ставить над собой начальников, которые определяли бы права каждого и решали бы все споры; если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой.

10

Тот же народ, который ведет мирное существование у домашнего очага, в кругу семьи, в стенах большого города, где никто не угрожает ни его жизни, ни достоянию, порою алчет огня и крови, ведет войны, учиняет поджоги и убийства, с нетерпением ожидает, когда же сойдутся выступившие в поход армии. Если они уже сошлись, он недоволен, почему не происходит сражения; а если оно произошло — почему бой был недостаточно кровав и на поле его легло меньше десяти тысяч человек. Часто он доходит до того, что из любви к переменам, новизне и необычности забывает о самых насущных своих интересах, покое и безопасности: есть люди, которые согласились бы вторично увидеть, как враг подступает к стенам Дижона или Корби, как на улицах воздвигают баррикады и протягивают цепи, лишь бы первыми сообщить или услышать весть об этом.

11

Демофил, сидя справа от меня, громко стонает: «Все кончено, государство погибло или, во всяком случае, стоит на краю гибели. Как противостоять столь сильной и всеобщей коалиции? Можно ли не то что победить, а хотя бы отразить без посторонней помощи столь могущественных и многочисленных врагов? С тех пор как существуют монархии, история не знает подобных примеров. Тут не устоит даже герой, даже Ахилл. Мы совершили грубые ошибки, — прибавляет он. — Я-то уж знаю, что говорю: я сам военный, бывал на войне, да и читал немало исторических книг». Затем, вспомнив Оливье Ледена и Жака Кера, он восхищенно восклицает: «Вот это были люди! Вот это были министры!»

Он рассказывает новости — все как на подбор удручающие и безотрадные: то наш отряд заманили в засаду и перерезали; то войска, защищавшие один из замков, сдались на милость победителя и перебиты до последнего.

Если вы говорите, что это ложный и ничем не подтвержденный слух, он, не обращая на вас внимания, присовокупляет, что генерал такой-то убит, и хотя тот в действительности лишь легко ранен, в чем вы и уверяете Демофила, он все-таки оплакивает его смерть, жалеет его вдову, сирот, государство, самого себя: он, видите ли, потерял в лице покойного доброго друга и сильного покровителя.

Он твердит, что немецкая конница непобедима, и бледнеет при одном упоминании об имперских кирасирах. Если нас атакуют под такой-то крепостью, продолжает он, надо будет снять осаду или перейти к обороне, не ввязываясь в бой, а если его все-таки придется дать, мы проиграем и неприятель немедленно выйдет к нашей границе. А так как у Демофила враги не ходят, а летают, то они уже в самом сердце королевства: он слышит, как горожане повсюду бьют в набат и поднимают тревогу; он озабочен судьбой своего имущества и поместий; он ломает себе голову, куда отправить деньги, мебель, семейство, куда бежать самому — в Швейцарию или Венецию?

Но тут сидящий слева от меня Басилид разом выставляет армию в триста тысяч человек, не соглашаясь убавить ее ни на одну бригаду: у него в голове список эскадронов и батальонов, генералов и офицеров; он не забывает ни артиллерии, ни обоза. Все эти силы в полном его распоряжении: столько-то он посылает в Германию, столько-то во Фландрию, небольшой резерв оставляет в Альпах, еще меньший — в Пиренеях, остаток же переправляет за море. Он знает пути следования всех этих войск, ему известно, что они сделают и чего не сделают, — словом, вам кажется, будто он наперсник государя и поверенный тайни министра. Если неприятель только что проиграл сражение и оставил на поле боя девять-десять тысяч человек, Басилид оценивает его потери ровно в тридцать тысяч убитых — не больше и не меньше, ибо он, будучи столь осведомленной особой, всегда располагает цифрами точными и бесспорными.

Узнав поутру, что мы потеряли какую-нибудь крепость, он не только посылает отказ от приглашения друзьям, которыми накануне был зван на обед, но в этот день и вовсе не обедает, а если ужинает, то без аппетита. Если наши осаждают сильную и укрепленную по всем правилам крепость, в достатке снабженную съестными и

боевыми припасами и обороняемую надежным гарнизоном под начальством человека, испытанного в боях, он уверяет вас, что в этом городе есть слабые, плохо прикрытые места, что там не хватает пороху, что комендант неопытен и что после первой же недели осадных работ враги сдадутся на капитуляцию.

В другой раз он, запыхавшись, прибегает к вам и, едва успев отдышаться, восклицает: «Важные новости: противник разбит наголову, командующий и офицеры, по крайней мере большинство их, убиты и уничтожены. Какой разгром! — продолжает он. — Ничего не скажешь, нам везет». Тут он садится и переводит дух — он выложил все свои новости, упустив лишь одну подробность: никакой битвы не было. После этого он сообщает, что такой-то государь вышел из коалиции и порвал со своими союзниками, а другой собирается последовать его примеру. Как и простонародье, он ни минуты не сомневается в том, что третий из враждебных монархов умер, более того — ему известно, где похоронен покойный; когда этим слухам перестают верить даже на рынке и в предместьях, он все равно готов биться об заклад, что они верны. Ему известно из надежного источника, что Т...к...л... берет верх над императором, что султан не хочет мира и «мощно» вооружается, а его визирь вот-вот снова подступит к воротам Вены. Он всплескивает руками и содрогается, ибо уверен, что это событие неотвратимо. Тройственный союз в его изображении похож на Цербера, а враги — на чудовищ, которых надлежит истребить; у него только и разговору, что о лаврах, победах, триумфах и трофеях.

В дружеской беседе он прибегает к таким оборотам, как: «наш августейший герой», «наш великий повелитель», «наш непобедимый монарх». Он ни за что не согласится сказать просто: «У короля много врагов, они могучи, едины, ожесточены; но он побеждал их раньше, надеюсь, победит и теперь». Такой стиль, слишком ясный и решительный для Демофила, недостаточно пышен и надут для Василида: у него наготове совсем другие выражения. Он сочиняет надписи для арок иobelisks, которые украсят столицу в день возвращения наших войск. Когда он слышит, что армии сошлись в ожидании боя или что какая-нибудь крепость обложена, он велит достать свое парадное одеяние и держать наготове, дабы иметь его под рукой на случай благодарственного молебствия в соборе.

Если послы и представители монархов и республик съезжаются, чтобы обсудить какое-нибудь дело, и оно отнимает у них больше времени, чем размещение по чинам и даже дебаты о порядке председательствования и прочие формальности, — значит, это дело является из ряда вон выходящим по своей важности и запутанности.

Министр или посол — это хамелеон, Протей. Подобно ловкому игроку, он прячет свой истинный нрав и характер как для того, чтобы избежать толков и воспрепятствовать попыткам проникнуть в его планы, так и для того, чтобы в пылу увлечения или по слабости самому не выдать тайну. Иногда он надевает на себя личину, которая больше всего соответствует его намерениям и делает его в глазах противников тем, чем ему выгодно казаться. Однако что бы он ни старался замаскировать — большую силу или большую слабость, — он равно остается твердым и непреклонным, дабы лишить соперников надежды добиться от него многого. Иногда же, напротив, он уступчив, ибо, предоставляя другим случай обратиться к нему с просьбой, он тем самым обеспечивает такую же возможность себе самому. Он то изворотлив и непроницаем — например, скрывает правду, сообщая о ней вслух, ибо ему важно, чтобы она была высказана и чтобы ей все-таки не поверили; то искренен и откровенен — например, умалчивает о том, чего никто не должен знать, и все же ловко создает впечатление, будто сказал все. Он живой и красноречивый собеседник, когда желает развязать другим язык или не дать им высказать то, чего он не хочет или не должен знать; когда сам собирается вернуть несколько незначительных, но противоречивых и затемняющих друг друга фраз, которые вселяют в слушателей тревогу или доверие; когда ему нужно свести на нет вырвавшееся у него признание другим признанием. Он холоден и молчалив, когда ему нужно вынудить враждебную сторону говорить, а самому подольше слушать, либо заставить выслушать себя самого, либо высказаться как можно более веско и внушительно, либо прибегнуть к обещаниям или угрозам, которые нанесут решительный удар и поколеблют сопротивление.

В одном случае он берет слово первым и открывает свои карты, чтобы вывести интриги и происки иностранных министров, уяснить себе их возражения и доводы,

принять свои меры и подготовить ответ; в другом — он говорит последним, чтобы не тратить слов впустую, быть точным, безошибочно знать, на что следует рассчитывать ему и его союзникам, и отдавать себе отчет в том, чего он может просить и добиться. Иногда он выражается ясно и категорически, но еще чаще — уклончиво и намеками, прибегая к двусмысленным выражениям и оборотам, которым он волен придавать то или иное значение, смотря по тому, каковы обстоятельства и что ему выгодно. Он просит малого, когда не хочет уступить во многом; он просит многого, чтобы добиться малого, но зато наверняка. Сначала он требует мелочей, рассчитывая, что позднее они не будут приняты в расчет и не помешают ему домогаться серьезных уступок. Напротив, он избегает вначале настаивать на существенном пункте, если это может помешать ему потом настаивать на нескольких второстепенных, но в совокупности превосходящих первый по важности. Он запрашивает чересчур много, чтобы натолкнуться на отказ и тем самым иметь право или благовидный предлог в свой черед отказать в том, чего, как он чувствует, у него потребуют и в чем он не желает идти на уступки. В последнем случае он старается как подчеркнуть непомерность требований и по возможности убедить противника в обоснованности своего отказа, так и оспорить доводы, ссылаясь на которые ему отказывают в его домогательствах. Он равно стремится как превознести и преувеличить то небольшое, что предлагает сам, так и откровенно осмеять то небольшое, в чем уступают ему.

Он делает неискренние и слишком заманчивые предложения, которые вызывают у противной стороны недоверие и толкают ее на отказ от того, что и так не было бы ей предоставлено; воспользовавшись этим, он со своей стороны предъявляет несуразные притязания, чтобы доказать неправоту тех, кто их отвергает. Он соглашается дать больше, чем требуют, чтобы получить больше, чем дал. Он заставляет долго просить, убеждать, уговаривать себя в маловажном деле, чтобы лишить надежды и желания чего-нибудь добиться от него в более серьезном. Если же он все-таки идет на уступки, то лишь при условии, что разделит выгоды и преимущества с теми, кому они достанутся. Если он косвенно или прямо защищает союзника, значит, это принесет пользу ему самому и будет способствовать достижению поставленной им цели. Он разглаголь-

ствуется о мире, согласии, всеобщей безопасности и всеобщем благоденствии, а на деле думает только о своих интересах, то есть о выгоде своего государя или своей республики. Он то примиряет недавних противников, то ссорит прежних союзников; то устрашает тех, кто силен и могуществен, то обнадеживает слабых; то объединяет нескольких слабых против одного сильного, чтобы восстановить равновесие, то присоединяется к ним, чтобы создать перевес сил, но дорого берет за свое покровительство и помощь.

Он умеет прельстить тех, с кем ведет переговоры: ловкими маневрами, топкими и хитрыми намеками он наталкивает их на мысль об огромных выгодах, богатствах, отличиях, которые будут наградой за известную уступчивость с их стороны, отнюдь не идущую вразрез ни с их миссией, ни с намерениями их повелителей. Он старается, чтобы его самого тоже не считали неприступным с этой стороны; выказывает некоторую чувствительность ко всему, что касается его личного благосостояния; набивается, таким образом, на предложения, которые открывают ему самые тайные намерения противников, самые глубокие их замыслы, самые сильные их средства, и обращает все это себе на пользу. Если он ущемлен в нескольких пунктах, по которым достигнуто наконец соглашение, он громко негодует; если ущемлены его противники, он негодует еще громче и вынуждает тех, кто и без того проиграл, оправдываться и защищаться.

Вся его деятельность направляется двором, все его шаги заранее предуказаны, даже самое незначительное его предложение предписано ему свыше; тем не менее в каждом трудном случае, в каждом спорном вопросе он действует так, словно только что принял решение сам и руководствовался при этом лишь мирными намерениями. Он дерзает даже объявлять во всеуслышание, что склонит двор на свою сторону и что предложения его не будут дезавуированы. Он распускает ложный слух об ограниченном характере своей миссии, хотя облечен чрезвычайными полномочиями, к которым прибегает лишь в крайности, в минуты, когда не пустить их в ход было бы опасно. Его интриги служат прежде всего достижению целей важных и существенных, которым он всегда готов принести в жертву мелочи и ложный престиж.

Он хладнокровен, вооружен смелостью и терпением, не знает усталости сам, но умеет доводить других до изнеможения и отчаяния. Готовый ко всему, он не страшится медлительности, проволочек, упреков, подозрений, недоверия, трудностей и преград, ибо убежден, что только время и стечение обстоятельств могут повернуть ход событий и направить умы в желательную для него сторону. Порою он даже прикидывается, будто склонен прервать переговоры, хотя как раз в это время больше всего хочет их продолжать; если же, напротив, ему дано точное предписание употребить все усилия, чтобы прервать их, он с этой целью всемерно настаивает на их продолжении и окончании.

Если происходит важное событие, он либо упорно стоит на своем, либо уступает, в зависимости от того, что ему выгоднее; а если его предусмотрительность позволила ему предугадать новый оборот дел, он либо ускоряет его, либо замедляет, смотря по тому, что это сулит государству, ради которого он трудится, и таким образом направляет события сообразно своим видам. Он принимает в расчет все: время, место, собственную силу или слабость, особенности тех наций, с которыми ведет переговоры, нрав и характер лиц, с которыми общается. Все его замыслы, нравственные правила, политические хитрости служат одной задаче — не дать в обман самому и обмануть других.

### 13

Характер французов обязывает их государя быть серьезным.

### 14

Одно из несчастий государя заключается в том, что он всегда боится выдать тайны, которых у него так много. Счастье для него, если находится верный человек, способный переложить это бремя на свои плечи!

### 15

Монарху не хватает лишь одного — радостей частной жизни. Утешить его в столь великом лишении могут только бескорыстная дружба и преданность друзей.

Истинный монарх находит порой отраду в том, что на время забывает, кто он такой, сходит с подмостков и, сняв трагический плащ и котурны, играет перед наперсником роль обыкновенного человека.

Ничто не делает такой чести государю, как скромность фаворита.

Фаворит всегда одинок: у него нет ни привязанностей, ни друзей. Он окружен родственниками и льстецами, но не дорожит ими. Он оторван от всех и как бы всем чужд.

Нет сомнений, что фаворит, наделенный известной силой и высотой духа, часто испытывает смущение и замешательство, видя, насколько низки, мелочны, льстивы, угодливы и притворно внимательны к нему люди, заискивающие в нем, окружающие его и бегущие за ним, как лакеи; оставаясь с ними наедине, он платит им за раболепие презрением и насмешкой.

Позвольте ли дать вам совет, о сановники, министры, фавориты? Не уповайте на то, что ваши потомки сумеют поддержать вашу славу и честь вашего имени: титулы забываются, милости приходят к концу, должности утрачиваются, богатства иссякают, таланты вырождаются. Правда, у вас есть дети, достойные вас и — скажу больше — способные удержаться на высоте, достигнутой вами. Но кто поручится, что и внуки ваши будут такими же? Если вы не верите мне, взгляните хоть раз на тех, кого вы обычно не достаиваете взглядом, кого вы презираете: при всей вашей знатности у вас и у них общие предки. Будьте же добродетельны и человечны. А если вы спросите меня: «Что это нам даст?» — я отвечу: «Будьте человечны и

доородетельны, и вы сделаетесь хозяевами своей посмертной судьбы, перестав зависеть от ваших потомков. Вы обретете уверенность, что ваше имя проживет столько же, сколько просуществует государство, и что тогда, когда людям станут показывать развалины ваших замков или, может быть, всего лишь то место, где они высились встарь, мысль о ваших достохвальных деяниях все же будет свежа в памяти народов. С любопытством глядя на ваши портреты и на медали, выбитые в вашу честь, люди скажут: „Человек, на чье изображение мы смотрим, бестрепетно и смело говорил со своим повелителем и больше страшился причинить ему вред, чем вызвать его неудовольствие. Благодаря этому человеку его государь стал еще великодушнее и милостивее и мог с полным правом говорить о своей столице и своем народе: «Мой добрый город, мой любезный народ». А вот портрет другого. Видите, как решительны его черты, как строг, важен, величав весь его облик? Его слава возрастает год от году, самые великие политики не выдерживают сравнения с ним. Он задался высокой целью — укрепить власть государя и водворить в стране спокойствие, унизив вельмож. Ни мятежи, ни заговоры, ни измена, ни угроза смерти, ни тяжкие недуги — ничто не могло его оторвать от этого замысла. Он нашел, сверх того, время, чтобы приступить к делу, продолженному и завершеному впоследствии одним из наших лучших и величайших королей, — к искоренению ереси”».

## 21

Самая тонкая и благовидная приманка, на которую ловят вельмож их управляющие, а королей — их министры, состоит в настойчивых советах постоянно приобретать и обогащаться. Какое мудрое наставление, какое полезное и благое правило! Вот уж поистине золотые россыпи, сущее Перу — по крайней мере для тех, кому удавалось внушить эту мысль своим повелителям!

## 22

Народу выпадает великое счастье, когда монарх облекает своим доверием и назначает министрами тех, кого назначили бы сами подданные, будь это в их власти.

Искусство входить во все подробности и с неусыпным вниманием относиться к малейшим нуждам государства составляет существенную особенность мудрого правления; по правде сказать, короли и министры в последнее время слишком пренебрегают этим искусством, хотя весьма желательно видеть его в монархе, им не наделенном, и чрезвычайно отраднo наблюдать в монархе, им отличающемся. В самом деле, возрастают ли безопасность и благоденствие народа только оттого, что государь раздвигает границы своей страны, превращая вражеские владения в провинции своего королевства; что он выходит победителем из всех битв и осад и настигает врагов как на поле боя, так и в самых неприступных крепостях; что другие нации призывают друг друга на помощь, дабы объединенными усилиями остановить его, а он, невзирая на тщетные их попытки, продвигается все дальше и постоянно берет верх над ними; что последние надежды противников рушатся ввиду несокрушимого здоровья этого монарха, которое позволяет ему с радостью видеть, как принцы — его внуки, поддерживая и приумножая его славу, выступают в поход, овладевают грозными твердынями, покоряют новые государства, командуют старыми испытанными военачальниками не столько по праву сана и рождения, сколько по праву таланта и мудрости, идут по величавым следам своего победоносного деда и подражают ему в доброте, благоразумии, справедливости, бдительности, бесстрашии? Короче говоря, какая мне, равно как и всему народу, была бы польза от того, что государь удачлив, что он сам и его близкие шествуют по дороге славы, что отечество мое стало грозным и могущественным, если бы я сам жил под гнетом печали, тревог и нищеты; если бы, избавленный от набегов неприятеля, я подвергался зато опасности стать жертвой убийц, бесчинствующих на площадях и улицах столицы, и больше боялся грабителей и разбойников на городских перекрестках, чем в дремучем лесу непроглядной ночью; если бы спокойствие, порядок и чистота не делали пребывание в городах приятным, а достаток не украшал их всеми радостями светского общения; если бы, беззащитный и никем не поддерживаемый, я страдал на своей ферме от соседства вельможи и не был огражден законом от посягательств последнего; если бы я не имел к своим услугам

учителей, и притом отличных, чтобы наставлять моих детей в искусствах и науках, которые когда-нибудь упрочат их положение в жизни; если бы мне было труднее, чем ныне, когда повсеместно процветает торговля, носить тонкие ткани, питаться свежим мясом и покупать все это по дешевой цене; если бы, наконец, благодаря попечениям государя я не был столь же доволен своим жребием, сколь он доволен своим, которым обязан собственной доблести?

24

Восемь или десять тысяч человек для государя — все равно что монета, которой он платит за крепость или победу; стараясь сделать это подешевле, щадя людей, он уподобляется тому, кто торгуется, потому что знает цену деньгам.

25

Все процветает в стране, где никто не делает различия между интересами государства и государя.

26

Именованье государя «отцом народа» — значит не столько воздавать ему хвалу, сколько называть его настоящим именем и правильно понимать истинное назначение монарха.

27

Между долгом монарха по отношению к подданным и долгом подданных по отношению к монарху есть связь или, точнее, обоюдная зависимость. Не берусь судить, какой из них тягостней и обременительней, ибо здесь пришлось бы сделать выбор между беспрекословной готовностью оказывать почтение и помощь, служить, подчиняться и покорствовать, с одной стороны, и обязанностью быть всегда добрым и справедливым, заботиться, защищать и покровительствовать — с другой. Утверждение, что государь волен в жизни и смерти подданных, означает лишь, что преступность людей ставит их судьбу в зависимость от законов и правосудия, носителем которого является монарх; добавлять же, что он неограниченный властелин достоинства своих подданных и может, не задумываясь, без

разбора и отчета, распоряжаться им, — значит говорить языком льстеца и выражать мнение фаворита, хотя и тот не посмел бы повторить это на смертном одре.

## 28

Порой на закате погожего дня вы видите, как большое стадо, рассыпавшись по холму, мирно щиплет тимьян и чебрец или пасется на лугу, поросшем низкой и сочной травой, до которой не добралась коса крестьянина. Рядом с овцами стоит усердный и заботливый пастух: он не сводит с них глаз, идет вслед за ними, перегоняет их на новое пастбище. Если они разбрелись, он их собирает; если появился жадный волк, он спускает пса, и тот прогоняет хищника. Он кормит их и стережет. Не успевает заняться заря, как он уже в поле; он уходит домой не раньше, чем зайдет солнце. Как он прилежен и бдителен, как тяжела его служба! Кому, по-вашему, живется приятней и привольней — пастуху или овцам? Стадо ли создано для пастуха или пастух для стада? Вот бесхитростное олицетворение народа и государя, если только последний — подлинный государь.

Монарх, окруженный роскошью и пышностью, — это пастух в одежде, усыпанной золотом и камнями, с золотым посохом в руке, с овчаркой в золотом ошейнике, на парчовой или шелковой сворке. Какая польза стаду от этого золота? Разве оно защитит его от волков?

## 29

Какое положение сулит больше счастья, нежели то, которое ежеминутно дает одному человеку возможность облагодетельствовать тысячи людей? Какое место чревата большими опасностями, нежели то, на котором он ежедневно рискует причинить вред миллионам?

## 30

Если здесь, на земле, нет более естественной, заветной и великой радости для человека, чем чувствовать себя любимым, и если короли — тоже люди, может ли им показаться чрезмерной цена, которую покупается сердце народа?

На свете нет таких правил и приемов, которые всегда и безошибочно помогали бы мудро править людьми: тут нужно применяться к времени и обстоятельствам, а это зависит от благоразумия и дальновидности тех, кто правит. Поэтому нельзя управлять безупречно, не обладая глубочайшим умом, но и при таком условии это было бы, пожалуй, невозможно, если бы привычка народа к покорности и повиновению не облегчала дела наполовину.

Обязанности людей, занимающих первые должности в государстве, где правит великий король, всегда несложны и выполняются ими без всяких усилий: все идет само собою, престиж и гений государя проторяют сановникам дорогу, избавляют их от трудностей и ведут страну к такому благоденствию, которое превосходит их ожидания. Вся их заслуга — в умении повиноваться.

Если трудно приходится человеку, который обременен семьей, если нелегко отвечать даже за самого себя, то каково тому, кто несет на себе бремя судеб целого королевства! Вознагражден ли государь за свои тяжкие труды раболепством придворных и той радостью, какую доставляет ему неограниченная власть? Я думаю о неизведанных, неверных и опасных путях, которыми он порою идет во имя спокойствия страны; я вспоминаю о крайних, но необходимых средствах, к которым он часто прибегает ради высоких целей; я знаю, что ему придется отвечать за благоденствие своего народа перед самим богом, что в его руках добро и зло, что неведение не послужит ему оправданием, — и я задаю себе вопрос: «Хотел бы я царствовать? Стоит ли человеку, сколько-нибудь счастливому в частной жизни, отказываться от нее ради венца? Не слишком ли тяжок королевский сан даже для того, кто облечен им по праву рождения?»

В каких только дарах небес не нуждается мудрый правитель! Он должен родиться от венценосцев; отличаться

властным и величавым обликом, который внушает почтение придворным и действует на воображение народа, всегда жаждущего увидеть государя; постоянно быть ровным в обращении, чуждым колкой насмешливости или достаточно благоразумным, чтобы сдерживать свою склонность к ней; не позволять себе угроз и упреков, не поддаваться гневу и держать всех в повиновении.

Он должен обладать быстрым и пронизательным умом; искренним и открытым сердцем, чья кажущаяся бесхитрость привлекала бы к нему друзей, слуг и союзников; умением быть сдержанным, скрытным, непроницаемым во всем, что касается его намерений и планов, серьезным и важным на людях, кратким, точным и полным достоинства в совете и во время бесед с послами других держав.

Он должен оказывать милости так, чтобы их считали истинными благодеяниями; правильно выбирать людей, достойных награды; раздавать должности и чины в соответствии с умом, талантами и характером соискателей; не делать ошибок при назначении министров и военачальников.

Он должен отличаться твердостью, постоянством и решительностью суждений, чтобы каждое его начинание могло предстать в самом лучшем и выгодном свете; прямою и справедливою, достойною подражания и столь неуклонной, что, вопреки собственным интересам, он будет становиться порою на сторону народа, союзников и даже противников; острой и безошибочной памятью, дабы не забывать нужд, лиц, имен и просьб подданных; многосторонностью, позволяющей думать не только о внешних сношениях, торговле, правилах государственной мудрости, политических целях, расширении границ, завоевании новых областей и постройке множества неприступных крепостей для обороны последних, но и о потребностях самого государства, о частностях его внутренней жизни, об искоренении ложной, подозрительной и враждебной трону ереси, если она распространена в стране, об очищении жестоких и богопротивных нравов, если они царят в его владениях, о преобразовании законов и обычаев, если они влекут за собой злоупотребления, о создании неусыпной полиции для удобства и безопасности горожан, о постройке великолепных зданий, придающих блеск и величие городам.

Он должен сурово карать низменные пороки, собственным примером способствовать торжеству благочестия и

добродетели, защищать церковь, ее права, служителей вольности, опекать подданных, как родных детей, постоянно стараться облегчать их участь, уменьшая подати и взимая их так, чтобы не разорять население.

Он должен быть талантливым полководцем, всегда бодрым, прилежным, трудолюбивым, повелевать несметными армиями, самолично командовать ими, сохранять хладнокровие в минуты опасности и щадить свою жизнь лишь ради спасения государства, ставя благо и славу его выше собственной безопасности. Он должен обладать неограниченной властью, которая не оставит места для происков, интриг, заговоров, сотрет неизмеримое расстояние, отделяющее порою вельмож от простолюдинов, сблизит их и равно приучит к повиновению; обширными познаниями, которые позволят ему смотреть на все собственными глазами, действовать без промедления и самостоятельно, чтобы его полководцы, даже находясь вдали от него, оставались лишь его генералами, а министры — только министрами; глубокой мудростью, которая поможет ему вовремя начинать войну, побеждать, умело пользоваться победой, заключать мир, нарушать его, а иной раз, смотря по обстоятельствам, навязывать его неприятелю; умением класть предел своему пылкому честолюбию и жажде завоеваний, находить, невзирая на тайных и явных врагов, досуг для игр, празднеств, зрелищ, покровительствовать искусствам и наукам, задумывать и осуществлять постройку великолепных зданий; высоким и могучим духом, который вселит в подданных любовь и почтение, в иноземцев — страх, превратит двор и все государство в одну семью, сплоченную вокруг ее главы и повергающую в трепет весь мир своим единством и согласием.

Все эти изумительные добродетели представляются мне неотъемлемыми признаками государя. Правда, они редко соединены в одном лице: для этого нужно слишком многое сразу — ум, сердце, внешность, характер. Вот почему я считаю, что монарх, совмещающий в себе перечисленные свойства, вполне заслуживает имя Великого.

## Глава XI

### О ЧЕЛОВЕКЕ

#### 1

Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим — все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх.

#### 2

В одном отношении люди отличаются редким постоянством, отступая от него лишь когда дело касается мелочей: меняется все — одежда, язык, манеры, понятия о приличии, порою даже вкусы, но человек всегда зол, неколебим в своих порочных наклонностях и равнодушен к добродетели.

#### 3

Стоицизм — это пустая игра ума, выдумка, столь же неосуществимая, как и платоновское государство. Стоики уверяют, будто можно смеяться над своей бедностью; быть равнодушным к обидам, неблагодарности, утрате житейских благ, потере родных и друзей; хладнокровно смотреть смерти в лицо, словно это — пустяк, не стоящий ни радости, ни скорби; противостоять как наслаждению, так и боли; чувствовать, как в тело вонзается железо, как его обжигает пламя, и не издать ни единого вздоха, не уронить

ни одной слезы. Измыслив такой образец добродетели и постоянства, стойки соизволили наречь его мудрецом. Они не попытались исправить пороки, подмеченные ими в человеке, не обличили почти ни одной его слабости. Вместо того, чтобы нарисовать картину его отталкивающих или смешных недостатков и тем самым способствовать его исправлению, они начертали пред ним недостижимый идеал совершенства и героизма и призвали его стремиться к невозможному. Этот мудрец, существующий лишь в их воображении, по самой природе своей стоит выше любых событий, любых горестей: самый мучительный приступ подагры, самые острые колики не вырвут у него ни единой жалобы; небо и земля могут рушиться — они не увлекут его в своем падении, он устоит и на развалинах вселенной. А между тем человек, существующий в действительности, выходит из себя, надсаживается от крика, отчаивается, сверкает глазами и задыхается, потеряв собаку или разбив фарфоровую безделушку.

4

Неуравновешенность духа, неровность характера, непостоянство сердца, неуверенность в поступках — все это слабости нашей человеческой природы, но слабости различные: при всем их кажущемся сродстве наличие одной из них у человека не обязательно предполагает наличие остальных.

5

Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность — жалости или презрения, и неизвестно, что опаснее — принять ошибочное решение или не принимать никакого.

6

Человек непостоянный являет собой не одного человека, а многих сразу: он становится иным с каждой новой прихотью, с каждым новым поступком; в данную минуту он уже не тот, кем был в предыдущую, а в следующую будет не тем, что сейчас, — он всегда предстает в новом облике. Не спрашивайте, каков его душевный склад, каково умонастроение; спрашивайте, сколько у него душевных складов, сколько разных умонастроений. Уж не обозначались ли вы? Неужели тот, с кем вы заговорили, в самом

деле Эвтикрат? Как он холоден с вами сегодня! А еще вчера он искал вашего общества, всячески старался вас обласкать на зависть прочим его друзьям. Да узнал ли он вас? Напомните же ему, как вас зовут.

7

Меналк<sup>1</sup> спускается по лестнице, открывает дверь, собираясь выйти из дому, но тут же ее затворяет: он заметил, что на нем ночной колпак. Он оглядывает себя и видит, что выбрит лишь наполовину, что шпага у него висит на правом боку, чулки совсем сползли, а рубашка не заправлена в панталоны.

Он идет по улице и внезапно получает удар в живот или по лицу. Он долго не понимает, в чем дело, наконец открывает глаза и, опомнившись, видит перед собой оглоблю повозки или позади себя конец доски, которую несет на плече столяр. Однажды Меналк налетел на слепого, запутался у него в ногах, и оба упали навзничь в разные стороны. Несколько раз ему случилось оказаться на пути государя и загородить тому проход, причем он всегда спохватывался так поздно, что едва успевал прижаться к стене и дать дорогу.

Принимаясь что-нибудь искать, он сердится, кричит, горячится, зовет к себе всех слуг поочередно, жалуется, что всё у него кладут не на место и теряют; хотя перчатки у него на руках, он требует их, уподобляясь той женщине, которая долго не могла найти свою маску, забыв, что уже надела ее.

Он появляется в королевских апартаментах и проходит под люстрой, парик его зацепляется за нее и повисает в воздухе; придворные видят это и смеются, Меналк смотрит на них и смеется громче всех, отыскивая глазами того, на ком нет парика, кто выставляет напоказ уши.

Вот он прогуливается по городу. Ему кажется, что он заблудился; он встревожено осведомляется у прохожих, что это за улица; те называют ему как раз ту, на которой он живет; тогда он входит к себе в дом — и тотчас же выбегает обратно, полагая, что ошибся. Он выходит из

---

<sup>1</sup> Это не столько самостоятельный характер, сколько перечень примеров рассеянности. Если они забавны, количество их не может оказаться чрезмерным: вкусы различны, и люди должны располагать выбором. (Прим. автора.)

Дворца правосудия, видит у подъезда карету, принимает ее за свою и садится в нее; кучер, уверенный, что везет хозяина, трогает и едет домой; Меналк вылезает, проходит через двор, поднимается по лестнице, через приемную и спальню попадает в кабинет. Здесь все ему знакомо, все привычно; он садится, отдыхает — он дома. Возвращается хозяин. Меналк встает ему навстречу, учтиво здоровается, просит садиться и начинает занимать гостя; он говорит, задумывается, опять говорит. Раздосадованный хозяин дома приходит в недоумение; Меналк удивлен не меньше, но не подает виду: он уверен, что имеет дело с докучным и праздным посетителем, который рано или поздно уйдет. В надежде на это он набирается терпения, и лишь к ночи ошибка кое-как разъясняется.

В другой раз, приехав с визитом к даме и вообразив затем, что не она принимает его, а он ее, Меналк располагается в ее кресле и отнюдь не собирается уходить; он находит, что эта особа не в меру затянула визит, и с нетерпением ждет, когда же она поднимется и оставит его в покое; но так как визиту не видно конца, а время позднее и Меналк проголодался, он просит даму отужинать с ним; та смеется — и так громко, что возвращает его к действительности.

Он женился днем, к вечеру забыл об этом и первую брачную ночь провел вне дома. Через несколько лет он потерял жену: она скончалась у него на руках, он присутствовал при ее погребении, а наутро, когда ему сказали, что завтрак подан, он спросил, должно ли об этом его супруге и готова ли она выйти к столу.

Тот же Меналк, войдя в церковь и приняв слепого нищего, который прислонился к двери, за колонну, а его чашку для милостыни — за кропильницу, опустил туда руку и уже поднес пальцы ко лбу, как вдруг услышал, что колонна заговорила и громко молится за даятеля. Он прошел в глубь храма; ему показалось, что перед ним нагой; он грузно опустился на колени; сооружение прогнулось под ним, упало на пол и попыталось закричать. Меналк с удивлением обнаружил, что придавил коленями ноги какого-то маленького человечка, налег всем телом ему на спину, обхватил руками его плечи и, скрестив вытянутые пальцы, сдавил ему нос и заткнул рот. Он сконфуженно удалился и преклонил колени в другом месте. Там, решив помолиться, он вытащил молитвенник и увидел, что это ноч-

ная туфля, которую он сунул в карман, выходя из дому. Не успел он покинуть церковь, как его нагнал ливрейный лакей и с улыбкой спросил, не унес ли он туфлю его преосвященства. Меналк показал ему свою и заявил: «Других у меня нет», тем не менее, обшарив себя, извлек туфлю епископа \*\*\*ского, которого он перед тем навестил; тот был болен, грелся у камина, и Меналк, уходя, поднял его туфлю с полу, приняв ее за свою упавшую перчатку. Теперь, уже без епископской туфли, он отправился во свояси.

Как-то раз он проиграл в карты все содержимое своего кошелька. Намереваясь продолжать игру, он поднялся к себе в кабинет, открыл шкаф, достал шкатулку, взял оттуда сколько хотел денег и, как ему показалось, поставил ее на место. Но едва он запер шкаф, как оттуда раздался лай. Удивленный таким чудом, Меналк вторично открыл дверцу и разразился хохотом, увидев, что запер не шкатулку, а свою собаку.

За игрой в триктрак он просит пить, ему приносят воды. Тут приходит его черед метать. Он берет рожок в левую руку, стакан — в правую и, мучимый жаждой, отправляет в рот кости, чуть-чуть не проглотив заодно и рожок, выплескивает стакан на доску и обливает того, с кем играет.

Сидя в комнате у близкого знакомого, он плюет на постель и бросает свою шляпу на пол, не замечая несообразности своего поведения. Катаясь по реке, он спрашивает, который час; ему подают часы; он берет их и тут же, не думая больше ни о времени, ни о часах, швыряет их в реку, словно они ему мешают.

Сочиняя длинное письмо, он несколько раз подряд высыпает написанное песком, а песок стряхивает в чернильницу. Но это еще не все: он пишет второе письмо и, запечатав оба послания, путает адреса. Некий герцог и пэр получает один из двух конвертов, вскрывает его и читает: «Мэтр Оливье, по получении сего потрудитесь немедленно доставить мне потребный запас сена...» Другой конверт получает арендатор Меналка. Он вскрывает его и велит прочесть себе письмо. Оно гласит: «Монсеньер, смиренно и всепокорнейше получив приказ, который вашей светлости благоугодно было...» Меналк пишет ночью еще одно письмо и, запечатывая его, нечаянно гасит свечу, после чего

удивляется, почему он ничего не видит, и долго не может сообразить, что же, собственно говоря, произошло.

Он спускается по лестнице Лувра, кто-то идет ему навстречу. Меналк восклицает: «Вас-то мне и нужно!», берет человека под руку, увлекает его вниз, проводит через несколько дворов, входит с ним в разные залы, выходит из них; наконец он смотрит на того, кого тащил за собой добрых четверть часа, удивляется, видя подле себя человека, с которым ему не о чем говорить, отпускает его руку и поворачивает в другую сторону.

Иногда он задает вам вопрос и, прежде чем вы соберетесь ответить, уже уходит. В другой раз он на бегу спрашивает вас о здоровье вашего отца и, когда вы говорите, что тот очень плох, уже издали кричит вам, что ему приятно это слышать. Вы в третий раз попадаетесь ему на пути. Он уверяет, что счастлив видеть вас, что заходил к вам кое о чем побеседовать, потом смотрит на вашу руку, восклицает: «Какой прелестный рубин! Это балас?», поворачивается и идет своей дорогой. Вот оно — то важное дело, о котором он хотел потолковать с вами!

Приехав в деревню, он объясняет вам, как мудро вы поступили, что не отправились вместе с двором в Фонтенебло, а проведете осень в своих владениях; затем говорит с другими о других вещах и, возвратившись к вам, объявляет: «Вы прекрасно провели бы время в Фонтенебло — там отличная охота». После этого он начинает о чем-то рассказывать, забывает кончить, тихонько хихикает, раздражается пришедшей ему на ум тирадой, отвечает на собственные мысли, вполголоса напевает, насвистывает, разваливается в кресле, издает жалобный вздох, зевает... Ему кажется, что он находится в одиночестве.

Когда он у кого-нибудь обедает, на его тарелке постепенно накапливается целая гора хлеба, равно как ножей и вилок. Соседи его в отчаянии, ибо он быстро лишает их возможности всем этим пользоваться. Недавно в застольный обиход ввели для удобства большую разливательную ложку. Меналк берет ее, погружает в супницу, наполняет, подносит ко рту и с изумлением видит, как ее содержимое разливается по его рубашке и камзолу. Во время обеда он забывает пить, а если, вспомнив об этом, находит, что ему налили слишком много вина, то выплескивает половину в лицо соседу справа, спокойно допивает остаток и не понимает, почему все хохочут, когда он выливает лишнее

Однажды он захворал, его уложили в постель, друзья приехали его навестить; в спальне вокруг его кровати сидят мужчины и женщины; они беседуют с ним, а он в их присутствии откидывает одеяло и плюет на простыни.

Его ведут осматривать монастырь картезианцев, украшенный картинами превосходного художника; монах, который объясняет их содержание, заводит речь о святом Бруно, долго распространяется об истории с каноником и показывает картину, ее изображающую. Меналк во время рассказа унесся мыслями далеко за стены монастыря; наконец он спохватывается и спрашивает инок, кто же был осужден на вечные муки — каноник или святой Бруно.

Случай сталкивает его с молодой вдовой. Меналк говорит с нею о ее супруге, осведомляется, от чего тот умер; разговор растревает горе женщины, она раздражается слезами, рыдая, долго рассказывает о недуге мужа, напоминает день накануне болезни, когда покойный чувствовал себя еще хорошо, и описывает его кончину; Меналк слушает с явным вниманием и вдруг спрашивает: «Сударыня, да разве он был у вас только один?»

Вот он целое утро торопит поваров, встает из-за стола, не дождавшись десерта, прощается с домочадцами и уходит. Днем его видят в разных местах города, но только не там, где у него было назначено неотложное свидание, ради которого он прервал обед и вышел из дому пешком, боясь, как бы карету не подали слишком поздно.

Слышите, как он кричит и бранится, сердясь на кого-то из слуг? Он удивляется, куда тот девался. «Где он может быть? — спрашивает Меналк. — Чем он занят? Что с ним? Если он сейчас же не явится, я его уволю». Приходит лакей. Меналк грозно спрашивает, где он был; тот отвечает, что был там, куда его послал хозяин, и обстоятельно отчитывается в исполненном поручении.

Порой Меналк кажется вам совсем не таким, каков он на самом деле: глупым — ибо он почти не слушает, а говорит еще меньше; сумасшедшим — ибо он не только громко разговаривает сам с собой, но вдобавок еще гримасничает и произвольно подергивает головой; грубым и высокомерным — ибо вы здороваетесь с ним, а он даже не глядит на вас, а если и глядит, то не отвечает на приветствие; неучтивым — ибо он рассуждает о банкротстве

семьи, отмеченной этим позорным пятном, о казнях и эшафоте — с человеком, чей отец сложил там голову, о низком происхождении — с богачами, выдающими себя за дворян. Сверх того, он воспитывает при себе своего побочного отпрыска под видом слуги, пытается скрыть это от жены и детей — и тем не менее сто раз на дню, сам того не замечая, зовет его сыном. Он решил женить законного сына на дочери финансиста и, вспоминая о своей родовитости и своих предках, то и дело твердит, что Меналки никогда не заключали неравных браков. Наконец в обществе он всегда рассеян и невнимателен к предмету разговора. Он думает и говорит одновременно, но то, о чем он говорит, редко соответствует тому, о чем он думает, поэтому он не умеет рассуждать связно и последовательно: там, где он заявляет «нет», часто следовало бы сказать «да», а где говорит «да», там — не сомневайтесь в этом — он хочет сказать «нет». Давая столь уместные ответы, он отнюдь не спит — глаза у него широко раскрыты, но это ему не помогает: он не замечает ни собеседника, ни окружающих, ни кого бы то ни было. Даже когда он особенно общителен и внимателен к вам, вы вряд ли вытянете из него что-нибудь, кроме: «Да, действительно», «Верно», «Отлично!», «Вы не шутите?», «Вот оно как!», «Думаю, что да», «О, боже!» — и прочих немногословных восклицаний, причем даже их он употребляет не к месту. Мыслями он всегда далеко от тех, кто с ним рядом. Он с серьезным видом говорит своему лакею «сударь», а другу — «эй, малый», именуя принца крови «вашим преподобием», а иезуита — «вашим высочеством».

Вот он у обедни. Священник чихает, Меналк говорит ему: «Бог в помощь!» Вот он приходит к судьбе. Тот, человек серьезного нрава, почтенного возраста и высокого положения, расспрашивает его о каком-то происшествии и осведомляется, так ли все было; Меналк отвечает: «Да, мадемуазель».

Как-то он возвращается в город из поместья. Его ливрейные лакеи решают ограбить хозяина, им это удастся: они спрыгивают с запяток, приставляют ему к горлу факел вместо ножа и требуют кошелек; Меналк подчиняется. Прибыв домой, он рассказывает о случившемся друзьям; те расспрашивают его о подробностях; он отвечает: «Узнайте у моих людей — они были при втом».

Неучтивость — не особый порок, а следствие многих пороков: пустого тщеславия, отсутствия чувства долга, лени, глупости, рассеянности, высокомерия, зависти. Будучи лишь внешним проявлением нашего характера, она не делается от этого менее отвратительной, так как всегда остается недостатком явным и очевидным. Правда, она не всегда одинаково оскорбляет нас — все зависит от того, чем она вызвана.

Сказать о человеке, который вспыльчив, непостоянен, сварлив, угрюм, вздорен, капризен: «Такой уж у него нрав» — значит не извинить его, как полагают многие, а необдуманно объявить эти большие недостатки неисправимыми.

Люди слишком беззаботно относятся к тому, что называют своим нравом; им следовало бы помнить, что быть добрыми недостаточно — они должны еще казаться добрыми, коль скоро стремятся быть приветливыми, дружелюбными, благожелательными, короче говоря — людьми. Никто не требует от лукавцев мягкости и гибкости: у них и без того довольно этих качеств, которые служат приманкой для простаков и помогают в уловках; но хочется, чтобы люди добросердечные были всегда уступчивы, ровны, отзывчивы и чтобы хоть изредка можно было усомниться в бесспорности истины, гласящей: злые вредят, а добрые мучают.

Люди в большинстве случаев сперва гnevаются, потом наносят обиду; некоторые же поступают наоборот: сначала оскорбляют, потом сердятся. Удивление, в которое вас это повергает, не оставляет места для злопамятства.

Люди слишком мало дорожат случаем доставить радость ближнему; порой кажется, что они занимают должности лишь для того, чтобы иметь возможность оказывать услуги, но не пользоваться ею; первое, что приходит им в голову, — отказ; согласие они дают, лишь хорошенько подумав.

Точно взвесьте, чего вы можете ждать от людей в целом и от каждого из них в отдельности, и смело вступайте в свет.

Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец.

Человек неглупый редко бывает до конца бесчестным: прямой и острый ум рано или поздно выводит его на стезю самообуздания, порядочности, добродетели. Тому, кто упорствует в дурных поступках, равно как в заблуждениях, не хватает здравого смысла и проницательности; такого не исправишь сатирой: она обличит его недостатки, но сам он не узнает себя в ней, как глухой не расслышит обидных слов. Для блага честных людей и в интересах общества желательно, чтобы негодяй был не вовсе лишен ума.

Бывают пороки, которыми мы никому не обязаны, ибо они заложены в нас от природы и усугублены привычкой; бывают и такие, которые мы приобретаем, хотя они нам не присущи. Иной человек рождается приветливым, отзывчивым, услужливым, но под воздействием тех, с кем живет и от кого зависит, скоро изменяет своим склонностям и даже своей натуре: он делается угрюмым, желчным, неузнаваемым, вечно пребывает в несвойственном ему расположении духа и в конце концов сам удивляется, когда он успел стать таким черствым и неблагоприятным.

Многие недоумевают, почему люди не живут единым народом, не говорят на одном языке, не подчиняются общим законам, не придерживаются одинаковых обычаев и веры; я же, памятуя о разнообразии умов, вкусов и чувств, удивляюсь, когда вижу, что семь или восемь человек живут под одной крышей, в одних и тех же стенах и составляют одну семью.

Бывают странные отцы, до самой смерти занятые лишь одним: дать детям основания не слишком скорбеть о ней.

Душевный склад, нравы и поведение большинства людей отличаются удивительной непоследовательностью. Бывает, что человек всю жизнь угрюм, вспыльчив, скуп, угодлив, принижен, старателен, корыстен, хотя родился веселым, добродушным, ленивым, щедрым, гордым, смелым и чуждым всякой низости: житейские невзгоды, положение, в котором он находился, и неотвратимый закон необходимости взяли верх над его природными свойствами и решительно изменили их. В глубине души подобный человек и сам не знает, что он такое: слишком много было обстоятельств, которые переделали, изменили, исказили его истинный облик. Он совсем не таков, каков есть и каким кажется.

Жизнь коротка и безотраднa: она вся уходит на ожидание. Мы откладываем отдых и радости на будущее, часто на то время, когда уже утрачиваем лучшее, что имеем, — здоровье и молодость. Это время наконец наступает, но и тогда мы не перестаем ждать исполнения наших желаний; мы ждем и тогда, когда приходит недуг, сводящий нас в могилу. Если бы даже нам удалось исцелиться, мы снова принялись бы ждать.

Желая чего-нибудь, мы безоговорочно сдаемся на милость того, от кого надеемся это получить; но стоит нам увериться, что отказа не будет, как мы начинаем раздумывать, вступаем в переговоры и ставим условия.

Мы привыкли к тому, что человек всегда несчастлив, что любое благо неизбежно покупается ценой многих жертв; поэтому все, что дается легко, кажется нам подозрительным: нам трудно допустить, что дело, которое стоило нам так мало усилий, способно принести выгоду и

что, правильно рассчитав, можно так просто достигнуть поставленной цели. Люди убеждены, что заслуживают успеха, но редко надеются на него.

22

Человек, который утверждает, что не родился счастливым, мог бы по крайней мере радоваться благополучию друзей или родных. Зависть отнимает у него даже эту радость.

23

Что бы я ни говорил выше, те, кто недоволен жизнью, может быть, и неправы. Люди, по-видимому, рождены для неудач, горя, бедности, и мало кому удастся их избежать; а раз на человека могут обрушиться любые невзгоды, он должен быть к ним готов.

24

К людям так трудно подступиться в делах, они так несговорчивы во всем, что сулит малейшую выгоду, так жаждут обмануть и не вдаются в обман, так дорого ценят свое достояние и так дешево — достояние ближнего, что я, признаться, не понимаю, как и каким образом удастся им заключать браки, контракты, сделки, мир, перемирие, договоры и союзы.

25

У некоторых людей величие подменяется надменностью, твердость — бесчеловечностью, ум — плутовством.

Плуты склонны думать, что все остальные подобны им; они не вдаются в обман, но и сами не обманывают других подолгу.

Я охотно бы предпочел быть и слыть глупцом, чем сделаться плутом.

Никто не обманывает с благими намерениями: плут всегда усугубляет ложь недоброжелательством.

26

Водись на свете поменьше простаков, было бы меньше и тех, кого называют хитрецами или ловкачами, кто чванится умением обманывать и всю жизнь получает за это

награды. Разве в противном случае гордился бы собою и своим промыслом такой человек, как Эрофил, чьи неверность слову, недоброжелательство и плутни всем известны, а между тем не только не принесли ему вреда, но, напротив, доставили благосклонность и милости тех, кому он либо оказал плохую услугу, либо не оказал никакой?

27

Уста прохожих на улицах и площадях больших городов только и произносят такие слова, как «вызов в суд», «опись имущества», «допрос», «долговая расписка», «протест векселя». Неужто в мире нет хоть капли справедливости? Неужто он населен людьми, которые хладнокровно добиваются того, чего им никто не должен, и упрямо отказываются возвращать то, что должны сами?

Гербовая бумага — позор человечества: она изобретена, дабы напоминать людям, что они дали обещание, и уличать их, когда они отрицают это.

Какой мир воцарился бы в самых больших городах, если бы людей не снедали страсти, корысть, несправедливость! Заботы об истинных нуждах и пропитании не доставляют нам и трети наших хлопот.

28

Ничто так не помогает рассудительному человеку терпеливо сносить огорчения, чинимые ему родными и друзьями, как размышления о порочности человечества и сознание того, насколько трудно людям быть верными, постоянными, великодушными и ставить дружбу выше собственной выгоды. Понимая, как мало им дано, он не станет требовать от них умения проходить сквозь стены, летать по воздуху и соблюдать справедливость. Он может ненавидеть весь род людской, столь чуждый добродетели, но он прощает отдельным людям и, руководствуясь возвышенными мотивами, даже любит их, хотя сам меньше всего стремится заслужить подобную снисходительность.

29

Есть блага, которых мы жаждем так пылко, что одна мысль о них приводит нас в восторг и упоение; однако,

добившись их, мы относимся к ним гораздо спокойнее, чем можно было ожидать, и часто не столько наслаждаемся ими, сколько жаждем новых, еще больших благ.

30

Бывают ужасные несчастья и жестокие неудачи, о которых страшно помыслить: мы впадаем в отчаяние, стоит нам только их себе представить; однако, когда они нас постигают, мы находим в себе такие силы, каких не подозревали, грудью встречаем невзгоду и оказываемся более стойкими, чем сами могли предположить.

31

Порою получить по наследству хороший дом, стать владельцем чистокровной лошади, породистой собаки, ковра или часов достаточно для того, чтобы большое горе смягчилось, а большая утрата стала менее ощутимой.

32

Предположив, что люди могли бы вкушать бессмертие здесь, на земле, я сразу же задаюсь вопросом, сумеют ли они в таком случае устроить свою жизнь разумнее, чем сейчас, когда они смертны.

33

Несчастье трудно переносить, счастье — страшно утратить. Одно стоит другого.

34

Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут.

35

Ирина, не считаясь с расходами, приезжает в Эпидавр и отправляется в храм Эскулапа посоветоваться с оракулом о своих недугах. Первым делом она жалуется на изне-

можение и усталость; бог отвечает, что это объясняется длительным путешествием. Она уверяет, что по вечерам у нее пропадает аппетит; бог рекомендует ей быть умеренной за обедом. Она добавляет, что подвержена бессоннице; бог предписывает ей спать только по ночам. Ирина спрашивает, отчего она полнеет и как помочь этой беде; оракул отвечает, что ей следует вставать с постели до полудня и почаще пользоваться для передвижения собственными ногами. Она говорит, что ей вредно вино и что у нее бывает несварение желудка; оракул велит ей пить воду и соблюдать диету. «У меня портится зрение», — печалится Ирина. «Носи очки», — советует Эскулап. «Я слабею, у меня уже нет ни былого здоровья, ни сил», — продолжает она. «Ты просто стареешь», — объясняет бог. «Каким же путем избавиться от такой напасти?» — «Самым простым, Ирина, — умереть, как это сделали твоя мать и бабка». — «Что за совет ты мне даешь, о сын Аполлона! — восклицает Ирина. — Неужели это и есть твоя премудрость, которую так превозносят люди и так чтит весь мир? Разве ты открыл мне что-нибудь новое и необычайное? Разве я сама не знала всего, чему ты меня учишь?» — «Почему же ты не воспользовалась этим, вместо того чтобы ехать ко мне издалека и сокращать свои дни долгой дорогой?» — возражает бог.

36

Кончина наступает однажды, а ждем мы ее всю жизнь: боязнь смерти мучительней, чем сама смерть.

37

Тревога, страх, уныние не избавляют от смерти, а, напротив, ускоряют ее; тем не менее я полагаю, что излишняя веселость тоже не к лицу людям, поскольку они смертны.

38

Неизбежность смерти отчасти смягчается тем, что мы не знаем, когда она настигнет нас; в этой неопределенности есть нечто от бесконечности и того, что мы называем вечностью.

Вздыхая о цветущей юности, ушедшей и невозвратимой, мы должны помнить, что скоро наступит дряхлость, и тогда придется сожалеть о зрелом возрасте, из которого мы еще не вышли и который недостаточно ценим.

Мы боимся старости, хотя не уверены, что доживем до нее.

Мы надеемся достигнуть старости, но боимся состариться. Это значит, что мы любим жизнь и страшимся смерти.

Уступить природе и поддаться страху смерти гораздо легче, чем вооружиться доводами рассудка, вступить в борьбу с собою и ценой непрерывных усилий преодолеть этот страх.

Если бы одни из нас умирали, а другие нет, умирать было бы крайне досадно.

Жизнь отделена от смерти длительным промежутком болезни для того, по-видимому, чтобы смерть казалась избавлением и тем, кто умирает, и тем, кто остается.

С точки зрения милосердия смерть хороша тем, что кладет конец старости.

Смерть, упреждающая одряхление, более своевременна, чем смерть, завершающая его.

Сожаление о неразумно растроченном времени, которому предаются люди, не всегда помогает им разумно употребить его остаток.

Жизнь есть сон; старик — это человек, который спал дольше других: он начинает пробуждаться лишь тогда, когда приходит время умирать. Если он мысленно возвращается при этом к прошедшим годам, то нередко оказывается, что они неотличимы друг от друга, ибо не были ознаменованы ни добрыми делами, ни похвальными поступками, которые позволили бы ему ощутить всю длительность прожитого: он просто видел смутный, однообразный, бессвязный сон. Тем не менее, как всякий, кто просыпается, он чувствует, что спал долго.

В жизни человека всего три события: рождение, жизнь, смерть. Он не чувствует, как родится, страдает, умирая, и забывает жить.

Есть возраст, не оставляющий в памяти никаких следов, возраст, когда разум еще не пробудился и человек, подобно животному, живет инстинктом. За ним следует другой, когда разум зреет и развивается, когда он мог бы побудить нас к действию, если бы его не затемняли и как бы не сводили на нет врожденные пороки и многочисленные страсти, непрерывно смеющиеся друг друга и постепенно подводящие нас к третьему и последнему возрасту. В эту пору разум, вошедший уже в полную силу, должен был бы служить нам особенно плодотворно, но он быстро охлаждается и притупляется годами, недугами и горестями, а затем и вовсе ослабевает, подточенный одряхлением тела. Увы, к этим трем возрастам и сводится вся человеческая жизнь.

Дети дерзки, привередливы, вспыльчивы, завистливы, любопытны, своекорыстны, ленивы, легкомысленны, трусливы, невоздержны, лживы и скрытны; они легко раздражаются смехом или слезами, по пустякам предаются неумеренной радости или горькой печали, не выносят боли и любят ее причинять — они уже люди.

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим.

На первый взгляд у всех детей характер одинаковый, все они ведут себя на один лад, и лишь пристальное внимание помогает уловить разницу между ними. Эта разница увеличивается по мере возмужания разума, ибо вместе с ним развиваются страсти и пороки — единственное, что делает людей столь различными между собой и столь противоречивыми.

Дети, в отличие от стариков, наделены воображением и памятью и на редкость умело пользуются этими свойствами в своих играх и развлечениях: благодаря им они повторяют то, что слышали, перенимают то, что видели, и научаются всем ремеслам, либо прибегая к ним в своих каждодневных забавах, либо подражая телодвижениям и жестам ремесленников; благодаря им они то присутствуют на пирах и вволю угощаются, то переносятся во дворцы и очарованные сады, то, даже играя в одиночку, видят себя разряженными в богатые наряды и окруженными пышной свитой, то предводительствуют армиями, дают сражения и упиваются победами, то беседуют с королями и самыми могущественными вельможами, то сами становятся государями, управляют подданными и распоряжаются сокровищами — листьями и песком; благодаря им они владеют искусством, которое утрачивают в дальнейшем, — умеют быть вершителями своей судьбы и хозяевами собственного счастья.

Нет такого внешнего изъяна, такого телесного несовершенства, которого не подметили бы дети: они умеют обнаружить его с первого взгляда и назвать таким словом, что лучше и не скажешь; когда же они становятся взрослыми, у них появляются те самые недостатки, над которыми они когда-то потешались.

У детей одна забота — выискивать слабое место у своих наставников, а равно и у всех, кому они должны подчиняться; стоит детям его обнаружить, как они берут верх над взрослыми и перестают с ними считаться. Лишившись по какой-то причине своего превосходства над детьми, мы по той же причине уже не можем обрести его вновь.

55

Лень, нерадивость, праздность, эти столь присущие младенчеству пороки, не сказываются у детей в играх: здесь они проворны, старательны, привержены к порядку и правилам, нетерпимы к ошибкам товарищей и готовы подолгу повторять одно и то же, если оно им не удастся, — несомненное предзнаменование того, что в будущем они, возможно, станут пренебрегать долгом, но всегда сделают все ради наслаждения.

56

Ребенку все представляется огромным — дворцы, сады, здания, утварь, люди, животные; взрослому столь же огромными кажутся житейские блага и — смею добавить — по той же причине: он сам невелик.

57

Дети в общении между собою начинают с народоправства, когда все они — сами себе господа, но, что вполне естественно, недолго придерживаются его и вскоре переходят к единовластию. Кто-нибудь из них выделяется, то ли благодаря живости ума, то ли по причине телесного превосходства, то ли из-за большей осведомленности в различных играх и правилах, на которых эти игры основаны; другие подчиняются ему; так рождается самодержавная форма правления, где все зиждется на прихоти одного.

58

Можно ли сомневаться, что дети наделены способностью мыслить, оценивать, последовательно рассуждать? Правда, проявляется она в мелочах, но ведь это дети и у них еще мало опыта; правда, выражается она неумело, но тут виноваты не дети, а их родители и наставники.

Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершили, или хотя бы строго наказывать их за мелкие провинности — значит лишиться всякого их доверия и уважения. Они точно и лучше, чем взрослые, знают, что заслужили, и почти всегда заслуживают того, чего боятся. Им известно, виновны ли они в том, за что их карают, и несоразмерное наказание портит их не меньше, чем безнаказанность.

Люди живут слишком недолго, чтобы извлечь урок из собственных ошибок. Мы совершаем их в течение всей жизни и достигаем такой ценой лишь одного — исправляемся за минуту до смерти.

Ничто так не поднимает дух, как сознание избегнутого промаха.

Признаваться в своих грехах трудно, мы стремимся скрыть их и свалить вину на других: вот почему мы предпочитаем духовного наставника исповеднику.

Ошибки глупцов порою так разительны, их так трудно предвидеть, что они ставят мудрецов в тупик и полезны лишь тем, кто их совершает.

Предвзятость низводит самого великого человека до уровня самого ограниченного простолюдина.

Из тщеславия или ради приличия мы ведем себя так же и совершаем те же поступки, что и повинаясь склонности или чувству долга. Недавно в Париже один человек умер от недуга, которым заразился, ухаживая за нелюбимой женой во время ее болезни.

В глубине души люди желают, чтобы их уважали, но тщательно скрывают желание, потому что хотят слыть добродетельными, а добиваться за добродетель иной награды (я имею в виду уважение и похвалу), чем сама добродетель, — значит признать, что вы не добродетельны, а тщеславны, ибо стремитесь снискать уважение и похвалы. Люди весьма тщеславны, но очень не любят, когда их считают тщеславными.

Человек тщеславный равно получает удовольствие, говоря о себе как хорошее, так и дурное; человек скромный просто не говорит о себе.

Смешная сторона тщеславия и вся постыдность этого порока полнее всего проявляются в том, что его боятся обнаружить и обычно прячут под личиной противоположных достоинств.

Ложная скромность — самая утонченная уловка тщеславия. С ее помощью человек тщеславный кажется нетщеславным и завоевывает себе всеобщее уважение, хотя его мнимая добродетель составляет противоположность главному пороку, свойственному его характеру; следовательно, это ложь. Ложное чувство собственного достоинства — вот камень преткновения для тщеславия. Оно побуждает нас добиваться уважения за свойства, действительно присущие нам, но неблагоприятные и недостойные того, чтобы выставить их напоказ; следовательно, это ошибка.

Говоря о том, что их затрагивает, люди признаются только в своих самых незначительных недостатках, да еще в таких, которые предполагают и наличие выдающихся талантов и больших достоинств. Например, жалуясь на слабую память, мы тем самым даем понять, что с нас довольно нашей рассудительности и понятливости; мы принимаем упреки в рассеянности и мечтательности, ибо это наводит на мысль об уме; мы не отрицаем, что отличаемся неловкостью и не умеем работать руками, ибо утешаемся тем, что отсутствие этих маловажных способностей восполняется у нас умственной и духовной незаурядностью,

о которой знают все; мы признаем, что ленивы, но делаем это в таких выражениях, которые свидетельствуют о бескорыстии и отсутствии честолюбия; мы не краснеем за нашу неопрятность, потому что небрежность в мелочах равнозначна приверженности к вещам важным и существенным. Человек военный, рассказывая, как однажды, не в свой черед и без всякого на то приказа, он очутился в траншее или в ином опасном месте, объясняет это излишним рвением или любопытством и не забывает прибавить, что его генерал сделал ему за это выговор. Точно так же человек сильного ума, даже истинный гений, тот, кто от рождения наделен такой мудростью, которую другие безуспешно тщатся приобрести с годами; чей дух закален испытаниями; кто легко несет бремя многочисленных, тяжелых, разнообразных, трудных и важных забот; чьи дальновидность и проницательность успешно противостоят любому повороту событий; кто, отнюдь не изучив всего, что сочинено об искусстве управления и политике, относится тем не менее к числу великих мужей, созданных для власти, мужей, дела которых послужили источником вышеупомянутых сочинений; кто, творя великое, не имеет времени читать о приятном и забавном, но не упускает случая лишней раз, смею так выразиться, перечитать и перелистать свою жизнь и деяния, — даже такой человек способен заявить, не умаляя уважения к себе, что он никогда не держал в руках книги и никогда ничего не читает.

68

Люди нередко пытаются скрыть или преуменьшить свои слабости тем, что откровенно признаются в них. Один говорит: «Я невежда», — и в самом деле ничего не знает; другой жалуется: «Я стар», — и ему действительно седьмой десяток; третий заявляет: «Я не богат», — он и вправду беден.

69

Считать скромностью то внутреннее чувство, которое умаляет человека в собственных глазах и, представляя собой неземную добродетель, называется смирением, — значит вовсе отрицать существование скромности или принимать за нее нечто совершенно иное. Человек от природы придерживается самого высокого мнения о своей особе,

гордится собой и хорошо думает только о себе; скромность его состоит лишь в том, что никто от этого не страдает. Она — чисто внешнее качество, которое держит в узде его взгляды, жесты, слова, тон и принуждает его хотя бы для виду обходиться с окружающими так, как будто он и в самом деле считается с ними.

70

Мир населен людьми, которые, по привычке сравнивая себя с окружающими, всегда отдают предпочтение себе и поступают соответственным образом.

71

Вы говорите, что надобно быть скромным; человек благородной души ничего большего и не требует. Только сделайте при этом так, чтобы люди не притесняли тех, кто уступает из скромности, не сокрушали тех, кто поддается.

Говорят также: «Одеваться следует скромно». Личности выдающиеся ничего другого и не желают, но свет жаждет прикрас, и ему их дают; он алчет пышности, и ее ему являют. Есть люди, которые уважают лишь того, у кого тонкое белье и платье из дорогой ткани; не всякий откажется добиться уважения такой ценой. Бывают места, где нужно уметь себя показать: вас впустят или не впустят туда в зависимости от того, широк или узок золотой позумент на вашем камзоле.

72

Тщеславие и чрезмерное самомнение вынуждают нас подозревать окружающих в высокомерном к нам отношении, что порою верно, а порою — нет. Человеку скромному такая щепетильность чужда.

73

Как необходимо подавлять в себе тщеславие, которое внушает нам, будто все взирают на нас с удивлением и почитательностью, говорят меж собой лишь о наших заслугах и постоянно хвалят нас, так нужно и обладать известной уверенностью в себе, которая запретит нам подозревать людей в том, что, перешептываясь, они обязательно злословят о нас, а смеясь, — потешаются лишь над нами.

Почему Алкипп здороваётся сегодня со мной, улыбается мне и, боясь упустить меня, выпрыгивает из кареты? Я не богат, иду пешком — было бы естественно, если бы он меня не заметил. Не потому ли он так внимателен ко мне, что я видел, как он ехал в одном экипаже с вельможей?

Мы так полны собой, что все относим к нашей особе. Мы любим, когда люди, даже нам незнакомые, разглядывают нас, показывают на нас, здороваются с нами. Если они этого не делают, они гордецы: мы ведь хотим, чтобы каждый сразу угадывал, кто мы такие.

Мы ищем счастья вне нас, во мнении людей, которых считаем льстивыми, неискренними, несправедливыми, преисполненными зависти, капризов, предубеждений. Какая нелепость!

Принято считать, что смеяться можно лишь над тем, что смешно; однако встречаются люди, которые смеются над чем угодно. Если вы глупы и опрометчивы, если вы совершаете у них на глазах ложный шаг, они смеются над вами; если вы умны, говорите лишь разумные вещи и выражаете их подобающим образом, эти люди все равно смеются.

Те, кто с помощью силы и несправедливости отнимает наше достояние и посредством клеветы лишает нас чести, несомненно, питают к нам ненависть, но это еще не значит, что они окончательно перестали нас уважать; поэтому не исключено, что мы вновь проявим к ним добрые чувства и в один прекрасный день вернем им наше расположение. Напротив, насмешку невозможно простить, ибо она с особенной язвительностью выражает оскорбительное презрение, разрушает последнее прибежище человека — уважение к себе, делает его смешным в собственных глазах, убеж-

дает в заклятой вражде насмешника к нему и тем самым обязывает быть непримиримым.

С какой чудовищной быстротой поддаемся мы нашей склонности осмеивать, чернить и презирать окружающих и в то же время гневаться на тех, кто осмеивает, чернит и презирает нас самих!

79

Здоровье и богатство, избавляя человека от горького опыта, делают его равнодушным к себе подобным; люди же, сами удрученные горестями, гораздо сострадательнее к несчастьям ближнего.

80

Празднества, зрелища, музыка, по-видимому, сообщают людям высокой души большую отзывчивость к невзгодам ближних и друзей.

81

Великодушный человек выше обид, несправедливости, горя, насмешек; он был бы неуязвим, будь он чужд сострадаанию.

82

Перед лицом иных несчастий как-то стыдно быть счастливым.

83

Мы быстро подмечаем в себе малейшие достоинства и медленно обнаруживаем недостатки. Человек никогда не забудет, что у него красивые брови, изящные ногти, но он почти не помнит, что крив на один глаз, и вовсе не понимает, что лишен ума.

Аргирия снимает перчатки и показывает хорошеиькую ручку; она не преминет приоткрыть башмачок, который наводит на мысль о маленькой ножке; она смеется и над вещами забавными и над вещами серьезными, чтобы щегольнуть зубками; она не прячет ушки под парик — они у нее прелестны; но она никогда не танцует, ибо недовольна своей талией — она у нее слишком полна. Она блюдет свою выгоду во всем, кроме одного: любит поговорить, хотя не одарена умом.

Люди почти ни во что не ставят добродетели и боготворят совершенства тела и ума. Тот, кто, невозмутимо и ни на минуту не сомневаясь в своей скромности, скажет вам о себе, что он добр, постоянен, искренен, верен, справедлив и не чужд благодарности, не дерзнет заявить, что у него острый ум, красивые зубы и нежная кожа: это было бы чересчур.

Правда, две добродетели — смелость и щедрость — приводят всех в восхищение, ибо ради них мы забываем о жизни и деньгах — двух вещах, которыми весьма дорожим; вот почему никто не назовет себя вслух смелым или щедрым.

Никто, в особенности без должных к тому оснований, не скажет, что он наделен красотой, великодушием, благородством: мы настолько высоко ценим эти качества, что, приписывая их себе, не скажем об этом вслух.

Как ни похожи друг на друга зависть и соперничество, между ними лежит та же пропасть, которая отделяет порок от добродетели.

Соперничество и зависть направлены на один и тот же предмет — имущество и достоинства ближнего, с той, однако, разницей, что первое — это обдуманное, смелое, откровенное стремление, которое оплодотворяет душу, помогает ей извлечь урок из великих примеров и нередко возносит ее выше того, чем она восхищается; вторая же, напротив, есть безудержный недобрый порыв и как бы невольное признание чужого превосходства. Она доводит нас до того, что мы отрицаем всякие достоинства за человеком, ими наделенным, или, если их все-таки приходится признать, отказываем ему в похвале и заримся на заслуженную им награду. Это бесплодная страсть, которая ничего не дает человеку, напротив, лишь сосредоточивает на мыслях о себе и своей репутации; делая его черствым и безразличным к деяниям и трудам ближнего, она преисполняет его удивлением всякий раз, когда он видит, что в мире есть люди с дарованиями, отличными от его собственных, или с такими же, какие он приписывает себе. Это постыдный порок, который укореняет в человеке тщ-

славие и самоуверенность и убеждает его не столько в том, что у него больше ума и заслуг, чем у любого другого, сколько в том, что лишь он один обладает умом и заслугами.

Зависть и соперничество могут иметь место только между людьми одинакового рода занятий, способностей и положения. Люди, занимающиеся грубыми ремеслами, особенно склонны к зависти; между теми, кто посвятил себя свободным искусствам или изящной словесности — художниками, музыкантами, ораторами, поэтами и всей пишущей братней, — должно быть только соперничество.

Зависть не чужда недоброжелательства, иногда они неразрывны, но первая может и не сопровождаться второй, как бывает в тех случаях, когда ее вызывает в нас то, что недоступно нам по нашему положению — огромное состояние, милости двора, пост министра.

Будучи направлены на один предмет, недоброжелательство и зависть сливаются и усиливают друг друга; единственное различие между ними заключается в том, что первое относится к человеку, а вторая — к его положению в свете.

Человек умный не станет завидовать кузнецу, выковавшему добрую шпагу, или скульптору, изваявшему красивую статую. Он понимает, что их ремесла требуют знания правил и приемов, о которых он не имеет понятия, и умения обращаться с инструментами, вид, название и назначение которых ему неизвестны. Стоит ему вспомнить, что он не учился этому ремеслу, как он перестает огорчаться, что не владеет им. Напротив, он способен завидовать министрам и государям и даже ненавидеть их, словно разум и здравый смысл, которые даны ему так же, как им, суть единственные орудия, необходимые для управления государством и руководства делами общества, и могут не опираться на обычаи, законы, опыт.

Людей совершенно тупых и глупых мало, недюжинных и блестящих — еще меньше. Степень одаренности большинства людей колеблется между двумя этими крайностями. Промежуток между ними заполнен ограниченными дарованиями, которые тем не менее весьма нужны обществу, выгодны государству, сочетают в себе приятное с полезным и проявляются в способностях к торговле, финансам,

воеинному делу, мореплаванню, ремеслам, в хорошей памяти, светскости, умении играть в разные игры и вести беседу.

87

Ум всех людей, вместе взятых, не поможет тому, у кого нет своего: человек, лишенный зрения, не способен восполнить этот недостаток за счет окружающих.

88

Каким великим благом, почти столь же важным, как рассудок, была бы для нас способность сознавать, что мы его потеряли! Однако утрата рассудка несовместима с сознанием этой утраты. Точно так же понимание того, что нам не хватает ума, было бы не менее ценно, чем самый ум, ибо в таком случае мы могли бы достигнуть невозможного: даже не обладая умом, избежать глупости, дерзости и самомнения.

89

Человек посредственного ума словно вырублен из одного куска: он постоянно серьезен, не умеет шутить, смеяться, радоваться пустякам. Неспособный подняться до великого или хотя бы забытья и отдаться малому, он даже не позволяет себе поиграть с собственными детьми.

90

О глупце все говорят, что он глуп, но никто не дерзает отвести душу и сказать ему это в лицо; он так и умирает в неведении.

91

Какой разлад между умом и сердцем! Философ живет не так, как сам учит жить; дальновидный и рассудительный политик легко теряет власть над собой.

92

Разум, как и все в нашем мире, изнашивается: наука, которая служит ему пищей, в то же время истощает его.

Люди маленькие часто бывают отягчены множеством бесполезных достоинств: им негде их применить.

Есть люди, которые не гнутся под тяжестью власти и милостей, быстро свыкаются с собственным величием и, занимая самые высокие должности, не теряют от этого голову. Те же, кого слепая и неразборчивая фортуна незаслуженно обременяет своими благодеяниями, наслаждаются ими неумеренно и заносчиво; их взгляды, походка, тон и манеры долго еще выдают удивление и восторг, в которые их повергло собственное возвышение, и они преисполняются такой безудержной спесью, что лишь падение может их образумить.

Человек рослый и сильный, с широкими плечами и грудью, легко и непринужденно несет огромный груз, причем у него еще свободна одна рука; карлика раздавила бы вдвое меньшая тяжесть. То же и с высокими должностями: они делают людей великих еще более великими, ничтожных — еще более ничтожными.

Есть люди, которым странности идут лишь на пользу: они переплывают такие моря, где другие терпят крушение и тонут; они достигают успеха такими путями, на которых его обычно не находят; их чудачества и безумства приносят им те плоды, какие другим приносит лишь глубочайшая мудрость. Держась около сильных мира сего, которым они посвящают все свое время, ибо возлагают на них свои заветные надежды, они не служат им, а забавляют их. Люди достойные и надежные полезны вельможам, эти же им необходимы. Они до седых волос состоят при своих покровителях, потешая их остроумием, ибо это единственный подвиг, за который они могут ждать награды. С помощью шутовства они добиваются высоких должностей и ценою неизменной веселости делают серьезную карьеру. Наконец после смерти они обретают такой жре-

бий, какого не опасались и не чаяли: воспоминание об их успехе служит предостережением для всех, кого прельщает их судьба.

97

Мы вправе требовать от людей, однажды оказавшихся способными на благородный, героический, прославленный всем миром поступок, чтобы они, не показывая, насколько это великое усилие их опустошило, до конца дней своих вели себя так же мудро и осмотрительно, как ведут себя порою даже люди заурядные; чтобы они не позволяли себе низостей, недостойных составленной ими себе репутации; чтобы они пореже смешивались с толпой и не давали ей случая присмотреться к ним, дабы ее восторженное удивление не сменилось равнодушием, а может быть, и презрением.

98

Иным людям легче украсить себя множеством добродетелей, чем избавиться от одного недостатка. На их несчастье, он как раз меньше всего соответствует их положению и делает их особенно смешными в глазах света, умаляя их достоинства и мешая им приобрести безупречную репутацию. От них не требуют, чтобы они стали еще образованней и неподкупней, еще ревностней стояли за умеренность и порядок, строже блюли верность долгу, рачительней пеклись о всеобщем благе; от них хотят только, чтобы они не были влюбчивы.

99

Иные люди с годами становятся столь непохожими на самих себя умом и сердцем, что каждый, кто судит о них по тому, какими они были в ранней молодости, впадает в ошибку. Одних, некогда благочестивых, умных, образованных, лишает этих достоинств изнеженность — непременная спутница слишком безоблачного счастья. Других, кто начал жизнь с погони за наслаждениями, поглощавшей все силы их ума, несчастья приводят затем в монастырь, научив их мудрости и умеренности. Это обычные люди незаурядные, на которых можно положиться: честность их испытана в долгих невзгодах и закалена терпением. Они отличаются изысканной учтивостью, приобре-

тенной ими когда-то в обществе женщин и ставшей для них естественной, любовью к порядку, рассудительностью, а иногда и выдающимися талантами, которыми они обязаны затворнической жизни и вынужденному досугу в дни неудач.

Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни. Отсюда — карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение бога.

100

Человеку, по-видимому, мало своего собственного общества: темнота и одиночество вселяют в него беспокойство, беспричинную тревогу и нелепый страх или в лучшем случае скуку.

101

Скука пришла в наш мир вместе с праздностью; она в значительной мере объясняет склонность человека к наслаждениям, картежной игре, обществу. Тот, кто любит труд, не нуждается в посторонних.

102

Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще более печальной.

103

Есть произведения, которые начинаются альфой и кончаются омегой. В них есть все: хорошее, дурное и отвратительное; в них не забыт ни один жанр. Как они изысканны, как вычурны! Их называют плодами игры ума. Наше поведение — такая же игра: принявшись за что-нибудь, мы непременно хотим дойти до конца. Порою нам лучше отступить и найти себе другое занятие, но ведь продолжать начатое труднее, а значит, более почетно; поэтому мы продолжаем, препятствия лишь усугубляют нашу решимость, тщеславие подгоняет нас и берет верх над разумом, который покоряется и сдается. Этот тонкий побудительный мотив можно обнаружить в наших самых высокоинравственных делах — даже в делах веры.

По-настоящему трудно дается нам лишь одно — исполнение долга, ибо оно предполагает такие поступки, которые мы все равно вынуждены совершить, хотя они не приносят нам одобрения — единственного, что толкает нас на похвальные дела и поддерживает в наших начинаниях. Н. любит выставять напоказ свое благочестие. Оно принесло ему место попечителя о бедных, сделало его хранителем отпускаемых на них средств и превратило его дом в подобие богадельни, где происходит раздача милостыни и целый день снуют *серые сестры* и люди с отложными воротниками. Весь город взирает на его добрые дела и превозносит их. Кто усомнится в том, что он честный человек? Разве что его кредиторы.

Геронт умирает от старости, не успев составить завещание, которое собирался написать лет тридцать. Ввиду кончины *ab intestato* его наследство делит между собой десяток родственников. Жизнь Геронта давно уже поддерживалась только заботами его жены Астерии, которая с молодости посвятила себя мужу, ни на миг не отходила от него, была опорой его старости и своими руками закрыла ему глаза. Он же оставил ей так мало, что она не сможет прожить, если не найдет себе другого старика.

Дожить до глубокой старости и держаться за свои должности и бенефиции, вместо того чтобы продать их или просто передать другому, — значит пребывать в убеждении, что вы не из числа тех, кто смертен; если же вы все-таки знаете, что можете умереть, значит вы любите себя и только себя.

Фауст — гуляка, мот, распутник, человек неблагодарный и заносчивый, но Аврелий, кому он приходился племянником, всю жизнь любил его и, умирая, оставил ему все свое состояние.

Фронтин, другой племянник Аврелня, двадцать лет был слепо предан этому старцу и славился своей порядочностью, но так и не снискал расположения дяди, чья кончина принесла ему лишь ничтожный пенсион, который выплачивает Фауст, единственный наследник покойного.

108

Ненависть — столь длительное и неискоренимое чувство, что самый верный признак близкой смерти больного — это примирение его с недругом.

109

Ключ к сердцу человека — сочувствие страстям, поглощающим его душу, или сострадание к недугам, снедающим его тело; к этому сводится вся заботливость, которую можно к нему проявить. Вот почему теми, кто здоров и умерен в желаниях, труднее управлять, чем прочными.

110

Слабости и жажда наслаждений рождаются вместе с человеком и вместе с ним умирают. От них его не избавляют ни удачи, ни горести: они — плод первых и возмещение за вторые.

111

Влюбленный старик — одно из величайших уродств в природе.

112

Лишь немногие помнят, как трудно было им в молодости соблюдать умеренность и целомудрие. Отказываясь от погони за наслаждениями в угоду приличиям, из пресыщенности или ради здоровья, человек первым делом начинает осуждать ее в других. Такое поведение во многом объясняется нашей приверженностью к тому, с чем мы порываем: нам хочется, чтобы все лишились того блага, которое стало нам недоступным. Это значит, что мы им завидуем.

Старики становятся скупыми не из боязни впасть в нужду, ибо многие из них настолько богаты, что подобное опасение не может у них возникнуть; да и с какой стати этим дряхлым людям бояться утраты жизненных благ, от которых они сами отказываются в угоду своей скупости? Ни при чем тут и стремление оставить побольше средств детям, ибо человеку не свойственно любить других сильнее, чем себя; к тому же бывают скупцы, у которых нет наследников. Этот порок скорее всего — следствие возраста и особенности душевного склада стариков, которые предаются ему столь же естественно, как молодежь гонится за наслаждениями, а люди зрелые преследуют честолюбивые цели. Скупость не требует ни расточения сил, ни юности, ни здоровья: чтобы сберегать доходы, не нужно ни суетиться, ни хлопотать — достаточно лишь прятать деньги в сундук и во всем себе отказывать. Это удобно для стариков, которые тоже должны питать какую-нибудь страсть, ибо ведь и они — люди.

Есть люди, которые живут в скверных домах, спят на жестких постелях, одеваются плохо, а едят еще хуже, покорно терпят летний зной и зимнюю стужу, добровольно отказываются от общества себе подобных и влачат свои дни в одиночестве; которые страдали вчера, страдают сегодня и будут страдать завтра; которые, живя точно под бременем вечного покаяния, тем самым нашли способ, как прийти к вечной гибели самым мучительным путем. Это — скупцы.

Воспоминания юности дороги старикам: они любят те места, где провели ее, людей, с которыми познакомились в ту пору; они употребляют слова, которые были тогда в ходу, им нравится прежняя манера петь, старинные танцы, тогдашние моды, утварь, экипажи. Они и теперь не в силах порицать то, что служило их страстям, способствовало их наслаждениям и доныне еще воскрешает последние в их памяти. Разве в силах они предпочесть новые

обычан и нынешние моды, чуждые им, ничего хорошего им не сулящие и придуманные молодыми людьми, которым это дает столь большие преимущества перед стариками?

116

Как излишняя небрежность в одежде, так и чрезмерная щеголеватость равно подчеркивают дряхлость и умножают морщины стариков.

117

Старик, если только он не очень умен, всегда высокомерен, спесив и неприступен.

118

Старец, прошедший жизнь при дворе, наделенный сильным умом и хорошей памятью, — это бесценный источник сведений о прошлом и кладезь мудрых истии. Он — живая история века, расцвеченная такими примечательными подробностями, которых не найдешь в книгах. У него мы учимся правилам поведения в свете и в частной жизни, всегда безошибочным, потому что они выведены из опыта.

119

Молодые люди переносят одиночество легче, нежели старики, ибо их развлекают страсти.

120

Фидипп, человек уже старый, утончен во всем, что касается приятностей жизни; он изыскан даже в пустяках; еду, питье, отдых и motion он превратил в искусство и тщательно соблюдает мелочные правила, которые сам же придумал, чтобы окружить свою особу удобствами; он не пожертвовал бы ими даже ради любовницы, если бы режим позволял ему завести ее. Он обременяет себя ненужными мелочами, превращенными привычкой в необходимость. Тем самым он лишь укрепляет узы, привязывающие его к жизни, и стремится употребить остаток ее на то, чтобы сделать расставание с ней еще более мучительным. Неужели мало ему одного страха смерти?

Гнатон живет только для себя, все остальные для него как бы не существуют. Ему недостаточно сидеть за столом на почетном месте — он один занимает три стула. Пренебрегая тем, что обед приготовлен не только для него, но и для всех собравшихся, он завладевает целым блюдом, всласть угощается за каждой переменной и не принимается за одно кушанье, пока не отведаст от всех, — он смаковал бы их все разом, если бы мог. За едой он не пользуется прибором, хватает мясо руками, вертит его, отделяет от костей, раздирает и расправляется с ним так, что другие гости, если только они не сыты, вынуждены насыщаться объедками. Она являет их глазам все виды отвратительной неопрятности, отбивающей аппетит даже у самых голодных: сок и соус каплют у него с усов и бороды; накладывая себе рагу, он роняет куски в чужую тарелку или на скатерть, так что по пятнам можно проследить путь этих кусков. Поглощая пищу, он громко чавкает и пучит глаза; стол для него все равно что кормушка; время от времени он пускает в ход зубочистку, а затем снова принимается за еду. Куда бы он ни попал, он всюду чувствует себя как дома: на проповеди или в театре он располагается так же непринужденно, словно у себя в спальне. В карете он может сидеть лишь сзади — по его словам, на всех остальных местах он бледнеет, ему становится худо. Путешествуя в компании, он всегда попадает в гостиницу раньше спутников и умеет оставить за собой лучшую комнату и лучшую постель. Он все обращает себе на пользу: лакеи его знакомых бегают по его делам так же, как его собственные. Он завладевает всем, что попадает под руку, — чужой одеждой, чужими экипажами. Он докучает всем, не заботится ни о ком, не жалеет никого, знает лишь одни болезни — свои (он страдает полнокровием и разлитием желчи), не скорбит ни о чьей смерти, боится лишь собственной и, чтобы спастись от нее, охотно согласился бы истребить весь род человеческий.

Клитон всю жизнь знал лишь два дела — обедать днем и ужинать вечером; он явно создан только для пищеварения. У него лишь один предмет для разговора — перечис-

ление блюд, которые он ел на последнем званом обеде: он рассказывает, сколько там подавалось супов и каких именно, перебирает жаркие и соусы, точно помнит количество кушаний в каждой перемене, не забывает ни закусок, ни десерта, ни приправ, может назвать все вина и ликеры, которые он там пил. Он владеет кулинарным жаргоном в таких тонкостях, что пробуждает во мне желание не есть за одним столом с ним. Он обладает безошибочным гастрономическим нюхом, который никогда ему не изменял; вот почему он ни разу не подвергся страшной опасности съесть плохо приготовленное рагу или отведать посредственного вина. Он знаменитость в своем роде, так как довел искусство насыщения до наивысшего предела; нет человека, который ел бы так много и с таким увлечением. Поэтому он верховный судья во всем, что касается лакомой еды; никто не дерзает любить то, чего он не одобряет. Его уже нет: он испустил дух прямо за столом, давая обед даже в последний день жизни. Где бы он сейчас ни был, он ест; если он вернется на землю, то лишь затем, чтобы есть.

123

Руфин начинает сидеть, но еще крепок; у него свежее лицо и живой взгляд, которые сулят ему еще по крайней мере лет двадцать жизни; он бодр, весел, шутив и беззаботен; он всегда смеется от всего сердца, даже в одиночестве, даже без повода; он доволен собой, свонми близкими, своим скромным достатком и уверяет, что счастлив. Потеряв единственного сына, молодого человека, который подавал большие надежды и обещал стать украшением рода, он возложил на других труд оплакать его, объявив: «Мой сын умер, это убьет его мать», — и утешился. У него нет ни пристрастий, ни друзей, ни врагов; никто ему не противен, все ему нравятся, везде ему удобно; он вступает в разговор с первым встречным так же открыто и доверчиво, как и с теми, кого именует старыми друзьями, и сразу выкладывает ему все свои шутки и анекдоты. Люди подходят к нему, расстаются с ним, а он ничего не замечает; начав что-нибудь рассказывать одному, он досказывает это уже другому, сменившему первого.

Н. одряхлел не столько от лет, сколько от болезни: ему не больше шестидесяти восьми, но он страдает подагрой и почечными коликами. У него изможденное лицо землистого оттенка, предвещающее скорую смерть. Тем не менее он мергелюет свои земли, рассчитывая, что после этого ему лет пятнадцать не придется их унавоживать; он сажает молодой лес в надежде на то, что меньше чем за двадцать лет на этом месте вырастет тенистая роща; он воздвигает на \*\*\*ской улице дом из тесаного камня, скрепленный по углам железными скобами, и уверяет слабым, хриплым, прерывающимся от кашля голосом, что здание простоит века; каждый день он обходит стройку, опираясь на руку слуги; он показывает друзьям, что уже сделано, и объясняет, что еще намерен сделать. Он строит не для детей — у него их нет; не для наследников — людей пустых и состоящих с ним в ссоре; он строит для себя, хотя завтра умрет.

Все знают Антагора в лицо, оно всем примелькалось; приходский сторож или каменный святой, чья статуя украшает главный алтарь собора, вряд ли знакомы нам лучше, чем он. Утром его видят во всех отделениях и канцеляриях парламента, вечером — на всех улицах и перекрестках города. Вот уже сорок лет, как он ведет тяжбы, и скорее расстанется с жизнью, чем с этим занятием. За это время во Дворце правосудия не было ни одного крупного дела, ни одной долгой и запутанной процедуры, к которым он не имел бы касательства хотя бы в качестве свидетеля; его имя не сходит с уст адвокатов и согласуется со словами «истец» и «ответчик» так же естественно, как существительное с прилагательным. Он — всем родня и всеми ненавидим: нет семьи, с которой он не судился бы и которая не судилась бы с ним. Он то накладывает арест на имение, то опротестовывает секвестр, то представляет в суде на основании *committimus*,<sup>1</sup> то выступает как судебный исполнитель, а сверх того, каждый день присутствует на собраниях кредиторов; всюду его выбирают конкурсным синдиком, он терпит убытки при каждом банкротстве и все-таки выкраивает время для ви-

<sup>1</sup> Полномочия (лат.).

витов. В гостиных к нему привыкли, как к старому дивану; он рассуждает там о своей тяжбе и передает новости. Вы расстаетесь с ним у одного знакомого в Маре и вновь встречаетесь в Сен-Жерменском предместье, куда он поспел раньше вас и где снова рассказывает все те же новости и толкует все о той же тяжбе. Если вы судитесь сами и на другой день с зарею вас обещал принять по вашему делу один из судей, вы добьетесь у него аудиенции не раньше, чем он окончит разговор с Антагором.

126

Некоторые люди тратят всю свою долгую жизнь на то, чтобы отвечать по искам одних и вчинять иски другим, и умирают от старости, причинив столько же зла, сколько испытали сами.

127

Секвестр, опись имущества, тюрьмы, казни — все это, разумеется, необходимо; но, оставив в стороне правосудие, законы и денежные расчеты, я все равно не перестану удивляться жестокости, с которой человек относится к себе подобным.

128

Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логова, где утоляют голод ржаным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим право не остаться без хлеба, который посеяли.

129

Дон Фернандо — ленивый, невежественный, злоречивый, задиристый, плутоватый, невоздержный, наглый провинциал, но он всегда готов обнажить шпагу против соседей и по малейшему поводу рискует жизнью; он убивал людей, он сам будет убит.

Провинциальный дворянин, человек, не нужный ни отечеству, ни семье, ни себе самому, часто бездомный, оборванный и лишенный каких-либо достоинств, сто раз на дню повторяет, что он благороден, с презрением говорит о выскочках в меховых мантиях и бархатных шапочках, всю жизнь рассуждает о своих дворянских грамотах и титулах и уверяет, что не променял бы их на канцлерский жезл.

Жизнь каждого из нас представляет собой бесконечно разнообразное сочетание власти, милостей, талантов, богатства, высокого положения, знатности, силы, предприимчивости, способностей, добродетели, порока, слабости, глупости, беспомощности, низости происхождения и подлости. Эти обстоятельства, переплетаясь у разных людей на тысячи разных ладов и восполняя друг друга, определяют нашу сословную принадлежность и место в обществе. Сверх того, люди, которые всегда знают слабые и сильные стороны ближнего, воздействуют друг на друга в соответствии со своим разумением: признают одних равными себе, чувствуют, когда другие превосходят их, и понимают, когда сами превосходят третьих; так возникают непринужденная дружба, или почтительное уважение, или презрительное высокомерие. Поэтому в общественных местах и всюду, где бывает стечение народа, мы ежеминутно сталкиваемся и с теми, с кем жаждем заговорить и поздороваться, и с теми, кого стараемся не заметить и уж подавно не подпустить к себе. Порою знакомство с одними нам лестно, а с другими — зазорно; порою тот, чьей близостью мы гордимся и с кем нам хочется побыть на людях, сам стесняется нашего присутствия и покидает нас. Бывает и так, что человек, который гнушается нас и держится с нами свысока в одном месте, в другом сам оказывается тем, кого гнушаются и с кем держатся свысока другие. Словом, тот, кто презирает нас, довольно часто сам вызывает к себе презрение. Как все это низко! Если верно, что люди, ведя себя друг с другом столь нелепо, всегда в чем-то выигрывают с одной стороны и непременно в чем-то проигрывают с другой, то не большего ли

добьются они, если откажутся от надменности и спеси, не подобающих слабому человеку, придут ко всеобщему согласию и научатся проявлять друг к другу взаимную благожелательность, которая выгодна тем, что избавляет нас не только от боязни претерпеть унижение, но и от опасности унижить других?

132

Вместо того чтобы пугаться или стыдиться слова «философ», каждому из нас следовало бы покороче познакомиться с философией.<sup>1</sup> Знать ее подобает всем; претворять ее истины в жизнь полезно людям любого возраста, пола и положения. Она помогает нам мириться с чужим счастьем, с предпочтением, отдаваемым недостойным, с успехом злых, с утратой наших сил или красоты; она дает нам оружие против бедности, старости, болезней, смерти, докучных глупцов и злорадных насмешников; она учит нас жить без любимой женщины или терпеть ту, с которой мы живем.

133

Люди в одно и то же время открывают душу мелким радостям и позволяют брать над собой верх мелким горестям: в природе нет ничего, что могло бы сравниться в непостоянстве и непоследовательности с их умом и сердцем. Исцелиться от этого можно, лишь познав истинную цену житейских благ.

134

Найти тщеславного человека, считающего себя достаточно счастливым, так же трудно, как найти человека скромного, который считал бы себя чересчур несчастным.

135

Я лишь потому не кляню судьбу, не сделавшую меня государем или министром, что слишком хорошо знаю, какова участь виноградаря, солдата и каменотеса.

---

<sup>1</sup> Мы, конечно, имеем в виду лишь ту, которая вдохновляется христианской верой. (Прим. автора.)

Истинно несчастен человек лишь тогда, когда он чувствует за собой вину и упрекает себя в ней.

Большинство людей, стремящихся к цели, способны скорее сделать одно большое усилие, чем упорно идти избранной дорогой: из-за лени и непостоянства они часто утрачивают плоды лучших своих начинаний и дают обогнать себя тем, кто отправился в путь позднее, чем они, и шел медленнее, но зато безостановочно.

Я беру на себя смелость утверждать, что люди лучше умеют составлять планы, нежели выполнять их; им легче решить, что нужно сказать или сделать, чем сказать или сделать то, что нужно. Часто, обсуждая какое-нибудь дело, мы решаем о чем-то умолчать, но затем — то ли по горячности, то ли из-за несдержанности в речах, то ли в пылу разговора — первым делом разглашаем наш секрет.

Люди нерадивы в том, что составляет их долг, но считают за честь (вернее, из тщеславия убеждают себя в этом) проявлять энергию в делах, им чуждых и не свойственных ни их положению, ни характеру.

Разница между поведением человека, совершающего не свойственные ему поступки, и его истинным характером та же, что между личиной и лицом.

Телеф наделен умом, но, по правде говоря, в десять раз меньшим, чем он полагает; следовательно, все, что он говорит, делает, намечает, задумывает, в десять раз превышает его умственные способности и не соответствует ни его силам, ни задаткам. Этот вывод не вызывает со-

мнений. Перед Телефом как бы воздвигнут барьер, который ограничивает его и предупреждает, что дальше идти нельзя, но он не обращает на это внимания и выходит за пределы своей сферы. Он сам находит свою слабую сторону и показывает себя именно с этой стороны: говорит о том, чего не знает, или о том, что знает плохо; затевает то, что ему не по плечу; стремится к тому, что превышает его возможности, и в каждом деле пытается сравниться с лучшими. У него много хороших и похвальных качеств, но он всё портит желанием выдать их за редкие и несравненные: люди сразу видят, что он не то, чем кажется, и лишь с трудом угадывают, каков он на самом деле. Телеф — человек, который не способен верно себя оценить, который не знает себя. Характер его примечателен неумением ограничиться тем, что ему свойственно, что присуще только ему.

142

Человек самого недюжинного ума не всегда бывает ровен: вдохновение то осеняет, то покидает его, за подъемами следуют спады; в последнем случае — если только ему не чужда осмотрительность — он старается поменьше говорить, ничего не пишет, не дает воли воображению и держится подальше от себе подобных. Можно ли петь, если горло простужено? Не разумнее ли подождать, пока восстановится голос?

Глупец подобен *автомату*, механизму, пружине: собственная тяжесть увлекает его, движет, поворачивает, причем всегда в одном направлении и всегда с одинаковой скоростью. Он однообразен и неизменен: кто видел его раз, тот уже видел его во все минуты и периоды жизни. В лучшем случае он напоминает быка, который умеет мычать, или дрозда, который умеет свистеть: все в нем предугазано и предопределено его природой и, осмелюсь сказать, породой. Труднее всего заметить в нем душу: она бездействует, не совершенствуется, спит.

143

Глупец не подвластен смерти: если с ним и случается то, что у нас принято называть кончиной, он, по правде говоря, лишь выигрывает от нее, ибо начинает жить как раз в ту минуту, когда другие умирают. Тогда его дух

принимается думать, мыслить, рассуждать, приходить к выводам, выносить суждения, — словом, делать все, чего не делал раньше; он высвобождает себя из той массы плоти, в которой был как бы погребен без дела, без движения, без всего, что его достойно. Я сказал бы даже, что он стыдится тела с его грубыми и несовершенными органами, к которому был так долго прикован и которому сумел придать лишь облик недоумка или законченного глупца; он становится ровней великим душам, вдохновлявшим сильные умы и большие дарования. Дух Алена в такие минуты неотличим от духа великого Конде, Ришелье, Паскаля или Ленжаида.

144

Ложная деликатность в поступках, частной жизни и поведении названа так не потому, что она притворна, а потому, что мы проявляем ее в таких обстоятельствах и применительно к таким предметам, которые не заслуживают этого. Наоборот, ложная деликатность вкусов и нрава ложна именно потому, что всегда является притворной и напускной. Так, Эмилия кричит что есть мочи, подвергаясь ничтожной опасности, которая вовсе ее не страшит; другая женщина из жеманства бледнеет при виде мыши; третья обожает фиалки и падает в обморок, почуяв запах тубероз.

145

Кто осмелился вообразить, что он способен удовлетворить все желания человека? Может ли задаться такой мыслью самый щедрый и могущественный монарх? Что ж, пусть он попробует ее осуществить; пусть поставит себе одну цель — доставлять людям удовольствие; пусть откроет свой дворец придворным, даст им доступ даже в свои покои; покажет им зрелища в садах, один вид которых — сам по себе зрелище; устроит для них изысканнейшие игры, концерты, развлечения; прибавит к этому вкуснейшие яства и полную свободу; сам войдет в их общество и предастся тем же забавам; невзирая на все свое величие, станет с ними любезен и, несмотря на свой героический облик, будет человечен и приветлив, — все равно им этого будет мало. Людям в конце концов приедаются даже то, что сначала их очаровывало; рано или поздно они сбегали бы даже из-за стола богов и нектар показался бы им

приторным. Они без колебания порицают то, что совершенно, руководствуясь при этом тщеславием и изощренной привередливостью: если верить им, у них такой тонкий вкус, что его не могут удовлетворить никакие старания, никакие поистине царские затраты. Объясняется это также их злобностью, которая доходит до того, что человеку приятно отравлять радость, которую испытывают другие, исполняя его же собственные прихоти. Однако те же самые люди, которые обычно так льстивы и угодливы, могут представлять в совершенно ином свете — иногда они становятся настолько неузнаваемы, что даже в царедворце виден человек.

146

Манерность жестов, речи и поведения нередко бывает следствием праздности или равнодушия; большое чувство и серьезное дело возвращают человеку его естественный облик.

147

У людей нет характера, а если и есть, то проявляется он в том, что они лишены характера последовательного, постоянного и выражающего подлинную их сущность. Они глубоко страдают, когда им приходится быть всегда одинаковыми, и не изменять своей склонности к порядку или беспорядку. Если они иногда отдыхают от одной добродетели, воспитывая в себе другую, то еще чаще отвыкают от одного порока, приучаясь к другому. Страсти их противоречивы, слабости взаимно исключают друг друга. Им проще переходить от одной крайности к другой, чем вести себя так, чтобы один поступок вытекал из другого. Враги умеренности, они во всем — и в дурном и в хорошем — впадают в преувеличения, которых сами же не могут вынести и которые смягчают тем, что бросают начатое дело и принимаются за другое. Адраст был так развращен и распутен, что ему оказалось легче последовать за модой и впасть в хайжество, чем сделаться просто порядочным человеком.

148

Почему те же самые люди, которые невозмутимо встречают величайшие несчастья, исходят желчью и теряют над собой власть при самых незначительных огорчениях?

Такое поведение не может быть продиктовано мудростью, ибо добродетель всегда остается добродетелью и ни в чем себе не изменяет; очевидно, оно объясняется пороком, и понятно каким — тщеславием, которое пробуждается и поднимает голову лишь при таких обстоятельствах, когда мы можем обратить на себя внимание, представ перед людьми в выгодном свете, но не дает о себе знать во всех остальных случаях.

149

Мы редко раскаиваемся в том, что сказали слишком мало, но часто сожалеем о том, что говорили слишком много: избитая и банальная истина, которую все знают и которой никто не следует.

150

Приписывать своим врагам то, в чем они не грешны, и лгать, чтобы опозорить их, — значит давать им огромное преимущество перед собой и наносить вред самому себе.

151

Сколько преступлений, не только скрытых, но даже явных и всем известных, не было бы совершено, если бы человек умел краснеть за себя!

152

В том, что иные люди не идут по стезе добра так далеко, как могли бы, виноваты их первые воспитатели.

153

Известная духовная ограниченность помогает иным людям идти по стезе мудрости.

154

Детям нужны розги и ферила, взрослым — корона, скипетр, бархатные шапочки и меховые мантии судей, ликторские фаски, барабаны и мундиры. Разум и правосудие,

лишенные своих атрибутов, никого не убедят и не устроят. Человек по своей природе духовен: он руководствуется зрением и слухом.

155

Тимон, как и всякий мизантроп, может быть суров и озлоблен душою, но внешне он всегда учтив и церемонен: он держит себя в руках и не позволяет себе быть с людьми накоротке. Напротив, он ведет себя с ними пристойно и серьезно, уклоняясь от всякой фамильярности с их стороны. Он не желает ни познакомиться с ними поближе, ни стать их другом и уподобляется в этом смысле женщине, прнехавшей с визитом к другой.

156

Разум похож на истину: он один. К нему всегда идут одной дорогой, удаляются же от него тысячью путей. Гораздо проще постигнуть разумного человека, чем изучить людей взбалмошных и глупых. Тот, кто встречался в жизни лишь с учтивыми и рассудительными людьми, либо не знает человека вовсе, либо знает его только наполовину. Характеры и нравы многообразны, но светские отношения и учтивость делают людей внешне одинаковыми и уподобляют их друг другу, приучая к одному и тому же поведению, которое всем приятно, всем кажется естественным и заставляет предпологать, что много и быть не может. Напротив, человек, который попадает в общество простолюдинов или уезжает в провинцию, вскоре — если только он не лишен глаз — делает любопытные открытия, видит новые для себя вещи, о которых он не подозревал и не имел ни малейшего представления, постоянно обогащает свой опыт и все глубже познает род людской, чуть ли не с математической точностью исчисляя, во скольких отношениях человек может быть несносным.

157

Основательно изучив людей и поняв лживость их мыслей, чувств, склонностей и привязанностей, мы должны признать, что непостоянство обходится им дешевле, чем могла бы обойтись последовательность.

Сколько на свете душ слабых, вялых, холодных, которые могли бы дать пищу сатире, хотя у них и нет серьезных недостатков! Сколько у человека странных и смешных сторон, на которые никто не обращает внимания, мимо которых проходят воспитание и мораль! Все это — единственные в своем роде пороки, которые не передаются другим людям, ибо они присущи не столько человечеству в целом, сколько каждому человеку в частности.

*Глава XII*  
О СУЖДЕНИЯХ

1

Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как злобное упрямство; отсюда — партни, заговоры, ереси.

2

Мы не можем относиться к одним и тем же вещам всегда одинаково: вслед за увлечением неизменно приходит отвращение.

3

Великое удивляет нас, ничтожное отталкивает, а привычка примирает и с тем и с другим.

4

Привычка и новизна исключают друг друга, и обе равно притягивают нас.

5

Только люди с неизменной душой могут рассыпаться в похвалах тем, о ком до их возвышения отзывались пренебрежительно; такое поведение пристало лишь черни.

6

Монаршие милости не исключают высоких достоинств, но и не предполагают их.

Удивительно, что при всей нашей спеси, самодовольстве и вере в безошибочность нашего суждения мы сразу же теряем способность здраво рассуждать, как только речь заходит об оценке достоинств ближнего: мода, благосклонность толпы или монаршая милость подхватывают и уносят нас, как поток. Мы гораздо чаще хвалим то, что расхвалено другими, нежели то, что похвально само по себе.

Я знаю, как трудно человеку хвалить или одобрять то, что больше всего заслуживает похвалы или одобрения, и не уверен поэтому, что добродетель, достоинства, красота, благие дела и прекрасные творения сильнее и непосредственнее воздействуют на нас, нежели зависть, ревность и недоброжелательство: святоша<sup>1</sup> поминает добрым словом не святого, а такого же святошу, как он сам; если красивая женщина превозносит красоту другой женщины, мы не ошибемся, заключив, что она красивее той, которую превозносит; если один поэт хвалит стихи другого, можно биться об заклад, что они плохи и не заслуживают внимания.

Люди мало нравятся друг другу и не склонны одобрять ближнего: его поступки, поведение, мысли, речь — ничто им не нравится, ничто не по вкусу. Слушая рассказ, внимая разговору или читая книгу, они мысленно представляют себе, как поступили бы сами при тех же обстоятельствах, что подумали или написали бы о том же предмете; и так полны собственными мыслями, что для чужих уже не остается места.

Большинство людей так привержены к пустякам или к своим прихотям, так легко перенимают друг у друга пороки и чудачества, что стремление казаться не таким, как все, было бы естественным и не противоречило бы здравому смыслу, если бы только мы умели не захо-

<sup>1</sup> Ханжа, (Прим. автора.)

дить в нем слишком далеко и оставаться в пределах разумного.

«Поступай как другие» — сомнительное правило: за исключением обстоятельств чисто внешних и маловажных — обычаев, моды или приличий, — оно всегда означает: «Поступай дурно».

11

Будь люди действительно людьми, а не медведями или пантерами, будь они честны и справедливы к себе и другим, что стало бы с законами, с их текстами и многотомными комментариями к ним, с исками о *праве собственности*, с актами о *введении во владение*, со всею так называемой юриспруденцией, а равно и с теми спесивцами, которые только потому так важничают, что им дана власть блюсти и отправлять правосудие? Отличайся люди искренностью и прямотоушием, излечись они от предубеждений, кто согласился бы тратить время на ученые диспуты, схоластику и контроверзы? Соблюдай они воздержание, целомудрие, умеренность, кому был бы нужен таинственный лекарский жаргон — сущие золотые россыпи для тех, кто им владеет? Какая жалкая участь ожидала бы вас, законники, врачи, богословы, если бы мы поклялись себе стать благоразумными! Сколько так называемых великих людей оказались бы ненужными как в делах мира, так и в делах войны! Сколько исчезло бы бесполезных искусств и наук, доведенных ныне до высшей степени утонченности и совершенства, хотя необходимы они лишь потому, что служит лекарством от бед, единственная причина которых — наша склонность к злу! Как много со времен Варрона появилось такого, чего не знал Варрон! Не хватит ли с нас и той учености, которою обладали Платон и Сократ?

12

В церкви на проповеди, в опере или в картинной галерее мы со всех сторон слышим противоположные мнения об одном и том же предмете. Поэтому я склоняюсь к мысли, что в любой области можно творить как прекрасное, так и посредственное — на то и на другое найдутся любители. Не бойтесь даже отвратительного: отыщутся поклонники и у него.

Феникс певучей поэзии возрождается из пепла: слава его погибла, но потом мгновенно ожгла. Публика, этот непогрешимый и бесповоротный в своих приговорах судья, изменила мнение на его счет. Одно из двух: либо она ошибалась прежде, либо ошибается сейчас. Человек, который сегодня решится сказать, что иные сочинения К. плохи, встретит такой же отпор, какой встретил бы вчера, скажи он тогда: «К. — хороший поэт».

Ш—н был богат, а К—ль беден, хотя «Девственница» и «Родогуна» заслуживали совсем не того приема, какой был им оказан. Мы недаром вновь и вновь спрашиваем себя, почему в любом деле один преуспевает, а другой терпит неудачу, и во всем виним случай, стараясь оправдать таким способом собственную несправедливость; уступая ей, мы обходим лучших и выбираем худших, если это идет на пользу нашим делам, наслаждениям, здоровью и жизни.

Звание комедианта считалось позорным у римлян и почетным у греков. Каково положение актеров у нас? Мы смотрим на них как римляне, а обходимся с ними как греки.

Батиллу достаточно было стать мимом, чтобы римские матроны начали за ним гоняться; Роя танцевала на подмостках, а Росция и Нерина пели в хоре, — этого оказалось довольно, чтобы привлечь к ним толпу поклонников. Тщеславие и дерзость, следствия чрезмерного могущества, отбили у римлян охоту соблюдать тайну и быть скрытными: им нравилось превращать театр в арену своих любовных похождения, они не испытывали ревности к толпе, заполнявшей амфитеатр, и делились с нею прелестями своих любовниц: вкус их был так неразвит, что они заботились лишь об одном — показать, что они любят комедиантку, даже если она некрасивая женщина и дурная актриса.

Ничто так не помогает уяснить себе истинное мнение людей об изящной словесности и науках, а также о пользе последних для государства, как отношение к тем, кто посвятил себя такой деятельности. Любое, даже самое грубое ремесло, даже самое низкое звание куда быстрее дают надежные и ощутимые преимущества, нежели занятия литературой и наукой. Комедиант, развалившись в карете, забрызгивает грязью лицо Корнелию, который идет пешком. Для многих слова «ученый» и «педант» — это синонимы.

Нередко богатч разглагольствует о науке, а ученым приходится хранить молчание, слушать и рукоплескать, если они не хотят прослыть педантами.

Нужна известная смелость, чтобы не стыдиться репутации ученого между людьми, питающими глубокое предубеждение против мужей науки, за которыми они отрицают учтивость, любезность, общительность, почтя их кабинетными затворниками и книжными червями. Невежество — состояние привольное и не требующее от человека никакого труда; поэтому невежды исчисляются тысячами и подавляют ученых числом как при дворе, так и в столице. Если те в свое оправдание ссылаются на пример д'Эстре, Арле, Боссюэ, Сегье, Монтозье, Варда, Шевреза, Новьона, Ламуаньона, Скюдери,<sup>1</sup> Пелиссона и множества других, чья ученость не уступала учтивости; если они дерзают приводить славные имена Конде, Конти, герцогов Шартрского, Бурбонского, Мэнского и принца Вандомского — принцев, умевших сочетать отменные и высочные познания с поистине аттическим красноречием и римской светскостью, им без обиняков возражают, что это — исключения; если они взывают к самым веским доводам, последние все равно тонут в шуме толпы. Между тем людям следовало бы не осуждать ученых столь бесповоротно, а, напротив, дать себе труд сообразить, что умы, которые, так много сделав для науки, помогают нам правильно мыслить, судить, говорить и писать, должны тем самым способствовать и облагораживанию нравов.

<sup>1</sup> Мадемуазель Скюдери. (Прим. автора.)

Нужно очень немного, чтобы отличаться утонченностью манер, и очень многое, чтобы отличаться утонченностью ума.

19

«Это же ученый! Значит, он неспособен к делам, я не доверил бы ему даже заведовать моим гардеробом», — говорит политик, и он, разумеется, прав. Д'Осса, Хименес, Ришелье тоже были ни на что не годными людьми и бездарными министрами — они ведь отличались ученостью! «Он знает по-гречески, — продолжает государственный муж, — это книжник, философ!» Но тогда любая афинская фруктощица, по всей вероятности говорившая по-гречески, тоже, несомненно, была философом, а Биньон и Ламуаньон, которые знали этот язык, — пустыми книжниками! Какой вздор, какую чепуху нес великий, мудрый и столь разумный Антонин, утверждая, что «народы были бы счастливы, если бы император сам был философом или к власти пришел философ», то есть книжник.

Язык — это всего лишь ключ, открывающий доступ к науке, но презрение к ним бросает тень и на нее. Дело не в том, древний ли это язык или новый, мертвый или живой, а в том, груб он или обработан, со вкусом или без вкуса написаны книги, созданные на нем. Предположим, что наш французский язык через столько-то веков разделит участь греческого и латинского и на нем перестанут говорить; неужели того, кто будет читать Мольера и Лафонтена, тоже объявят тогда педантом?

20

Я упоминаю имя Эврипила, и вы говорите: «Это остроумец», как сказали бы о том, кто тешет бревно: «Это плотник», а о том, кто чинит стену: «Это каменщик». Но где же мастерская человека, чье ремесло, по-вашему, заключается в остроумии? Какая у него вывеска? Можно ли узнать его по платью? Какие он употребляет инструменты — клнн или молот и наковальню? Где он рубит или колет, где выставляет свой товар на продажу? Ремесленник гордится своим ремеслом. А гордится ли Эврипил своим остроумием? Если да, значит, он глупец, разменивающий свой ум на мелочи, низкая и бесчувственная душа, которой недоступны и то, что по-настоящему умно, и то,

что поистине остро. Если же нет, тогда он действительно человек рассудительный и умный.

Вам, наверно, случалось иногда сказать о буквоеде или плохом поэте: «Он остроумен». А разве себя самого вы почитаете человеком, лишенным ума? Если нет, значит, он у вас не туп и вы тоже остроумец. Но я вижу, что это слово кажется вам чуть ли не оскорблением. В таком случае я согласен: именуйте так Эврипила и употребляйте это выражение с насмешкой, как делают глупцы, не понимающие смысла слов, или невежды, которых оно утешает в недостатке образованности, им недоступной.

## 21

Не говорите мне о слоге, чернилах, бумаге, пере, типографшике и печатном станке! Пусть никто не дерзает уверять меня: «Ты так хорошо пишешь, Антисфен! Что же ты медлишь? Неужели мы неждемся от тебя какого-нибудь ин-фолио? Рассмотрю все добродетели и все пороки в последовательном и методичном труде, которому не было бы конца (следовало бы еще добавить: «и который никто не станет читать»)». Нет, я навсегда отрекаюсь от того, что называлось, называется и будет называться книгой. Берилла падает в обморок при виде мыши, я — при виде книги. Вот уже двадцать лет обо мне толкуют на площадях, но разве мои яства стали изысканнее, разве я теплее одет, разве холод не проникает ко мне в комнату, разве я сплю на пуховой перине? «Но вы достигли славы, у вас громкое имя», — возражаете вы. Но не то же ли это самое, что ветер, гуляющий в кармане? Заменяют ли они хоть крупицу того металла, который доставляет человеку все, что ему нужно? Жалкий стряпчий, приписывая лишнее к счету и получая мзду за то, чего не делал, выдает дочь за графа или судью. Человек, носивший красную или светло-коричневую ливрею, становится правой рукой откупщика и вскоре затмевает богатством хозяина: тот все еще простой горожанин, а он уже купил себе дворянство. Б. составляет себе состояние, показывая марионеток; Б.Б. — продавая речную воду в бутылках. Другой шарлатан приезжает к нам из-за гор с пустым сундучком и не успевает снять поклажу с плеч, как на него дождем сыплются пенсии; вот он уже готов вернуться туда, откуда прибыл,

только теперь его имуществом набиты фургоны, влекомые мулами. Меркурий—это Меркурий, и только, но его интриги и уловки ценятся так высоко, что за них платят не только пенсионерами, но милостями и отлнчиями. Впрочем, оставим в стороне незаконные доходы. Черепичник получает деньги за свою черепицу, каждому работнику оплачивают его время и труд. А как воздают сочинителю за то, что он думает и пишет? Щедро ли вознаграждают его даже тогда, когда мысли его глубоки? Обставляет ли он свой дом, получает ли дворянство благодаря тому, что разумно мыслит и хорошо пишет? Люди должны быть одеты и выбриты, дома их должны закрываться крепкими дверьми, но необходима ли им образованность? Какая нелепость, глупость, безумие повесить над входом в свое жилище надпись: «Здесь живет писатель или философ!»—продолжает Антисфен. Нет, дайте мне, если можно, доходное место, которое позволит мне украсить мою жизнь, одалживать друзей, давать тем, кто не в состоянии вернуть взятое, и писать для забавы, для развлечения, как Титир свистит или играет на флейте. Только при этом условии я согласен писать, уступив настояниям тех, кто берет меня за горло и твердит: «Пиши!» Пусть на обложке моей новой книги они прочтут: «О красоте, добре, истине, идеях и первичных началах, сочинение Антисфена, торговца морской рыбой».

## 22

Будь послы чужеземных государей обезьянами, обученными ходить на задних лапах и объясняться с нами через толмача, мы и то были бы менее удивлены, нежели теперь, когда слушаем их меткие ответы и здравомыслящие речи. Из предубеждения против чужой страны, усугубленного национальной гордостью, мы забываем, что разум живет под любыми широтами и что мудрые мысли встречаются всюду, где есть люди. Нам не хочется, чтобы к нам относились так же, как мы сами относимся к тем, кого почитаем варварами; так вот, наше варварство проявляется в недоверии к тому, что другие народы умеют рассуждать не хуже, чем мы.

Не все чужеземцы — варвары, и не все наши соотечественники — люди цивилизованные, равно как не всякая

деревня<sup>1</sup> неотесана и не всякий город учтив. В известном уголке некоей приморской провинции одного великого европейского королевства крестьяне любезны и обходительны, горожане же и чиновники, напротив, из поколения в поколение отличаются грубостью.

23

При всей чистоте нашего языка, изысканности одежды, утонченности нравов, превосходных законах и белой коже мы кажемся некоторым народам сущими варварами.

24

Расскажи нам жители Востока, что у них принято напиваться некоей жидкостью, которая ударяет в голову, мутит рассудок и вызывает рвоту, мы воскликнули бы: «Какое варварство!»

25

Этот прелат — редкий гость при дворе, он не умеет вести светскую беседу, его не увидишь в женском обществе; он не играет ни в большую, ни в малую прюму, не бывает на празднествах и спектаклях, чужд каким бы то ни было проискам и не способен интриговать; он безвыездно пребывает в своей епархии и занят лишь тем, что наставляет народ словом и поучает его собственным примером; он истощает свое достояние милостыней, а тело — покаянием, ведет строго христианский образ жизни и соревнуется с апостолами в рвении и благочестии. Но вот времена изменились, и при новых порядках ему уже грозит более высокий сан.

26

Хорошо бы дать понять людям известного характера и серьезных (чтобы не сказать больше) занятий, что им вовсе незачем доказывать свое умение играть в карты, петь и развлекаться, как это делают все, ибо, видя их столь шу坦ными и общительными, никто не поверит, что в других обстоятельствах они умеют быть и верны долгу

---

<sup>1</sup> Это выражение употреблено здесь в переносном смысле. (Прим. автора.)

и суровы. Нельзя ли даже внушить им, что такое их поведение несовместимо с той самой светскостью, которую они кичатся, ибо человек светский сообразует свои манеры со своим положением, избегает контрастов и старается всегда быть одинаковым, чтобы не показаться странным и смешным?

27

Нельзя судить о человеке с первого взгляда, как мы судим о картине или статуе, а нужно проникнуть в глубины его души. Достоинства обычно окутаны покровом скромности, недостатки прикрыты маской лицемерия; только немногие сердцеведы умеют сразу постичь характер ближнего, ибо и совершенная добродетель и закоренелый порок обнаруживают себя лишь постепенно, да и то под давлением обстоятельств.

28

ОТРЫВОК

...Он сказал, что ум этой красавицы подобен алмазу в роскошной оправе, и, продолжая разговор о ней, присовокупил, что подобное сочетание высокой души и телесной прелести так пленяет рассудок и сердце каждого, кто говорит с нею, что человек бессилен решить, увлечен ли он ею или просто удивляется ей: в Артенисе есть и то, без чего нет совершенной дружбы, и то, что может завести вас гораздо дальше. Слишком молодая и обаятельная, чтобы не возбуждать восхищения, и в то же время слишком скромная, чтобы стремиться покорять сердца, она ценит в мужчинах только их добродетели и видит в них только друзей; живая по натуре и способная глубоко чувствовать, она поражает и чарует вас; владея искусством поддерживать самую изысканную и утонченную беседу, она умеет сверх того оживлять ее удачными остротами, которые не только доставляют слушателям удовольствие, но и устраняют потребность в ответе; она говорит с вами как женщина, которая не сведуща в науках, но слышала о них и старается приобрести побольше познаний; она внимает вам как человек, который много знает и способен оценить ваши слова, так что ни одно, произнесенное в ее присутствии, не пропадает даром. Отнюдь не вступая с вами в спор на манер Эльвиры, которой больше нравится слыть женщиной живого ума, нежели выказывать

здравый смысл и рассудительность, она становится на вашу точку зрения, усваивает ваши взгляды, развивает и украшает их, и вы всегда уходите довольный собою, видя, что мыслили правильней и высказались красноречивей, чем сами того ожидали. Не зная тщеславия и тогда, когда говорит, и тогда, когда пишет, она не пытается блистать изысканностью слога там, где всего важнее смысл, ибо понимает, что секрет красноречия — в простоте. Если нужно оказать кому-нибудь услугу и заручиться для этого вашей помощью, Артениса предоставляет Эльвире прибегать к выпренным риторическим прикрасам, которые та заимствует из книг и пускает в ход по любому поводу: она воздействует на вас лишь своей искренней, пылкой и убежденной готовностью быть человеку полезной. Преобладающая ее черта — любовь к чтению и к обществу людей выдающихся и прославленных, причем она окружает себя ими не столько для того, чтоб они знали о ней, сколько для того, чтобы самой их знать. Уже сейчас можно предугадать, какой мудрой и добродетельной она станет с годами, ибо ведет она себя безупречно, воодушевлена наилучшими намерениями и придерживается самых безошибочных правил, какими только может руководствоваться женщина, окруженная множеством поклонников и льстецов. Для того чтобы ее достоинства засияли полным блеском, ей недостает, пожалуй, только случая или того, что называется публикой, ибо она живет довольно замкнуто и даже ищет уединения, хотя ее отнюдь нельзя назвать нелюдимой.

Красивая женщина хороша и такая, как она есть: она сохраняет всю свою прелесть даже тогда, когда одета просто и украшена только своей привлекательностью и молодостью; бесхитростная грация так озаряет ее лицо, так облагораживает малейшее ее движение, что никакие ухищрения моды, никакой наряд не сделают ее еще более опасной для мужчин. Точно так же порядочный человек достоин всякого уважения сам по себе, независимо от внешнего вида, который он придает себе, чтобы казаться более величавым или добродетельным: облик реформата, чрезмерная скромность, убогий наряд, широкополая шляпа ничего не прибавят к его внутреннему благородству, не подчеркнут его достоинств, а лишь приукрасят

их н, пожалуй, лишат естественности и непринужденности.

Заученная величавость смешна: в данном случае крайности сходятся, правильное же решение, как всегда, — в золотой середине; тот, кто стремится сделаться величавым, никогда в этом не преуспеет — он лишь станет напыщенным. Величавость либо не дается вовсе, либо дается от природы; поэтому отрешиться от величавого вида гораздо легче, нежели приобрести его.

30

Когда одаренный и прославленный человек угрюм и неприступен, он отпугивает молодых людей, отвращает их от добродетели и внушает им подозрение, что следовать ее стезею слишком трудно и скучно; напротив, своей приветливостью и общительностью он дает им полезный урок и убеждает в том, что можно быть веселым и в то же время трудолюбивым, преследовать серьезные цели и все же не отказываться от пристойных удовольствий, то есть становиться для них достойным подражания примером.

31

Не следует судить о человеке по лицу — оно позволяет лишь строить предположения.

32

Умное выражение лица у мужчины можно сравнить с правильностью черт у женщины: это самый заурядный род красоты.

33

Человек, чей ум и способности всеми признаны, не кажется безобразным, даже если он уродлив, — его уродства никто не замечает.

34

Какого искусства требует порой естественность! Сколько времени, опыта, внимания и труда мы тратим на то, чтобы танцевать так же легко и непринужденно, как ходим, петь — как говорим, говорить — как мыслим, и как

не просто вложить в разученную речь, которая пронзится на людях, столько же силы, живости, пыла и убежденности, сколько мы без всяких стараний и подготовки выказываем в частной беседе!

35

Не следует обижаться на человека, который, будучи мало знаком с нами, тем не менее отзывается о нас дурно: его нападки относятся не к нам, а к призраку, созданному его воображением.

36

Есть множество мелких условностей, обязанностей, правил приличия, связанных с местом, временем и определенным кругом людей; ум бессилен угадать их заранее, но они легко постигаются из опыта. Судить о человеке по отступлениям, которые неизбежны, пока он не освоился с правилами, — это все равно что судить о нем по отделке ногтей или прическе и всегда чревато ошибкой.

37

Я не уверен, что о человеке можно судить по первому его промаху или же поступку, вызванному крайней необходимостью, сильной страстью, порывом.

38

Прямая противоположность тому, что говорят о делах и людях, часто и есть истинная правда о них.

39

Следует постоянно быть начеку и следить за каждым своим словом, чтобы в пределах хотя бы часа не высказать двух противоположных мнений об одном и том же предмете или человеке в угоду приличиям и светской благопристойности, которые невольно побуждают нас не противоречить никому из собеседников, даже если их взгляды совершенно несхожи.

Пристрастность обрекает человека на множество мелких неприятностей: поскольку немислнмо, чтобы те, к кому он благоволит, были всегда удачливы и разумны, а те, кто ему не по душе, — неудачливы и неловки, он часто попадает на людях впросак либо из-за промахов своих друзей, либо из-за успеха тех, кого он не любит.

Человек, который склонен к предубеждениям и все же осмеливается занимать светскую или духовную должность, — это все равно что слепой, пожелавший рисовать, немой, решивший произнести речь, или глухой, рассуждающий о симфонии. Впрочем, нет, мои сравнения слишком слабы и дают лишь неполное представление о вреде, причиняемом предвзятостью. Следует прибавить, что она — недуг, страшный, неизлечимый, заражающий каждого, кто приближается к больному, и обращающий в бегство всех — равных, низших, родных, близких и даже врачей, которые могут вылечить пациента, лишь если он сам поймет, что болен, и согласится прибегнуть к лекарствам, то есть научиться слушать других, поменьше доверять самому себе, поглубже внкать в дело и всячески просвещать свой ум. Лыстецы же, плуты, клеветники, словом, те, чей язык служит лишь корысти и лжи, — это шарлатаны, которые, пичкая доверчивого больного тем, что им выгодно, отравляют и медленно убивают его.

Декарт советует судить о предмете лишь после тщательного и досконального его изучения; это правило настолько прекрасно и верно, что его следует применять и к нашим суждениям о людях.

Дурное мнение, которое люди составляют себе о нашем уме, нравственности и манерах, тем менее оскорбительно для нас, чем неблагоприятнее и хуже характер тех, кто его разделяет.

Пренебрежение к человеку достойному восходит к тому же источнику, что и восхищение глупцом.

Глупец — это человек, у которого не хватает ума даже на то, чтоб быть самовлюбленным.

Человек самовлюбленный — это тот, в ком глупцы усматривают бездну достоинств.

Нахальство — это самовлюбленность, доведенная до предела: человек самовлюбленный утомляет, докучает, надоедает, отталкивает; нахал отталкивает, ожесточает, раздражает, оскорбляет; второй начинается там, где кончается первый.

Человек самовлюбленный — это нечто среднее между глупцом и нахалом: в нем есть кое-что и от того и от другого.

Пороки порождаются развращенностью души; недостатки — порочностью характера; смешные стороны — недостатком ума.

Смешной человек — это тот, кто выглядит глупцом, пока бывает смешон.

Глупец смешон всегда: это его отличительная черта; человек не лишенный ума тоже бывает смешным, но недолго.

Промах может сделать смешным даже умного человека.

Глупец всегда глупец, фат всегда фат, нахал всегда нахал, смешным же бывает и тот, кто вправду смешон, и тот, кто лишь кажется смешным людям, которые привыкли видеть смешное там, где его нет и не может быть.

Резкость, грубость, неотесанность — это пороки, от которых иной раз не свободны даже умные люди.

Тупица — это глупец, который не раскрывает рта; в этом смысле он предпочтительней болтливому глупцу.

Одни и те же слова выглядят остротой или наивностью в устах человека умного и глупостью — в устах глупца.

Если бы глупец боялся сказать глупость, он уже не был бы глупцом.

Словоохотливость — один из признаков ограниченности.

Глупец стеснен в каждом своем движении, фат держится непринужденно и самоуверенно, нахал ведет себя нагло, человек достойный отличается скромностью.

Человек самодовольный — это тот, кто соединяет ловкость в мелочах, громко именуемых делами, с крайней ограниченностью ума.

Прибавьте человеку самодовольному каплю ума и еще немножко дел — и он превратится в спесивца.

Пока над спесивцем только смеются, он остается спесивцем; если от него начинают плакать, значит, он уже превратился в гордеца.

Благовоспитанный человек — это нечто среднее между человеком ловким и человеком добродетельным, хотя он ближе к первой из двух этих крайностей.

Расстояние, отделяющее человека благовоспитанного от человека ловкого, с каждым днем уменьшается и вот-вот исчезнет.

Ловкий человек — это тот, кто скрывает свои страсти, не упускает своей выгоды, многим ради нее жертвует и умеет приобретать или беречь богатство.

Благовоспитанный человек — это тот, кто не грабит на большой дороге, никого не убивает и не предаёт свои пороки огласке.

Каждый знает, что человек добродетельный не может не быть благовоспитан; любопытно другое: не всякий благовоспитанный человек добродетелен.

Человек добродетельный — это тот, кто не считает себя святым, не хочет быть святошей<sup>1</sup> и довольствуется тем, что он добродетелен.

56

Талант, вкус, ум, здравый смысл — все это различные, но вполне совместимые достоинства.

Между здравым смыслом и хорошим вкусом та же разница, что между причиной и следствием.

Между умом и талантом то же соотношение, что между целым и частью.

Могу ли я считать умным человеком того, кто ограничил себя рамками какого-нибудь одного искусства или даже науки и, достигнув совершенства в своей области, не выказывает во всем остальном ни рассудительности, ни памятливости, ни живости, ни добронравия, ни порядочности, кто не способен меня понять, кто не умеет ни думать, ни выражать свои мысли, — например, музыканта, который сперва чарует меня своей игрой, а потом словно прячется в тот же футляр, куда кладет лютню? Стоит этому человеку выпустить из рук инструмент, как он превращается в машину, лишенную какой-то важной части и потому ни на что не годную.

А что такое ум в игре? Как определить его? Требуется ли игра в ломбер или шахматы предусмотрительности, тонкости, ловкости? Если требует, то почему в них порой замечательно играют глупцы, а самые одаренные люди не поднимаются даже до уровня посредственности и, взяв з руки карту или фигуру, приходят в смущение и теряют присутствие духа?

Но в мире бывает кое-что еще более удивительное. Вот перед нами человек. Он неотесан, неуклюж и туп на вид, не умеет ни поддержать беседу, ни рассказать, что видел; однако стоит ему взяться за перо, и перед нами образцовый рассказчик: у него говорят даже камни, деревья и бессловесные животные; его сочинения — сама легкость, изящество, сама естественность и тонкость.

---

<sup>1</sup> Ханжой. (Прим. автора.)

Вот другой — он прост, робок, прескучный собеседник, вечно путает слова, судит о достоинствах своей пьесы лишь по деньгам, полученным за нее, не умеет ни продекламировать, ни даже просто хорошо прочитать то, что сам же сочинил. Но на какую высоту поднимается он в своих творениях! Здесь он стоит вровень с Августом, Помпеем, Никомедом, Ираклием: он царь, и притом великий, он политик и философ; герои, которые говорят и действуют в его стихах, — гораздо более римляне, чем римляне исторические.

Вот вам третье чудо. Представьте себе человека обходительного, кроткого, благожелательного, уступчивого и вместе с тем крутого, гневливого, вспыльчивого, капризного; он простодушен, непринужден, доверчив, шутив, легкомыслен — сущее седовласое дитя; но дайте ему сосредоточиться или, вернее, предоставьте свободу его гению, который бурлит в нем, так сказать, без его участия и ведома, — и как вдохновенно, возвышенно, образно зазвучит его неподражаемая латынь! «Да это, наверно, другой человек!» — воскликнете вы. Нет, это все тот же Теодат. Он кричит, беснуется, катается по полу, опять вскакивает, мечет громы и молнии, но тут же вновь начинает сиять отрадным и ярким светом. Скажем прямо: он говорит как безумец и мыслит как мудрец, облакая истины в смешную, а верные и меткие суждения в нелепую форму, и вы с удивлением видите, как сквозь шутовство, гримасы и кривлянья сперва проглядывает, а потом в полном блеске предстает пред вами здравый смысл. Что могу я прибавить? Он сам не подозревает, как хороши могут быть его слова и поступки; в нем как бы живут две души, которые не знают друг друга, не связаны между собой, проявляются поочередно и каждая в своей особой сфере. В этом поразительном портрете не хватало бы последнего штриха, не упомяни я, что он ненасытно жаждет до похвал, готов выцарапать критикам глаза и тем не менее достаточно податлив в душе, чтобы внять их замечаниям. Теперь я и сам начинаю сомневаться, не изобразил ли я здесь два различных лица; впрочем, у Теодата, пожалуй, есть еще и третье: он добрый, остроумный и превосходный человек.

Что встречается реже, чем способность к здравому суждению? Разве что алмазы и жемчуга.

Иной человек признанного таланта, всюду почитаемый и любимый, мал и ничтожен у себя дома, ибо не способен внушить родным уважение к себе. Другой, напротив, — истинный пророк, но только в своих четырех стенах, в кругу близких и родных, которые боготворят его; там он упивается хвалой своим редким и беспримерным достоинствам, с которыми, однако, ему волей или неволей приходится расставаться, как только он выходит за пределы своего дома.

Едва человек начинает приобретать имя, как на него сразу ополчаются все; даже так называемые друзья не желают мириться с тем, что достоинства его получают признание, а сам он становится известен и как бы причастен к той славе, которую они сами уже обрели. Его стараются не замечать до последней возможности; лишь когда государь скажет свое слово, осыпав его наградами, все проникают к нему расположением и он занимает место среди выдающихся людей.

Мы часто не в меру хвалим посредственность и стараемся поднять ее до высоты истинного таланта либо потому, что не любим подолгу восхищаться одним и тем же выдающимися людьми, либо потому, что, умаляя таким образом их славу, делаем ее менее оскорбительной и нестерпимой для нас самих.

Бывают люди, которые на всех парусах несутся по ветру монаршей милости; они мгновенно теряют из виду землю и мчатся вперед; все им улыбается, все удается; за каждый шаг, за каждый поступок их осыпают похвалами и наградами; стоит им где-нибудь появиться, как все бросаются их обнимать и поздравлять. Но в стороне возвышается утес, о подножие которого разбивается любая, самая мощная волна; влияние, богатство, угрозы, лесть, власть, милость — ничто не может его поколебать. Имя ему — народное мнение; наталкиваясь на него, эти люди ндут ко дну.

Обычно, судя о трудах ближнего, мы произвольно сравниваем их с той работой, которой занимаемся сами. Вот почему поэт, поглощенный мыслями о великом и возвышенном, невысоко ценит искусство оратора, нередко посвященное будничным делам; тот, кто пишет историю своей страны, не понимает, как может разумный человек тратить жизнь на придумывание небылиц и поиски рифмы; точно так же бакалавр-богослов, погруженный в изучение первых четырех столетий христианства, почитает скучной, пустой и бесполезной любую другую науку, в то время как его самого, наверно, презирует геометр.

У много довольно ума, чтобы преуспевать в своей области и даже поучать в ней других, но слишком мало, чтобы рассуждать о том, чего он не понимает: он смело выходит за пределы своих знаний, но тут же сбивается с пути и при всей своей известности начинает говорить как глупец.

Что бы ни делал Герилл — говорит ли он с друзьями, произносит ли речь, пишет ли письмо, — он вечно приводит цитаты. Утверждая, что от вина пьянеют, он ссылается на царя философов; присовокупляя, что вино разбавляют водой, взывает к авторитету римского оратора. Стоит ему заговорить о нравственности, и уже не он, Герилл, а сам божественный Платон глаголет его устами, что добродетель похвальна, а порок гнусен и что оба они могут войти в привычку; он считает своим долгом приписывать древним грекам и латинянам избитые и затасканные истины, до которых нетрудно было бы додуматься даже самому Гериллу. При этом он не стремится ни придать вес тому, что говорит, ни блеснуть своими познаниями: он просто любит цитировать.

Сострить и сознаться в том, что острота принадлежит им, нередко означает рисковать ее успехом: если слушатели — люди умные или почитают себя таковыми, они по-

стараются ее не заметить, ибо считают несправедливым, что придумали ее не они, а кто-то другой. Напротив, передать ее как бы с чужих слов — значит снискать ей одобрение, ибо в таком случае ее принимают как некий факт, о котором никто не обязан был знать заранее; при этом она метче попадает в цель, возбуждает меньше зависти и никого не задевает; если она смешна — люди смеются, если достойна восхищения — восхищаются.

66

О Сократе говорили, что он не рассуждает, а бредит и что он — преисполненный мудрости безумец, но те греки, которые так отзывались об умнейшем из людей, сами были безумцами. «Как не нелепые портреты рисует этот философ! — возмущались они. — Что за странные и неслыханные нравы он описывает! Где он нашел, заимствовал, откопал такие невероятные мысли? Какие краски, какая кисть! Это же просто химеры!..» Они ошибались. Да, то были чудовища, то были пороки, но списанные с природы, и притом так живо, что всем внушали страх. Сократ чуждался цинизма: он порицал дурные нравы, но не называл их носителей.

67

Человек, разбогатевший благодаря своей житейской ловкости, знаком с неким философом, с его правилами, нравственным обликом, поведением и, не представляя себе, что люди могут задаваться иными целями, нежели те, к которым всю жизнь стремился он сам, думает о нем: «Как мне жаль этого сурового блюстителя нравов! Он человек конченный, сбившийся с пути. Таким, как он, не доплыть до гавани счастья даже при попутном ветре!» И этот богач прав — разумеется, со своей точки зрения.

«Если те, кого я хвалил в своем сочинении, забывают обо мне, я не виню их за это, — говорит Антисфий. — Что я для них сделал? Они ведь действительно достойны были похвалы. Но я был бы не склонен прощать тех, чью порочность я бичевал, не называя их по именам, если бы, конечно, они после этого исправились, что было бы для них большим благодеянием. Однако, поскольку таких чудес не бывает, я заключаю, что вторым, равно как и первым, не за что питать ко мне признательность.

Пусть люди завидуют мне и отказывают в награде за мою книгу, — продолжает этот философ. — Им не удастся умалить мою известность, а если даже удастся, кто помешает мне презирать их?»

68

Быть философом — хорошо, слыть им — не слишком полезно. Не вздумайте называть кого-нибудь философом: это слово почитается у нас чуть ли не бранным, и так будет до тех пор, пока люди, переменяв свои взгляды, не возвратят ему первоначальный возвышенный смысл и не окружают его должным уважением.

69

Есть философия, которая помогает нам стать выше честолюбия и жажды успеха; уравнивает нас — что я говорю! — возносит выше богачей, вельмож и сильных мира сего; учит презирать важные должности и тех, кто их раздает; избавляет как от желания искать, беспокоиться, домогаться, докучать, так и от чрезмерных радостных волнений, когда нашу просьбу исполняют. Есть и другая философия, которая предписывает нам претерпевать все эти тревоги ради ближних и друзей. Она лучше первой.

70

Прийти к заключению, что иные люди не способны мыслить здраво, и заранее отвергнуть все, что они говорят, сказали и скажут, — значит избавить себя от множества бесполезных споров.

71

Чем больше наши ближние похожи на нас, тем больше они нам нравятся; уважать кого-то — это, по-видимому, то же самое, что приравнять его к себе.

72

Те самые недостатки, которые кажутся нам невыносимыми в других, имеются и у нас, только они расположены как бы в центре тяжести; поэтому мы не замечаем их и

не тяготимся ими. Порою, говоря о ком-нибудь, человек рисует портрет настоящего чудовища и не видит, что изображает самого себя.

Мы быстро избавились бы от своих недостатков, если бы сперва откровенно сознались в них сами, а уж потом начали бы подмечать их в окружающих: при этом условии они предстали бы нам такими, как есть, и внушили бы к себе заслуженное отвращение.

73

У благоразумия две точки опоры — прошлое и будущее: человек, наделенный острой памятью и дальновидностью, никогда не станет бранить ближних за то, что, может быть, делал он сам, или осуждать их за поступки, совершенные при таких обстоятельствах, которые когда-нибудь принудят и его поступить точно так же.

74

Ни полководец, ни политик, ни ловкий игрок не могут обойтись без помощи удачи, но они стремятся к ней, подготавливают и делают ее почти несомненной; они не только умеют воспользоваться благоприятным случаем, что недоступно трусам и глупцам, но благодаря своей проницательности и принятым заранее мерам не упускают ни одной возможности и ставят на несколько карт сразу: выйдет одна — они выиграют, выйдет другая — тоже выиграют, а нередко одна и та же карта приносит им несколько выигрышей сразу. Таких людей следует хвалить и награждать не только за их дальновидность, но и за удачливость, ибо у них она становится своего рода добродетелью.

75

Выше великого политика я ставлю только того, кто не жаждет им стать, ибо с каждым днем все больше убеждается, что этот мир не стоит того, чтобы тратить на него силы.

76

Даже самый лучший совет нередко вызывает в нас неудовольствие: достаточно уже того, что он исходит не от

нас самих; высокомерие и прихоть подстрекают нас пренебречь им, а если мы все же следуем ему, то лишь по размышлении и в силу прямой необходимости.

77

Какое поразительное счастье сопутствовало этому фавориту до конца его дней! Кто еще наслаждался им так полно, непрерывно, безраздельно? Ему было дано все: самые высокие должности, доверие государя, огромное богатство, несокрушимое здоровье и легкая смерть. Но как строго спросится с него за жизнь, столь украшенную милостями, за те советы, которые он давал, и за те, которых не дал или не захотел принять, за добро, которого он не сделал, за зло, которое причинил сам или через других, — словом, за все его благоденствие!

78

В смерти есть своя выгода: оставшиеся в живых начинают нас хвалить, часто лишь потому, что мы уже мертвы; в этом случае и Катону и Пизону — одна честь.

«Ходит слух, что Пизон умер. Это большая потеря! — восклицаете вы. — Он заслуживал долгой жизни, потому что был человек достойный, умный, обходительный, твердый, смелый, надежный, великодушный, верный!» Не забудьте только прибавить про себя: «Дай бог, чтобы слух не оказался ложным!»

79

Одобрение, с которым отзываются об иных людях за их прямоту, бескорыстие и честность, звучит не столько похвалою им, сколько поношением всему роду человеческому.

80

Один приходит на помощь беднякам, но пренебрегает собственной семьей и отпускает сыну нищенское содержание; другой возводит новое здание, а сам еще не заплатил кровельщику, который отделывал ему дом десять лет назад; третий не скупится на подарки, сорит деньгами и разоряет кредиторов. Спрашивается, можно ли считать

добродетелями милосердие, щедрость и великодушие, когда их выказывает человек несправедливый? Не побуждают ли его к ним вздорная прихоть и тщеславие?

81

Справедливость по отношению к ближнему следует воздавать безотлагательно; медлить в таких случаях — значит быть несправедливым.

Хорошо поступает тот, кто без промедления исполняет обещанное; тот же, кто делает добро, лишь вдоволь наславшись похвал за свое будущее благодеяние, поступает очень дурно.

82

Порою о вельможе, который дважды в день устраивает обильные трапезы и всю жизнь тратит на пищеварение, говорят, что он умирает с голоду. Такими словами мы хотим лишь сказать, что он небогат или что дела его плохи. Это выражение следует понимать фигурально, в прямом же смысле оно относится не столько к вельможе, сколько к его кредиторам.

83

Видя, как учтивы, любезны и обходительны пожилые люди обоего пола, я составляю себе высокое мнение о том, что принято называть минувшими временами.

84

Слишком доверчивы те родители, которые полагают, что будущность их детей всецело зависит от воспитания; но глубоко заблуждаются и те, которые ничего не ждут от него и готовы им пренебречь.

85

Даже согласившись с теми, кто утверждает, что воспитание бессильно изменить душу и нрав человека, что оно не затрагивает его сердца, а лишь придает ему внешний лоск, я все равно буду утверждать, что оно ему не бесполезно.

Чем меньше человек говорит, тем больше он выигрывает: люди начинают думать, что он не лишен ума, а если к тому же он действительно неглуп, все верят, что он весьма умен.

Тот, кто думает только о себе и о сегодняшнем дне, неизбежно совершает ошибки в политике.

Быть уличенным в преступлении — большое несчастье; не меньшее несчастье — попасть под ложное обвинение. Если даже суд оправдает и обелит вас, вы все равно останетесь виновным в глазах народа.

Один человек ревностно блюдет церковные обряды, строго исполняет все предписания религии; никто его за это не порицает, но и не хвалит — на него просто не обращают внимания. Другой десять лет пренебрегал ими, затем обратился, и вот уже все им не нахвалятся и не налюбуются на него. Не знаю, как другие, а я порицаю его за столь долгое забвение своих обязанностей и радуюсь, что он вспомнил о них.

Льстец равно невысокого мнения и о себе и о других.

Глядя на иных людей, забытых при раздаче наград, все удивляются: «Почему о них забыли?» Если бы их не обошли, все стали бы спрашивать: «С какой это стати о них вспомнили?» В чем причина такой непоследовательности? В характере ли этих людей, в нашем ли непостоянстве или в том и другом сразу?

Мы вечно ломаем себе голову: кого назначат канцлером после такого-то, кто будет примасом Галлин, кого изберут папой? Мы идем и дальше: каждый по своему желанию и прихоти мысленно назначает на высокую должность даже того, кто более стар и дряхл, нежели человек, уже занимающий ее; а так как высокий сан отнюдь не убивает своего носителя, но, напротив, ободряет его и придает ему новые душевные силы, то нередко бывает и так, что сановник хоронит своего предполагаемого преемника.

Опала тушит ненависть и злобу: кто больше не раздражает нас сыплющимися на него милостями, тот снова для нас хорош. Мы готовы простить ему любые достоинства и добродетели, он безнаказанно может быть даже героем, говорят одни.

Человек, впавший в немилость, со всех сторон плох: его добродетелей и достоинств никто не замечает, их дурно истолковывают и даже почитают за пороки; пусть он безмерно отважен, не страшится ни огня, ни меча, идет на бой с врагом так же бестрепетно, как Баярд или Монтревель,<sup>1</sup> — все равно он хвастун, все равно над ним смеются и он никогда не станет героем, говорят другие.

Я, разумеется, сам себе противоречу, но вините не меня, а тех, чьи суждения я здесь привожу: в обоих случаях это один и тот же человек — изменилось только его мнение.

Довольно и двадцати лет, чтобы люди изменили свое мнение о самых важных вещах, даже о таких, которые казались бесспорными и незыблемыми. Я не дерзну утверждать, что огонь жарок не сам по себе, а только благодаря ощущениям, возникающим у нас, когда мы приближаемся к нему, ибо опасаясь, как бы в один прекрасный день он не стал столь же горячим, каким был прежде. Не больше настаиваю я и на том, что прямая образует с другой

---

<sup>1</sup> Генерал-лейтенант маркиз де Монтревель, главный инспектор кавалерии. (Прим. автора.)

прямой два прямых угла или два любых, но равных двум прямым: я побаиваюсь, как бы люди не открыли что-нибудь иновое, после чего мое утверждение станет смешным. Точно так же дело обстоит и со всем остальным. Я повторяю вместе со всей Францией: «Вобан непогрешим», но кто поручится, что вскоре мне не начнут внушать, что он, подобно Антифилу, совершает ошибки даже в фортификации, в которой не имеет себе равных и почитается высшим судьей.

95

Послушайте, как люди в раздражении и запальчивости чествуют друг друга! Ученый у них непременно буквоед, судья — выскочка или крючкотвор, финансист — лихоимец, человек благородного происхождения — дворянчнк. И вот что удивительно: эти злобные клички, придуманные ненавистью и гневом, входят в обиход и начинают выражать самое холодное и невозмутимое презрение.

96

Вы суетитесь и всячески выказываете свое рвение, особенно когда неприятель бежит и победа несомненна или когда город уже сдался; во время боя или осады вы стараетесь появиться в десяти местах, чтобы не быть ни в одном, упреждаете приказы полководца из боязни, как бы их не пришлось выполнять, и сами ищете опасности, а не ждете ее, чтобы встретить грудью. Уж не притворна ли ваша доблесть?

97

Ставьте людей на такие посты, которые можно защищать с риском для жизни, но и с надеждой ее сохранить: человек любит и славу и жизнь.

98

Видя, как человек любит жизнь, трудно поверить, что он может любить что-нибудь еще сильнее; между тем жизни он предпочитает славу, хотя слава — это всего-навсего мнение, составленное о нем тысячами людей, неизвестных ему и не принимаемых им в расчет.

Любопытство того, кто, не будучи ни военным, ни придворным, едет на театр войны вслед за двором и присутствует при осаде, не участвуя в ней, истощается довольно быстро, стоит ему хоть издали увидеть поле боя (как бы потрясающе оно ни выглядело), грохочущие бомбы и пушки, осадные работы, боевые линии и приступ. Осада идет, а город все держится; льют дожди, люди выбиваются из сил, тонут в грязи; они вынуждены сражаться с неприятелем и с непогодой сразу. Враг может в любую минуту ворваться в наше расположение, наша армия того и гляди будет зажата между городом и неприятельскими войсками. Сколько треволений! Заезжий гость ропщет: «Неужели так уж невозможно снять осаду? Так ли уж важна для судеб государства еще одна крепость? Не разумней ли склониться пред волей неба, которое против нас, и прервать кампанию до лучших времен?» Ему непонятна непреклонность — в душе он называет ее упрямством — полководца, который не отступает перед препятствиями, все больше воодушевляется с каждой новой трудностью, бодрствует по ночам и рискует жизнью днем, чтобы довести начатое до конца. Но едва лишь город капитулировал, как этот павший духом человек принимается разглаговольствовать о важности одержанной победы, предсказывает ее последствия, преувеличивает как ее значение, так опасности и позор, ожидавшие нас в случае отступления, и уверяет, что наша армия непобедима. Возвращаясь вместе с двором, он проезжает через города и села и пыжится от гордости при виде жителей, глазеющих из окон; по дороге он чувствует себя триумфатором и храбрецом, словно тоже брал крепость; вернувшись домой, он оглушает вас потоком таких слов, как «фланг», «редан», «равелин», «фоссебрея», «куртина», «апроши»; описывает места, куда его занесло из любопытства и где он все время рисковал головой; перечисляет случаи, когда, возвращаясь из таких мест, он чуть не попал в плен или чуть не погиб, и умалчивает лишь о том, как ему было страшно.

Запинка в речи или проповеди — наименьшая из неприятностей, возможных в жизни. Она не умаляет ни одного достоинства оратора: его ум, здравый смысл, вообра-

жение, нравственность, ученость — все остается при нем. Нельзя, однако, не удивляться тому, что люди, почитающие эту неприятность чем-то постыдным и смешным, сами напрашиваются на нее, предаваясь долгим и бесполезным разглагольствованиям.

101

Кто не умеет с толком употребить свое время, тот первый жалуется на его нехватку: он убивает дни на одевание, еду, сон, пустые разговоры, на размышления о том, что следует сделать, и просто на ничегонеделанье; ему некогда ни заниматься делом, ни предаваться удовольствиям; у того, кто распоряжается временем разумно, его достаточно на все — даже на досуг.

Любой министр, как бы он ни был занят, каждый день теряет впустую по крайней мере часа два, а сколько это составит за целую жизнь! Люди более низкого звания берегут свое время еще меньше. Какое безмерное расточительство того, что так драгоценно и чего нам вечно не хватает, происходит в мире!

102

Есть создания божьи, которые носят имя людей и наделены бесплотной душой, но тратят всю жизнь и силы на то, чтобы тесать камень, — это просто, это непочтенно. Есть и другие, которые дивятся первым, но сами вовсе ни на что не годны и проводят дни свои в полной праздности, — это еще менее почтенно, чем тесать камень.

103

Большинство людей слишком часто забывают, что у них есть душа, и предаются таким делам и занятиям, которые, по всей видимости, ее не требуют; поэтому сказать о ком-нибудь: «Он мыслит» — значит лестно о нем отозваться; подобное утверждение по привычке считается похвалой, хотя, воздавая ее, мы ставим человека немногим выше лошади или собаки.

104

«Чем вы развлекаетесь? Как проводите время?» — спрашивают меня и люди умные и глупцы. Скажи я им,

что просто открываю глаза и смотрю, подставляю ухо и слушаю, пекусь о своем здоровье, досуге, свободе, — они не удовлетворятся таким ответом: настоящие, великие, единственные блага для них не в счет. Им интересно другое: играю ли я в карты, бываю ли в маскарадах?

Разве может человек считать благом такую свободу, которая чересчур велика, бесполезна и внушает ему лишь желание быть менее свободным?

Свобода — это не праздность, а возможность свободно располагать своим временем и выбирать себе род занятий; короче говоря, быть свободным — значит не предаваться безделью, а самолично решать, что делать и чего не делать. Какое великое благо такая свобода!

105

Цезарь умер в том возрасте, когда ему еще было не поздно мечтать о завоевании мира;<sup>1</sup> блаженство состояло для него в том, чтобы славно прожить жизнь и оставить по себе великое имя. Природа столь щедро наделила его гордостью, честолюбивым нравом и крепким здоровьем, что лишь покорение всей земли казалось ему достойной целью. Александр же был чересчур молод для серьезных замыслов; следует только удивляться, что в столь юные годы женщины и вино не помешали его походам.

106

Юный принц, отпрыск августейшего рода, любовь и надежда подданных, ниспосланный господом на счастье земле и затмивший своих предков сын героя, в котором он видит пример для подражания, уже доказал миру своими божественными дарованиями и несоразмерной с годами доблестью, что детям героев легче стать героями, нежели прочим смертным.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> См. «Мысли» г-на Паскаля, гл. 31, где он утверждает противоположное. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> В опровержение измененной латинской пословицы, (Прим. автора.)

Если даже земле суждено существовать лишь сто миллионов лет, все равно она переживает сейчас пору младенчества, начальные годы своего существования, а мы сами — почти современники первых людей и патриархов, к которым нас, наверно, и станут причислять в грядущем. Сравним же будущее с прошлым и представим себе, сколько нового и неизвестного нам люди познают еще в искусствах и науках, в природе и даже в истории! Сколько открытий будет сделано! Сколько различных переворотов произойдет на земле, во всех империях, во всех государствах! Как безмерно наше нынешнее невежество и какой малый опыт дали нам эти шесть-семь тысяч лет!

Кто идет медленно и не спеша, тому не длинна никакая дорога; кто терпеливо готовится в путь, тот непременно приходит к цели.

Ни к кому не ходить на поклон и не ждать, что придут на поклон к вам, — вот отрадная жизнь, золотой век, естественное состояние человека!

Общество и свет — удел людей, состоящих при дворе и населяющих города; природа же существует только для обитателей деревни; они одни живут или по крайней мере сознают, что живут.

Зачем так холодно обходиться со мной, зачем негодовать на мои нечаянные слова о неких молодых придворных? Разве ты тоже порочен, Фразилл? Ты — первый, кто говорит мне об этом. До сих пор я знал только, что ты немолод.

Да и вы все, принявшие за личное оскорбление то, что я сказал о некоторых вельможах, зачем вы так громко кричите? Ведь раиа нанесена не вам! Разве вы тоже вы-

сокомерны, коварны, склонны к злым насмешкам, лести, лицемерню? Я этого не знал и метла не в вас: я говорил о вельможах.

112

Благоразумное поведение и дух умеренности отодвигают человека в тень: славу и всеобщее восхищение можно стяжать лишь великими добродетелями или, быть может, великими пороками.

113

Успех всегда располагает нас к тому, кто его добился: будь этот человек вельможей или простолюдином — мы восхищаемся им, приходим от него в восторг; безнаказанное преступление превозносится чуть ли не так же, как добродетельное деяние, а удача заменяет чуть ли не все добродетели вместе. Если поступок не может быть оправдан даже успехом, значит это — черное, низкое, мерзостное злодейство.

114

Людей нетрудно прельстить внешней благовидностью дела и ловко найденными доводами в защиту его; они охотно одобряют любые честолюбивые планы знатного человека, с увлечением говорят о них, пленяются их смелостью и новизной, которые сами же им приписывают, привыкают к ним, перестают сомневаться в успехе — и вдруг видят, что они не удалась; тогда с той же уверенностью в своей непогрешимости эти люди заявляют, что замысел был недобродумен и заранее обречен на провал.

115

Иной замысел так величав и чреват такими важными последствиями, о нем столько говорят, от него столько ждут или так его опасаются — смотря по тому, добро или зло он несет народам, — что от него завянут слава и будущность того, кем он выношен: выйдя на сцену в столь пышном убранстве, этот человек уже не может сойти с нее, так ничего и не сказав. Даже поняв наконец, к каким страшным последствиям приведет его затея, он все-таки не имеет права отступить: это было бы еще хуже, чем потерпеть неудачу.

Человек злонамеренный не может стать великим. Вы вольны расхваливать его дальновидность и широкие замыслы, восхищаться его образом действий, превозносить его умение выбрать наилучшие средства и кратчайшие пути к цели, но если сама цель дурна, значит она неразумна, а где нет разума, там нет и величия.

Умер враг, предводитель грозной армии, уже готовый перейти Рейн; он умел воевать, его опытность могла бы привлечь на свою сторону удачу. Но разве мы жгли потешные огни и торжествовали по поводу кончины? И, напротив, бывают люди, которые от рождения вызывают ненависть к себе и с годами становятся пугалом для народов. Именно этим, а не страхом, который внушают их победы, как одержанные, так и возможные, следует объяснять ликующие клнки, исторгаемые у народа известием об их смерти, и радостный трепет, охватывающий всех, даже детей, как только по городам и весям разносится слух, что земля избавлена от одного из таких людей.

«О времена, о нравы! О злосчастный век, столь обильный дурными примерами, век попранной добродетели и победоносного, торжествующего преступления! — восклицает Гераклит. — Я хочу быть Ликаоном или Эгисфом: никогда еще не было случая удачнее, обстоятельств благоприятнее для процветания и благоденствия подобных злодеев. Некто сказал: «Я переправлюсь через море, отниму у моего отца родовые владения, изгоню его самого с женой и наследником из его земель и государства». Сказал и сделал. Казалось бы, короли должны отомстить ему за оскорбление, нанесенное им всем в лице одного из них. Но нет, они на его стороне и чуть ли не подстрекают его: «Переправляйтесь через море, отнимите у вашего отца его земли, докажите миру, что изгнать короля из его владений не труднее, чем отобрать у простого дворянина замок или согнать арендатора с фермы, что между нами и нашими подданными больше нет никакой разницы, что нам

наскучило отличаться от них. Пусть все видят, что народам, которые господь отдал под нашу руку, не возбраняется покидать, предавать и выдавать нас, что они вправе переходить на сторону чужеземца, что не им должно страшиться нас, а нам — их».

Можно ли взирать на это, не проливая слез и оставаясь невозмутным? Каждый сан дает носителю его определенные права, каждый сановник возвышает голос, спорит и действует, чтобы отстоять их, лишь короли сами отказываются от своих прерогатив. Только один из них, неизменно добросердечный и великодушный, открывает свои объятия семейству изгнанника. Остальные же составляют против него коалицию, словно вознамерясь отмстить ему за то, что он защищает их общее дело. Дух распри и зависти заставляет их забыть честь, веру, государственные, более того — свои личные и династические интересы. Дело идет не об избраннике на престол, а о преемстве, о наследственных правах, и тем не менее человек берет верх над монархом. Некий государь, избавивший Европу и самого себя от заклятого врага и стяжавший этим славу разрушителя огромной империи, тут же отрекается от этой славы ради войны за сомнительные целн. Тот, кто призван быть третейским судьей и посредником, медлит и по-прежнему лишь обещает свое посредничество, хотя уже давно мог бы начать переговоры с пользой для дела.

О пастухи и поселяне, обитатели крытых соломой хижинок! — продолжает Гераклит. — Если до вас не доходят даже отголоски событий, если ваши сердца не потрясены безмерностью человеческой злобы, если в ваших краях говорят не о людях, а лишь о лисицах и рысях, дайте мне приют, поделитесь со мной вашим ржаным хлебом, напоите меня водой из ваших водоемов!»

Вы, карлики, почитающие себя великанами, если росту в вас шесть-семь футов, и готовые показываться за деньги, как ярмарочные дшва, если достигаете восьми; бесстыдно именующие себя высочеством и величеством, хотя эти слова приложимы разве что к горам, которые вознеслись над облаками к небу; надменные и хвастливые твари, презирающие остальных животных и в то же время столь

ничтожные рядом с китом или слоном,— подойдите сюда, людишки, и ответьте Демокриту.

У нас вошли в поговорку *алчность волка, свирепость льва, злобность обезьяны*. А что такое вы сами? Вы прожужжали мне уши, доказывая, что человек — *разумное животное*. Но кто дал ему такое определение — волки, обезьяны, львы? Не сам ли он так себя назвал? Смешно смотреть, как вы приписываете все пороки вашим собратьям-животным и оставляете за собой все достоинства; дайте им возможность сказать, чем они почитают себя, и увидите, как они обойдутся с вами. О люди, я уже не говорю о вашем легкомыслии, о ваших безумствах и прихотях, которые ставят вас ниже крота и черепахи, ибо те благоразумно живут своей смиренной жизнью, неизменно следуя путем, предначертанным природой! Нет, я имею в виду другое. Если сокол легко взмывает в воздух и метко бьет куропатку, вы говорите: «Великолепная птица!» Если борзая настигает и берет зайца на бегу, вы говорите: «Хороший пес!» Поэтому вы вправе называть храбрецом человека, который, охотясь на кабана, умеет загнать, измучить и пронзить зверя. Но при виде двух собак, которые лают и бросаются друг на друга, кусают и рвут одна другую, вы говорите: «Экие глупые животные!» — хватается палку и разгоняете их. Если бы вам сказали, что тысячи котов со всех концов страны сбежались на какое-нибудь поле и, вдоволь намяукавшись, яростно вцепились друг в друга зубами и когтями, что после этой свалки на месте осталось девять-десять тысяч кошачьих трупов с каждой стороны и что воздух на десять лье вокруг был отравлен смрадом, вы воскликнули бы: «Какой неслыханно отвратительный *шабаш!*» А с каким воем, с какой свирепостью могли бы проделать то же самое волки! А если бы коты или волки стали доказывать вам, что они любят славу и что только ради нее они затеяли это побоище с риском искоренить и начисто уничтожить собственную породу, разве поверили бы вы этому или, даже поверив, не посмеялись бы от всей души над глупостью этих жалких зверей? Вы-то ведь разумные животные, вы стремитесь отличиться от скотов, вооруженных только зубами и когтями, и поэтому изобрели копья, пики, дротики, сабли и палаши, тем самым доказав свою мудрость: голыми руками вы причинили бы ближнему не много вреда, разве что выдрали бы ему волосы, расцарапали лицо и в лучшем случае вырвали

глаза, в то время как теперь, запасшись удобными инструментами, вы можете наносить друг другу раны, достаточно глубокие для того, чтобы вся ваша кровь вытекла до капли и ничто не спасло вас от смерти. Но, становясь год от году все разумнее, вы далеко превзошли этот устарелый способ самоистребления: у вас есть маленькие шарики, которые, попав в голову или грудь, убивают наповал; есть у вас и другие шары, потяжелее и побольше, которые разрывают человека пополам и выпотрашивают его или, упав на крышу, пробивают все потолки от чердака до погреба и поднимают на воздух ваш дом вместе с вашей только что родившей женой, младенцем и кормилицей. Вот она, ваша слава, любительница переполоха и охотница до шума!

Впрочем, у вас есть и оборонительное оружие — стальное одеяние, которое вам полагается надевать перед боем; этот поистине прекрасный наряд напоминает мне о тех четырех знаменитых блохах, которых показывал встарь некий искусный фокусник, содержавший их в пузырьке; каждой он приладил каску на голову, латы, наручни и наколенники — на тело, копье — к бедру, и в этом полном вооружении они скакали и прыгали в своей склянке. Представьте себе, что существует человек ростом с гору Афон. Это вполне возможно: душа способна оживить даже такое огромное тело, ей будет в нем просторнее. Так вот, будь у этого исполина достаточно острое зрение, чтобы разглядеть у себя под ногами вас со всем вашим оборонительным и наступательным оружием, что подумал бы он о вас, мелюзга в боевом снаряжении, о вашей так называемой войне, кавалерии, пехоте, приснопамятных осадах и достославных битвах? Эти слова не сходят у вас с языка, весь мир вы делите на полки и роты, все человечество превратилось у вас в эскадроны и батальоны. Со всех сторон только и слышишь: «Он взял город, другой, третий, выиграл одну битву, две битвы, прогнал неприятеля, побеждает на море, побеждает на суше». О ком это вы говорите — об одном из вам подобных или о гиганте ростом с Афон? Да все о том же человеке с бледным, бескровным лицом, у которого на костях нет даже десяти унций мяса, так что он того и гляди упадет от первого дуновения ветра; тем не менее он шумит за четверых, учиняет всеобщий пожар, выживает в мутной воде целый остров; в другом месте ему наносят поражение, преследуют

его, но он прячется в *болотах* и слышать не хочет ни о мире, ни о перемирии.

Он еще с юных лет показал, на что он способен, укусив в грудь свою кормилицу: бедняжка умерла от укуса. Помоему, этим сказано уже достаточно. Короче говоря, он родился подданным и стал властелином, а те, кого он укротил и впряг в ярмо, идут за плугом и трудятся, не жалея сил; эти смиренные люди страшатся даже помыслить о свободе, ибо сами удлиннили кнут и надставили кнутовище для того, кто их погоняет. Они сами постарались усугубить свое рабство, помогли этому человеку переправиться за море, приобрести новых вассалов и захватить новые владения; правда, для этого он вытолкал своего отца и свою мать из их родного дома, но подданные с готовностью пособили ему и в этом столь похвальном предприятии. Люди по ту и по сию сторону моря совокупными усилиями стремятся сделать его как можно более опасным для самих же себя: *пикты* и *саксы* усмиряют *батавов*, а *батавы* — *пиктов* и *саксов*. Что ж, пусть они даже гордятся тем, что беспредельно покорны ему, — такая гордость в обычае у рабов. Однако что я слышу о тех, кто носит корону, — не о графах и маркизах, которыми земля полнится, но о государях? Стоит этому человеку свистнуть, и они уже сбегаются к нему, обнажают голову еще в приемной и не раскрывают рта, пока к ним не обратятся с вопросом. Неужели это те самые монархи, которые так щепетильны и чувствительны во всем, что касается их ранга и места, которые на своих съездах проводят целые месяцы в спорах о первенстве? Чем отплатит им этот новоявленный архонт за столь слепую покорность, чем воздаст за такое преклонение?

Наверно, тем, что, давая битвы, он всегда будет выигрывать их, и притом лично, защищая города — заставлять противника снимать осаду и с позором отступать, если только неприятель не прикрыт от него океаном. Может ли он поступить иначе, не совершая несправедливости по отношению к тем, кто превратился в его придворных? Пожалуй, в числе их скоро окажется сам Цезарь (по крайней мере он уже сейчас к его услугам), ибо архонт и его союзники как в случае поражения, которое маловероятно, хоть и возможно, так в случае успеха и отсутствия какого бы то ни было сопротивления, непременно обрушатся на Це-

заря, чье могущество вселяет в них зависть и чья религия им ненавистна, отнимут у него орла и оставят ему и его наследникам лишь серебряную перевязь на гербе и родовые владения. Как бы то ни было, сделанного не воротишь: все эти государи добровольно предались тому, кого им следовало больше всего опасаться. Не о них ли сказано у Эзопа: «Пернатых некоей местности встревожил и переполошил живший по соседству лев, чей грозный рык повергал их в ужас. Они бросились искать спасенья у кота, который сначала взялся защитить их от льва и принял под свое покровительство, а затем сожрал всех пташек поодиночке».

## Глава XIII

### О МОДЕ

#### 1

Люди глупы и ничтожны—доказать это нетрудно. Взять хотя бы, к примеру, их подчинение моде даже в том, что касается еды, образа жизни, здоровья и совести. Они находят дичину несъедобной, потому что она вышла из моды, чествуют чудачком того, кому кровопускание помогло исцелиться от горячки, и давно уже не зовут к ложу умирающих Теотима: теперь принято считать, что его кроткие и спасительные увещевания годны лишь для простонародья, поэтому у Теотима появился преемник.

#### 2

Любителю редкостей дорого не то, что добротно или прекрасно, а то, что необычно и диковинно, то, что есть у него одного. Модное и труднодоступное он ценит больше, чем совершенное. Собираительство для него не развлечение, а страсть, которая если и уступает в силе честолюбию и любви, то лишь потому, что предмет ее очень мелок. Страсть эта распространяется далеко не на все, что редко и примечательно, а только на что-то одно, редкое и в то же время модное.

Вот перед вами любитель цветов: каждый день на рассвете он спешит куда-то в предместье, где у него сад, а домой возвращается уже на закате. Вы видите его? Он стоит неподвижно, словно врос в землю среди своих тюльпанов,

и созерцает «Бриллиант»; он пялит на него глаза, потирает руки, присаживается на корточки, чтобы лучше его разглядеть, млеет от восторга; нет, никогда в жизни он не видел ничего прекраснее! От «Бриллианта» он переходит к тюльпану «Восточный», от «Восточного» к «Вдове», к «Золотистой парче», к «Агату», потом снова возвращается к «Бриллианту»; тут он останавливается окончательно, любит им до полного изнеможения, садится возле него и в конце концов, восхищаясь красотой каймы, бархатистостью и яркостью тонов, забывает, что пора обедать. Какой у этого тюльпана великолепный венчик или, что то же самое, какая великолепная чашечка! Он не наглядится на цветок, не нарадуется ему; при этом он восхищается не богом, не природой, а лишь луковицей тюльпана, которую не уступит сейчас и за тысячу эку, хотя охотно отдаст ее даром, когда в моде будут не тюльпаны, а гвоздики. Этот разумный человек, наделенный душой, верующий в бога, исполняющий церковные обряды, возвращается к себе обессиленный, голодный, но вполне довольный проведенным днем: он навел свои тюльпаны.

Заговорите с другим о богатом урожае, великолепных хлебах, обильном сборе винограда — он вас и слушать не станет: его интересуют лишь фрукты; заведите речь о винных ягодах и дынях, скажите, что в этом году груши гнутся под тяжестью плодов, что персики прекрасно уродились, — для него все это пустой звук, он вам даже не ответит, потому что увлекается только сливами; но не вздумайте рассказывать ему о ваших сливах, он признает один лишь сорт — любой другой, о котором вы упомянете, вызовет у него насмешливую улыбку: он подведет вас к дереву, ловко сорвет эту бесподобную сливу, разделит ее пополам, одной половинкой угостит вас, другую отправит себе в рот, восклицая при этом: «До чего сочна! Вы чувствуете? Божественно! Ни у кого больше нет такой сливы!» Ноздри у него раздуваются, он едва скрывает тщеславную радость, напуская на себя подобие скромности. О, божественный человек! Могу ли я не восхвалять его, не восхищаться им? Пройдут века, а он все будет жить в памяти людей. Пока он еще пребывает на земле, я должен во всех подробностях рассмотреть его фигуру, выражение лица, черты: ведь он единственный из смертных, владеющий подобной сливой.

Вы встречаете третьего, и он рассказывает вам о своих собратьях-собирателях, особенно о Диогнете. «Я дивлюсь

на него, — говорит он, — и с каждым днем все меньше его понимаю. Вы, быть может, думаете, что, собирая медали, он хочет углубить свои познания, что для него каждая медаль — это непреходящее свидетельство определенного события, яркий и убедительный памятник древней истории? Ничуть не бывало! Как вы полагаете, почему он тратит столько сил на поиски головы? Уж не потому ли, что ему хочется собрать полную серию медалей с изображением римских императоров? Если таково ваше мнение, то вы совершаете еще большую ошибку: Диогнет знает о медалях только то, что они бывают стертые, полустертые и хорошо сохранившиеся; у него есть одна шкатулка, где все места, кроме одного, заняты; эта пустота режет ему глаза, и он готов убить все свое время и состояние только на то, чтобы ее заполнить».

«Не хотите ли посмотреть мои эстампы?» — говорит Демокед, только что осудивший Диогнета. Он раскладывает их перед вами и начинает показывать. Вы обращаете его внимание на один эстамп — грязно-серый, неотчетливый, сделанный с дурной гравюры и к тому же годный для украшения не столько кабинета, сколько Малого моста или Новой улицы в праздничный день. Демокед не отрицает, что гравировка плохая, да и рисунок неважный, но, уверяет он вас, это работа некоего итальянца, весьма неплодовитого, оттисков с гравюры было сделано мало, во Франции их нет вовсе, и он, Демокед, купил этот экземпляр за огромные деньги и не променяет его на самый лучший эстамп. «Я глубоко опечален, — продолжает Демокед. — Боюсь, что вообще перестану собирать эстампы. Понимаете ли, у меня полный Калло, за исключением одного-единственного эстампа; правда, он не из лучших, скорее даже из наименее примечательных, но только его мне и недостает для полного собрания. Я уже двадцать лет охочусь за ним и вот теперь утратил всякую надежду найти его: это очень тяжело».

Некто насмехается над людьми, которые из-за скупающего их беспокойства или из любознательности отправляются в долгие путешествия; у них нет при себе записных книжек; они не пишут ни воспоминаний, ни статей, ездят, чтобы видеть, но ничего не видят или сразу забывают увиденное, жаждут осмотреть очередную башню или колокольню, стремятся переплыть очередную реку, лишь бы она звалась не Сеной и не Луарой, покидают родной

край только затем, чтобы вернуться назад, живут на чужбине ради того дня, когда из дальних странствий приедут домой. Мой собеседник прав, нападая на этих людей, и я внимательно его слушаю.

Но вот он говорит, что книги учат большему, чем путешествия, и дает понять, что у него обширная библиотека. Я выражаю желание осмотреть ее, прихожу к нему, но не успеваю он довести меня до лестницы, как мне становится дурно: воздух у него в доме пропитан запахом черного сафьяна, в который переплетены книги. Желая подбодрить меня, хозяин орет мне прямо в ухо, что у всех его книг — золотой обрез и тиснение, что он собрал у себя такие-то и такие редкие издания, что галерея забита ими сверху донизу, за исключением разве нескольких пустых полок, да и те раскрашены весьма искусно — кажется, будто на них тоже стоят книги; сам он, по его словам, ничего не читает и в галерею эту никогда не заглядывает, однако, чтобы доставить мне удовольствие, готов подняться туда вместе со мною... Его уговоры тщетны: я благодарю хозяина за любезность, но так же, как он сам, отнюдь не стремлюсь ближе познакомиться с кожаной мастерской, которую он именует библиотекой.

Иные, будучи не способны ограничить свою жажду знаний какой-нибудь определенной областью, изучают все науки подряд и ни в одной не разбираются: им важнее знать много, чем знать хорошо, интереснее нахватать побольше знаний, чем глубоко проникнуть в один-единственный предмет. Любой случайный знакомец кажется им мудрецом, от которого они ждут откровений. Жертвы суетной любознательности, они в конце концов выбиваются из полного невежества: таковы плоды их долгих и тяжких усилий.

Другие владеют ключом от всех наук, но никогда в них не проникают: всю жизнь они корпят над языками, на которых говорят жители востока и севера, жители обеих Индий и обоих полюсов, наконец — жители Луны. Они считают истинно достойными внимания и труда лишь те наречия, которые давно забыты, лишь те надписи, которые сделаны самими странными и таинственными знаками. Они искренне жалеют того недалекого человека, который посвятил себя изучению родного языка или в крайнем случае еще латыни и греческого, постоянно читают разного рода историйки, но так и не знают истории, бегло проглядывают множество книг, но ни из одной не извле-

кают пользы. Когда дело касается событий и принципов, эти люди подобны бесплодной почве, зато они словно житницы для обильнейшего урожая всевозможных слов и выражений. Память их до отказа наполнена, она уже больше ничего не вмещает, но головы все равно пусты.

Некий горожанин больше всего на свете любит здания: он выстроил себе такой красивый, роскошный и пышно изукрашенный дом, что жить в нем невозможно. Хозяин, не дерзая поселиться в этом дворце и не находя в себе мужества сдать его в наем какому-нибудь вельможе или финансисту, до скончания дней ютится на чердаке, между тем как анфилада парадных комнат и мозаичные полы отданы во власть приезжим англичанам и немцам, которые осматривают жилище нашего горожанина наравне с Пале-Роялем, Л...г...ким и Люксембургским дворцами. В эту великолепную дверь непрерывно стучатся гости: все хотят осмотреть дом, но никто не вспоминает о его владельце.

Знаем мы и таких собирателей, у которых дочери на выданье лишены приданого. Да что я говорю: они раздеты, разуты, а порою и голодны. Эти люди так бедны, что отказывают себе в пологе над кроватью и в белых простынях. Причина их бедности совсем близко, рядом: это комната, сплошь заставленная, забитая бюстами прекрасной работы, уже заросшими грязью и покрытыми толстым слоем пыли. Их распродажа принесла бы хозяину достаток, но он все не решается с ними расстаться.

Дифил начал с одной птицы, а теперь их у него тысячи; вместо того, чтобы оживить его дом, они превратили его в сущий ад. Двор, гостиная, лестница, прихожая, спальни, кабинет — все это один огромный птичник; там стоит дикий шум, отнюдь не похожий на веселый щебет: даже осенние ветры не свистят так пронзительно, даже полая вода не разливается с таким грохотом; людские голоса не более слышны в этой неразберихе звуков, чем лай комнатной собачонки в приемном зале, где придворные ждут выхода монарха. То, что вначале было приятным развлечением, стало тяжким трудом, с которым Дифил едва справляется: целые дни, — те самые дни, которые, промелькнув, никогда не возвращаются, — он сыплет зерно своим питомцам и убирает за ними нечистоты. Дифил взял к себе на службу человека и платит ему немалые деньги только за то, что этот искусник подсвистывает чижам на флажолете и заставляет канареек высиживать

птенцов; правда, он не только тратится, но и сберегает: у его отпрысков нет учителей, и они не получают никакого образования. Измученный собственной прихотью, он запирается вечером, но по-настоящему вкусить отдых может лишь тогда, когда отдыхают птицы, когда этот маленький народец, любимый Дифилом за песни, перестает наконец петь. Даже во сне Дифил видит птиц; более того — он сам становится птицей, у него вырастает хохолок, он щебечет и порхает с ветки на ветку; порою ему даже грезится по ночам, что он линяет или высиживает птенцов.

Мыслимо ли перечислить все породы собирателей? Услышав, как некто рассказывает о своем «леопарде», о своем «перышке», о своей «музыке»<sup>1</sup> и выхваляет их так, словно на земле нет ничего чудеснее и удивительнее, догадаетесь ли вы, что речь идет о раковинах, которые он хочет продать? Впрочем, что ему еще остается делать, если он сам покупает их на вес золота?

Вот этот любит насекомых, и у него ежедневно новые приобретения: во всей Европе не сыскать человека, у которого было бы столько бабочек всех размеров и цветов. Вы собираетесь нанести ему сейчас визит? Это неосмотрительно, ибо он в таком горе и унынии, так брюзжит, что все его домочадцы дрожат от страха. Он понес невосполнимую потерю: подойдите к нему поближе, взгляните на то, что повисло у него на пальце, безжизненное и бездыханное — это гусеница, но какая!

### 3

Ни в чем так не проявлялось всемогущество моды и ее тиранство, как в обычае драться на дуэли. Освященный тем, что на дуэлях присутствовали короли, обязательный, как некий благочестивый обряд, этот обычай отказывал трусу в праве на жизнь, приносил его в жертву храбрецу и принуждал к поведению, свойственному лишь тем, кто наделен мужеством; более того — он ставил в зависимость от неразумного, бессмысленного поступка честь и доброе имя и даже оправдание или осуждение людей, обвиненных в тяжчайших преступлениях. Дуэль пустила такие крепкие корни в умы и сердца, так прочно вошла в сознание народа, что исцеление его от этого безумия стало одним из прекраснейших деяний великого короля.

<sup>1</sup> Название раковин. (Прим. автора.)

Одному мода приписывала талант полководца и государственного мужа, другому — красноречивого проповедника, третьему — стихотворца, а потом она всех ввергла в забвение. Но может ли человек, наделенный выдающимися способностями, вдруг утратить их? Действительно ли он лишился таланта или просто вышел из моды?

Мода на человека проходит быстро, как всякая мода, но если случайно этот человек и впрямь незауряден, он не исчезает бесследно, от него что-то остается: он по-прежнему исполнен достоинств, только их уже мало кто ценит.

Добродетель тем и хороша, что, довольствуясь собою, она не нуждается ни в поклонниках, ни в приверженцах, ни в покровителях: отсутствие поддержки и похвалы не только ей не вредит, но, напротив, оберегает ее, очищает и совершенствует. Восхваляемая модой или вышедшая из моды, она все равно остается добродетелью.

Скажите людям, в особенности сильным мира сего, что такой-то исполнен добродетели, — и они вам ответят: «А нам-то какое дело?»; что он умен, обходителен, остроумен, — и они промолвят: «Тем лучше для него»; что он образован, начитан, — и они спросят, который час или какая погода на дворе. Но сообщите им, что какой-нибудь Тигеллин одним махом *выдувает* стакан водки и способен за обедом повторить этот подвиг несколько раз, — и они воскликнут: «Где он? Приведите его к нам завтра, нет, сегодня же вечером. Обещаете?» Его приводят, и тот, кому место разве что на ярмарке, в балагане, где он может выступать за деньги, вскоре становится своим человеком в домах вельмож.

Ничто так не возвышает человека в общем мнении и не вводит его в моду, как игра по большой, да еще разврат. Разве может даже самый учтивый, любезный и

остроумный собеседник — будь то даже Катулл или его ученик — выдержать сравнение с тем, кто за один при- сест проигрывает сто пистолей?

8

Женщина, вошедшая в моду, похожа на тот безымян- ный синий цветок, который растет на нивах, глушит ко- лосья, губит урожай и занимает место полезных злаков; им восхищаются и его ценят лишь потому, что такова внезапно возникшая, случайная и преходящая прихоть моды. Сегодня все гонятся за этим цветком, женщины украшают себя им, а завтра он снова окажется в прене- брежении, годный разве что для простонародья.

Напротив, женщина, наделенная подлинными достоин- ствами, — это цветок, названный не только по своему цвету, но имеющий собственное имя, любимый всеми за красоту и аромат; он — украшение и гордость природы, он издавна известен и дорог людям, которые любят его им ныне, как любовались во времена наших отцов. Пусть кто- то питает к нему злобу или зависть — ему ничто не может повредить: это лилия или роза.

9

Евстрат плывет по морю в своем челне, наслаждаясь ясным небом и прозрачным воздухом: по всем приметам попутный ветер еще долго будет благоприятствовать пла- ванию, но вдруг он стихает, небо заволакивается тучами, надвигается гроза, вихрь подхватывает ладью и бросает ее в пучину. Евстрат на секунду появляется на поверхно- сти, изо всех сил плывет к берегу, он вот-вот спасется, но огромная волна захлестывает его, и все считают его по- гибшим; он выныривает во второй раз, надежды на его спасение возрождаются — и снова морской вал погребает его в бездне вод: Евстрата больше не видно: он утонул.

10

Вуатюр и Сарразен были так под стать своему веку, что, казалось, все ждали их появления; случись им хоть немного замешкаться — и они были бы уже не столь свое- временными. Я даже осмелюсь выразить сомнение в том,

что им удалось бы достичь того, чего они достигли, родись они сейчас: легкая беседа, кружкѣ, тонкіе шутки, веселые и доверительные письма, дружескіе сборища, куда допускались только действительно остроумные люди, — всего этого уже нет. И пусть мне не говорят, что Вуатюр и Сарразен могли бы воскресить былой уклад жизни: я могу согласиться лишь с тем, что эти столь одаренные люди блистали бы и в наши дни, но уже совсем в другом роде, ибо женщины теперь либо кокетки, либо богомолки, либо картежницы, либо честолюбицы, либо все, вместе взятое. Жажда милостей и любовных интриг, пристрастие к игре и духовным наставникам заняла в их сердце место, которое прежде отводилось остроумным людям.

## 11

Глупый и пустой человек носит широкополую шляпу, камзол с откидными рукавами, штаны на шнуровке и туфли; с вечера он уже начинает думать о том, как и где сможет обратить на себя внимание. Разумный человек носит то, что ему советует его портной; презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать.

## 12

Одним не нравится мода, которая делит туловище мужчины на две равные части и непомерно удлиняет талию, другие бранят моду, превращающую женскую голову в постамент многоэтажного сооружения, прихотливо задуманного и возведенного: волосы, предназначенные природой для того, чтобы обрамлять лоб, зачесаны кверху, подняты, поставлены дыбом, и скромные, милые лица женщин становятся надменными и вызывающими физиономиями вакханок. Короче говоря, нападкам подвергается любая мода, хотя, пока она длится, ее самые затейливые ухищрения кажутся приятными, красивыми и привлекают одобрительное внимание — а ничего другого от нее и не требуют. Во всем этом я нахожу достойным удивления только легкомыслие и непостоянство людей, которым поочередно кажутся изящными и пристойными вещи, несоместимые одна с другой: эти люди сегодня носят, как потешные маскарадные костюмы, ту самую одежду, которая

в прошлом — и, кстати сказать, совсем недавнем — служила им парадным облачением для важных и торжественных случаев.

13

Н. богата, у нее хороший аппетит и крепкий сон; она мнит себя счастливой и вдруг обнаруживает, что мода на прически неожиданно изменилась и она отстала от моды!

14

Ифий приходит в церковь и видит на ком-то новомодные туфли, смотрит на свои — и краснеет от стыда: ему кажется, будто он раздет. Он явился к мессе, чтобы показать себя, а вместо этого старается спрятаться, и потом весь остаток дня ноги его не позволяют ему выйти за порог спальни. У него нежные руки — и он умащает их благовонным бальзамом; красивые зубы — и он часто смеется, складывает губы бантиком и охотно улыбается. Он то и дело поглядывает на свои ноги, смотрится в зеркало и вполне доволен своей особой. Ему удалось выработать себе звонкий и приятный голос, и, к счастью, он от природы умеет картавить. Ифий изящно склоняет голову, с приятной томностью поводит глазами, ходит плавно и старается выглядеть стройным; он красит щеки, но редко, в виде исключения, к тому же он носит штаны и шляпу и не носит серег и жемчужных ожерелий, поэтому я и не поместил его портрет в главу о женщинах.

15

Люди охотно следуют моде в повседневной жизни, но упорно пренебрегают ею, когда им случается позировать художникам: они предвидят или чувствуют, как смешно будет выглядеть на портрете их наряд, когда, потеряв прелесть новизны, он выйдет из моды. Поэтому они предпочитают дикосинные облачения и драпировки, подсказанные им фантазией художника, которые никак не идут ни к их лицу, ни к осанке, ни к характеру, ни к положению. Они принимают принужденные или нескромные позы, напускают на себя грозный, свирепый, неестественный вид, который превращает молодого аббата в воина, судью — в фанфарона, горожанку — в Диану, скромную и робкую

женщину — в амазонку или Афины Палладу, невинную девушку — в Лаису, а доброго и великодушного вельможу — в скифа, в какого-то Аттилу.

Не успевают одна мода сменить другую, как ее самое уничтожает новая мода, уступающая, в свою очередь, дороге следующей, которая тоже отнюдь не является последней: таково легкомыслие людей. Пока происходят эти бурные перемены, пока один за другим устаревают и предаются забвению наряды, проходит столетие, и вдруг обнаруживается, что самая старая мода и есть самая привлекательная и радующая глаз. Теперь, когда прошли годы, когда изменились времена, она снова пленяет нас на портретах, как безрукавный кафтан воина-галла или римская тога — в театрах, или как халат,<sup>1</sup> покрывало<sup>2</sup> и тюрбан<sup>3</sup> — на гобеленах и картинах.

Портреты наших отцов воскрешают не только их лица, но и одежду, прическу, оружие<sup>4</sup> и все безделушки, которыми при жизни они любили себя украшать. Мы можем отблагодарить их только тем, что постараемся с такой же точностью запечатлеть себя для наших потомков.

## 16

В былые времена придворные носили штаны с широкой кружевной отделкой и камзол, не признавали париков и были вольнодумцами. Теперь это не принято; они носят парики, одежду в обтяжку, гладкие чулки и отличаются благочестием: все решает мода.

## 17

Хотя это и противно здравому смыслу, но еще совсем недавно придворный, отличавшийся благочестием, казался смешным чудаком; мог ли он надеяться, что так скоро войдет в моду?

## 18

На что только не пойдет придворный, чтобы возвыситься, если ради этого он готов даже притвориться благочестивым!

---

<sup>1,2,3</sup> Одежда жителей Востока. (Прим. автора.)

<sup>4</sup> Наступательное и оборонительное. (Прим. автора.)

Краски растерты, холст натянут, но как мне запечатлеть на нем человека — беспокойного, легкомысленного, непостоянного, многоликого? Я рисую его благочестивцем, и мне кажется, что я правильно уловил черты сходства, но он вдруг меняется и становится вольнодумцем. Хотя бы он подольше побыл в этом дурном обличии, чтобы я мог верно изобразить всю порочность его ума и сердца! Но мода не стоит на месте: он снова благочестив.

Тот, кто глубоко изучил нравы двора, знает, что такое истинная добродетель и что такое ханжество; его уже никто не проведет.

Пренебрегать ранней обедней, считая эту службу устарелой и немодной; занимать себе место в храме задолго до начала вечерни; знать наперечет всех, кто бывает в капелле и стоит сбоку; уметь всегда быть на виду и никогда не становиться в тень; думать в божьем храме и о боге и о своих делах; принимать там посетителей, отдавать приказы, посылать с поручениями и ожидать ответа; пропускать мимо ушей священное писание, но смиренно слушать своего духовного наставника; полагать, что от его репутации зависит и собственная святость и спасение души; презирать всех, чей наставник не столь моден в свете, и едва с ними здороваться; внимать слову божьему всегда в одном и том же храме или если его проповедует этот прославленный духовный наставник; посещать лишь те обеды, которые служит он, и причащаться лишь у него; окружать себя богословскими книгами, но не помнить о существовании евангелий, апостольских посланий и творений отцов церкви; читать и изъясняться на таком языке, который был неведом в первые века христианства; на исповеди помнить чужие пороки, умаляя собственные, каяться в своих страданиях и в своем долготерпении, как в грехе, виниться в том, что еще недалеко продвинулся по пути самосовершенствования; вступив в тайный заговор с одними людьми, злоумышлять против других; ценить лишь себя и своих присных; не верить самой добродетели; упиваться

благами судьбы и милостями власть имущих, жаждать их только для себя, отказывать в помощи людям достойным, ставить милосердие на службу честолюбию, надеяться, что богатства и почестей достаточно для спасения души, — таковы в наше время мысли и чувства благочестивцев.<sup>1</sup>

Благочестивец — это такой человек, который при короле-безбожнике сразу стал бы безбожником.

## 22

Для благочестивцев существует лишь один грех — плотская невоздержность, вернее сказать — невоздержность явная и осуждаемая. *Ферекид* и *Ференика* стремятся только к одному: он — умело притвориться, что смотреть больше не хочет на женщин, она — внушить всем, что не изменяет мужу. Оба они играют в карты по большой, не платят долгов, радуются несчастью ближнего и наживаются на нем, раболепствуют перед вельможами, презирают людей маленьких, восхищаются собственными добродетелями, сохнут от зависти, лгут, злословят, интригуют, строят козни — иной жизни для них не существует. Что ж, не мешайте им, иначе они постараются присвоить себе славу тех истинно добродетельных людей, которым не менее, чем скрытые пороки, чужды гордыня и несправедливость.

## 23

Если мне доведется встретить придворного, который не ведает зазнайства и честолюбия, равнодушен к роскоши, не строит своего благополучия на несчастье соперников, справедлив, печется о тех, кто от него зависит, платит долги, не лжет и не злословит, воздержан в еде и не любострастен; который молится, даже когда короля нет в церкви, и притом не только губами, не обливает холодом и высокомерным презрением всякого, кто ниже его, не напускает на себя сурового или скорбного вида, не ленив и не празден, рачителен в исполнении своих многочисленных и важных должностей, может и хочет посвятить помыслы и старания трудным и благим делам, особенно таким, от коих зависит благо народа и государства;

---

<sup>1</sup> Ханжей. (Прим. автора.)

который так высок душой, что я не посмел бы назвать здесь его имя, и так скромн, что, не будучи названным, не узнал бы себя в этом портрете, — если, повторяю, я встречу подобного человека, я скажу о нем: «Он поистине благочестив или, вернее, ниспослан своему веку как образец непритворной добродетели, дабы людям легче было распознать ханжество».

Постель Онуфрия застлана серой саржей, но перины у него пуховые, а простыни полотняные; одежда у него простая, но удобная — летом легкая, зимой очень теплая; он носит сорочки из тончайшей ткани, но тщательно скрывает их под верхним платьем. Онуфрий никогда не говорит: «Моя власяница» или «Мой бич для смирения плоти» — он вовсе не желает прослыть ханжой, — хотя таков он и есть, — напротив, он хочет считаться человеком благочестивым, каким отроду не был; правда, ничего не говоря, он все же внушает ближним мысль, что носит власяницу и истязает себя бичом. В комнате у него всюду лежат книги; откройте их, и вы увидите, что это «Духовная борьба», «Христианский дух» и «Святой год»: книги иного рода он держит под замком. Вот он шагает по улице и уже издали замечает, что навстречу ему идет человек, перед которым следует притвориться благочестивым: потупленный взор, медлительная и скромная поступь, сосредоточенный вид — все эти уловки ему знакомы, и он отлично играет свою роль. Он входит в церковь, внимательно осматривается, а потом, сообразно с тем, кто там находится, либо преклоняет колена и начинает молиться, либо не делает ни того, ни другого; если возле него остановится человек, облеченный властью и к тому же добродетельный, он будет не только молиться, но и размышлять вслух, испуская при этом громкие стенания и вздохи; как только добродетельный человек проходит дальше, Онуфрий, углядев это краешком глаза, сразу успокаивается и перестает стенать. Вот он снова является в божий храм, расталкивает прихожан и выбирает себе такое место, чтобы все видели, как смиренно он склоняется перед господом; если до его слуха долетают смех и болтовня придворных, которые в церкви шумят больше, чем в приемной вельможи, он шипит так громко, что заглушает разговоры, и вновь предается размышлению, сравнивая этих господ

с собою — в свою пользу, конечно. Он и носу не кажет в церкви, где можно прослушать две обедни, проповедь и всю вечернюю службу, оставаясь наедине с богом; нет, Онуфрий любит проявлять свое благочестие перед многочисленными прихожанами, он признает лишь те храмы, куда стекается много народу: там он не останется незамеченным, там его обязательно все увидят. Постится он два, в крайнем случае три дня в году, и без всякого повода; но вот подходит великий пост, и тут у него начинает болеть грудь, кружиться голова, он кашляет, недомогает и, снисходя к настойчивым просьбам, уговорам, мольбам окружающих, прерывает пост в самом начале. Если его просят рассудить какой-нибудь семейный спор или сказать, кто из тяжущихся прав, — он всегда будет на стороне сильнейшего, иначе говоря — более богатого: ему и в голову не приходит, что тот или та, у кого больше доходов, может быть несправедлив. Если ему удастся войти в доверие к человеку состоятельному и способному оказать ему важные услуги, стать его другом и приживалом, он ни за что не будет соблазнять его жену или, во всяком случае, ухаживать за ней и объясняться ей в любви; если он сомневается в ее умении молчать, то скорее предпочтет улизнуть, оставив в ее руках край своей одежды; не рискнет он и прельщать ее благочестивыми речами, ибо прибегает к ним не по привычке, а вполне обдуманно: он не станет пускать их в ход, если это может сделать его смешным. Онуфрий знает, где найти женщин, более склонных к мужскому обществу и более податливых, чем жена его друга; впрочем, он проводит с ними время себе на выгоду: все кругом говорят, что Онуфрий живет в благочестивом уединении, и как не поверить этому, когда через некоторое время наш герой снова появляется в обществе, усталый, изможденный, всем своим видом показывающий, что несколько себя не бережет. Однако ему вполне подходят и женщины, которые цветут и наслаждаются жизнью под сенью благочестия, с той лишь оговоркой, что Онуфрий пренебрегает старухами, а из молодых предпочитает милостивых и хорошо сложенных — названные качества для него весьма притягательны. Эти женщины уходят — уходит и Онуфрий; они возвращаются — возвращается и он; они остаются — он не двигается с места: так всюду и везде он услаждает себя их обществом. И разве можно упрекнуть его в этом, если они, как и он, благочестивы? Он не

преминет ловко извлечь пользу из слепой, доверчивой привязанности своего друга: просит у него денег займы или обставляет дело так, что этот человек сам ему предлагает, да еще с упреком в нежелании прибегать к дружеской помощи; порой под грошовый долг дает расписку, уверенный, что этот долг никто не потребует; сокрушенно заявляет, что ни в чем не нуждается, — это значит, что ему нужна лишь маленькая сумма денег; зато в другой раз начинает так расхваливать щедрость своего покровителя, что тот хотя бы из самолюбия раскошеляется на щедрую подачку; но, само собой разумеется, он и не думает наследовать ему или получить в дар все его состояние, особенно если бы для этого пришлось тягаться с законным сыном: благочестивец не может быть ни скупым, ни бессовестным, ни своекорыстным, ни даже несправедливым. Онуфрий не понимает, что такое истинное благочестие, но он хочет казаться благочестивым и, весьма ловко изображая набожность, под ее прикрытием устраивает свои дела; поэтому он очень осторожен и держится подале от семей, где есть дочь на выданье и сын, которого нужно пристроить к месту; слишком священны и нерушимы права детей, их нельзя попортить, не наделав шума, а Онуфрий не желает лишних толков, ибо они могут дойти до ушей монарха, от которого он тщательно скрывает свои интриги, иначе он будет разоблачен и предстанет перед людьми в истинном свете. Он предпочитает вести наступление на дальних родственников — их можно обижать с меньшим риском попасться. Онуфрий — гроза двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц, верный друг и поклонник богатых дядюшек; он считает себя законным наследником всех богатых и бездетных старцев; если такой старец хочет, чтобы его родственники все-таки получили после него наследство, он должен во всеуслышание опровергнуть притязания Онуфрия. Если последнему не удастся полностью прибрать к рукам состояние своих друзей, то уж большую часть он обязательно присвоит: чтобы осуществить этот достойный замысел, достаточно небольшой клеветы или даже легкого злословия, а этим искусством Онуфрий владеет в совершенстве. Он не оставляет свой талант втуне и даже выдает его за особую доblesть, утверждая, что иных людей надо обязательно выводить на чистую воду: естественно, к ним принадлежат все, кого он не любит, кому хочет навредить или кого

жаждет обобрать. Порою он добивается своей цели, даже не давая себе труда раскрыть рот: если при нем заговорят об Эвдоксе, он в ответ лишь улыбнется и вздохнет; его станут расспрашивать, но он не ответит; да и зачем ему отвечать? Он уже достаточно сказал.

## 25

Почему ты не смеешься, Зелия, почему, изменив своему обыкновению, не болтаешь и не шутишь? Куда девалась твоя веселость? «Я разбогатела, — говоришь ты. — Теперь наконец можно расправить крылья и свободно вздохнуть». Смейся громче, Зелия, хохочи до упаду: к чему человеку богатство, если оно приносит с собой печаль и угрюмость? Подражай вельможам, рожденным среди роскоши: они тоже порою смеются, если у них есть к тому склонность. Следуй же своему нраву, пусть не говорят о тебе, что, хорошо устроившись и получив несколько тысяч ливров годового дохода, ты впала в уныние. «Я пользуюсь милостями некоей особы», — говоришь ты. Я догадывался об этом; и все же, Зелия, продолжай смеяться, даже мне улыбнись мимоходом, как в былые дни: не бойся, я не позволю себе ни малейшей вольности, не стану развязным, не подумаю дурно о тебе и о твоём новом положении, буду по-прежнему считать, что ты богата и в милости. «Я благочестива», — говоришь ты. Вот теперь я все понял, Зелия; мне не следовало забывать, что над спокойствием и весельем, даруемыми чистой совестью, взяла верх дурное расположение духа и суровость, которые и отражаются теперь на твоём лице: они сейчас в почете, и никого не удивляет, что высокомерными и презрительными женщины становятся не потому, что они красивы или молоды, а потому, что благочестивы.<sup>1</sup>

## 26

За истекший век мы весьма преуспели в искусствах и постигли науку во всех ее тонкостях; даже спасти душу мы обязаны теперь по определенным правилам и следуя определенной методе: эта область науки украшена всеми прекраснейшими и возвышеннейшими достижениями чело-

---

<sup>1</sup> Притворно. (Прим. автора.)

веческого разума. У благочестия, точно так же как у геометрии, свой язык и свои, так сказать, научные термины. Кто не знает их, тот не может быть ни благочестивцем, ни геометром. Первые христиане, обращенные апостолами, не владели этими терминами: у бедняг только и было, что вера и деяния, они только и умели, что славить господа и вести добродетельную жизнь.

27

Богобоязненному монарху нелегко очистить нравы царедворцев и привить этим людям истинную набожность: зная, что они ни перед чем не остановятся, дабы угодить ему и возвыситься, монарх действует осторожно, терпеливо, скрытно, боясь ввергнуть весь двор в ханжество и кощунственное лицемерие. Он больше полагается на бога и на время, чем на свое рвение и талант.

28

У всех сильных мира сего всегда было в обычае раздавать пенсии и награды музыкантам, учителям танцев, шутам, флейтистам, льстецам и угодникам: эти люди, обладающие очевидными заслугами и несомненными талантами, умеют развлекать вельмож и облегчать им бремя их величия. Все знают, что Фавье — отличный танцор, а Лоренцани сочиняет прекрасные мотеты; но кто знает, действительно ли добродетелен благочестивец? Для него ничего нет ни в частной кассе монарха, ни в государственной казне — и не без основания: в этом деле лицемерам раздолье, а их награждать нельзя, — в противном случае придется поощрять плутов и притворщиков и выплачивать пенсии ханжам.

29

Надо полагать, что благочестие двора скоро передастся и столице.

30

Истинное благочестие всегда является источником душевного покоя, помогает терпеливо сносить жизнь и делает желанной смерть, чего никак нельзя сказать о ханжестве.

Каждый час — и сам по себе и в связи с нами — неповторим: стоит ему истечь, как он исчезает навеки, и вернуть его нам не смогут даже миллионы веков. Дни, месяцы, годы погружаются в бездну времени, и самого этого времени тоже не станет: оно — лишь точка в необозримых просторах вечности, и ее нетрудно стереть. Время порождает мелкие и быстротекущие явления, неустойчивые и непрочные, зовущиеся модой, величием, милостью, богатством, могуществом, властью, независимостью, наслаждением, радостью, достатком. Что станет с ними, когда исчезнет самое время? Долговечнее времени лишь одна добродетель, столь мало взысканная модой.

## Глава XIV

### О НЕКОТОРЫХ ОБЫЧАЯХ

#### 1

Не всякому по средствам купить себе дворянство.

Если бы некоторым людям<sup>1</sup> удалось вымолить хоть полгода отсрочки у своих кредиторов, они стали бы дворянами.

Другие ложатся спать мещанами, а проснувшись, обнаруживают, что они дворяне.<sup>2</sup>

Как много развелось у нас дворян, чьи отцы и старшие братья — простые мещане!

#### 2

Иной не признает родного отца, потому что он держал лавку или сидел в канцелярии суда и был всем известен, зато похваляется дедом — благо тот давно умер, никому не известен и поэтому им уже не попрекнут, — большими доходами, важной должностью и знатной родней жены; короче говоря, чтобы доказать благородство своего происхождения, ему недостает только титула.

#### 3

Слово «реабилитация» стало таким ходким в судах, что совсем вывело из моды и употребления привычное нашему слуху старинное французское понятие «жалование

---

<sup>1</sup> Ветеранам. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Ветераны. (Прим. автора.)

дворянской грамотой». Реабилитация означает, что человек, наживший богатство, всегда благороден по происхождению; более того — он просто обязан быть благородным. Правда, отец его пал так низко, что ходил за плугом, или работал мотыгой, или был коробейником, или носил ливрею, но сам он должен быть восстановлен в исконных правах своих предков, дабы вновь обрести фамильный герб (конечно, не тот, что выбит на его оловянной посуде, а тот, который он сам придумал); иными словами, жалование дворянской грамотой ему уже не подходит, оно пристало лишь мещанину, который пока еще только ищет способа разбогатеть.

4

Крестьянин, который уверяет всех, будто он видел чудо, в конце концов сам начинает этому верить; человек, долго скрывавший свои года, убеждает себя, что он и впрямь молод; точно так же мещанин, привыкнув утверждать, что какой-то его прадед был бароном или владел замком, проникается счастливой уверенностью в благородстве своего происхождения, хотя сам же и выдумал эту басню.

5

Покажите мне такого состоятельного и удачливого мещанина, у которого не было бы герба с геральдическими фигурами, щитодержателями, нашлемником, девизом и даже боевым кличем. Но куда девалось различие между каской и шлемом? Его не существует, сами эти названия забыты, никто не думает, куда помещать такие эмблемы — посередине или сбоку, и какой шлем выбрать и сколько в нем должно быть решеток. В наше время люди не интересуются такими мелочами, они прямо переходят к коронам: так оно проще, тем более что все считают себя достойными корон и охотно их себе присуждают. Те из мещан, у которых еще сохранилось подобие стыда и совести, не решаются украсить свой герб короной маркиза — они согласны и на графскую корону; некоторые из них поступают совсем просто: велят перерисовать ее со своих вывесок на свои же кареты.

Если вы родились не в городском доме, а в крытой соломой хижине или в лачуге, примостившейся у самого болота, вам достаточно назвать эту хижину или лачугу замком — и все поверят, что вы дворянин.

Захудалый дворянчик хочет прослыть маленьким сеньером и достигает своей цели; знатный сеньер жаждет титуловаться принцем и пускает в ход столько хитроумных уловок, что с помощью громких имен, местнических споров, новых гербов и новой генеалогии (составленной отнюдь не Озье) он становится наконец маленьким князьком.

Знатные вельможи в своем поведении и образе жизни равняются на еще более знатных, которые, в свою очередь, не желают иметь ничего общего с теми, кто стоит ниже их; они охотно отказываются от подобающих им почестей и отличий, стараясь освободиться от этих тягостных оков ради более удобного и привольного существования. Их приближенные немедленно перенимают и эту простоту и эту скромность: дело грозит кончиться тем, что, побуждаемые гордыней, они начнут жить так же неприхотливо, как простой люд. Какая неприятность!

Иные люди носят три имени сразу, так как боятся, что каждое в отдельности недостаточно знатно; одно они предназначают для деревни, другое для города, третье для должности, для того места, где служат. Есть и такие, у которых простое двусложное имя, но стоит им выбиться из нищеты, как они начинают его облагораживать разными приставками. Этот вычеркивает один слог — и его обыкновенное имя сразу превращается в знаменитое, другой меняет одну лишь букву — и из Сира становится Киром. Некоторые вовсе отказываются от своих вполне почетных имен и принимают другие, более известные, хотя

от этой замены они только проигрывают, ибо теперь их все время сравнивают с теми великими людьми, которые когда-то так звались. Есть и такие, что родились под сенью парижских колоколен, но желают слыть итальянцами или фламандцами, как будто безродный мещанин не везде одинаков! Они удлиняют французские имена итальянскими окончаниями, считая, как видно, что раз человек иностранец, значит он из благородных.

10

Нужда в деньгах примирила дворян с разбогатевшими выскочками, и теперь старинная знать уже не может хвалиться чистотой рода.

11

Скольким детям был бы на руку закон, гласящий, что дворянин лишь тот, у кого мать дворянка! Но скольким он был бы невыгоден!

12

В свете можно по пальцам пересчитать такие семейства, которые не были бы одновременно в родстве и со значнейшими вельможами и с простолюдинами.

13

Принадлежать к дворянскому сословию не так уж плохо; каких только льгот, привилегий и вольностей не дает человеку титул! Неужели вы полагаете, что община пустынножителей<sup>1</sup> приобрела права дворянства только для того, чтобы ее сочлены числились в благородных? Нет, они не так суетны: их прельщали доходы от этого звания — и, уж конечно, лучше получать доходы таким путем, нежели откупом соляной пошлыны. Я разумею здесь не отдельные члены общины — их обет воспрещает им столь мирские помышления, — а всю общину в целом.

---

<sup>1</sup> Монастырь, купивший должность королевского секретаря, (Прим. автора.)

Я должен сделать здесь заявление, чтобы заранее предупредить читателей: если в один прекрасный день я окажусь достойным внимания какого-нибудь вельможи и он поможет мне наконец возвыситься, то пусть все имеют в виду, что происхожу я от Жофруа де Лабрюйера, который во всех хрониках числится одним из знатнейших французских сеньеров, сопровождавших Готфрида Бульонского, когда он отправился отвоевывать Святую землю: Жофруа — мой предок по прямой линии.

Если благородное происхождение относится к числу добродетелей, то его пятнает все, что недобродетельно; если же оно не является добродетелью, то вообще мало чего стоит.

Когда думаешь о принципах, лежащих в основе некоторых явлений, то сами эти явления кажутся не только удивительными, но и просто непонятными. Если взять, к примеру, иных аббатов, которые по роскоши нарядов, изнеженности и тщеславию затмевают самых знатных особ обоюго пола, увиваются вокруг женщин наравне с маркизами и финансистами и одерживают верх над последними, то возможно ли поверить, что по своему сану и даже по самому смыслу слова «аббат» они являются пастырями, отцами святых монахов и смиренных отшельников и должны подавать им пример? Как силен, как тиранически властен обычай! Боюсь, что в недалеком будущем какой-нибудь юный аббат явится в общество в одеянии из серого бархата с разводами — наподобие епископа, или весь в мушках, с нарумяненными щеками — наподобие женщины! О более серьезных прегрешениях против священнического достоинства я уж не говорю.

У нас есть доказательство того, что мерзости языческих богов, всяких нагих Венер и Ганимедов, Каррачи изображал по заказу князей церкви, именующих себя приемниками апостолов; доказательство этому — палатцо Фарнезе.

Даже прекрасное перестает быть прекрасным, когда оно неуместно; в основе всякой благопристойности лежит разум, поэтому там, где нет благопристойности, нет и совершенства. Не следует в капелле исполнять жигу, нехорошо произносить проповедь, словно монолог с театральными подмостков; нельзя украшать храмы мирскими изображениями,<sup>1</sup> — например, помещать в одном и том же святилище образ Христа рядом с «Судом Париса»; не подобает лицам, посветившим себя церкви, ездить в таких экипажах и с такой свитой, будто они светские люди.

Сказать ли мне наконец во всеуслышание то, что я думаю о так называемой прекрасной вечерне, о мирском убранстве храма божьего, о местах, за которые прихожане заранее платят деньги, о книжках,<sup>2</sup> раздаваемых в церкви, словно это театр, о встречах и свиданиях, о неумолчном шепоте и громкой болтовне, о человеке, который поднимается на кафедру и сухо, равнодушно произносит проповедь с одной лишь целью: собрать побольше народу и занять его, пока не заиграет оркестр, да что там оркестр — пока не грянет хор, который давно уже поется? Пристало ли мне говорить о том, что меня смущает рвение к дому божьему, и отдергивать легкую завесу, скрывающую таинства, которые стали свидетелями такой непристойности? Как! Только потому, что у т.т.цев еще не пляшут, я соглашусь назвать это зрелище церковной службой?

Что-то не видно людей, которые давали бы обеты или отправлялись поклониться святым в надежде на то, что господь дарует им разум более кроткий, душу более благодарную, жизнь не столь злонамеренную и неправедную, что он исцелит их от тщеславия, суетности и глумливости!

<sup>1</sup> Вышивкамн. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Имеется в виду мотет, переведенный стихами на французский язык Л. Л. (Прим. автора.)

Что может быть несообразнее, чем толпы христиан обоюго пола, которые собираются по определенным дням в зале и рукоплещут людям, отлученным от церкви именно за то, что они доставляют вышеупомянутым христианам заранее оплаченное удовольствие! На мой взгляд, следует либо закрыть театры, либо менее сурово отзываться о ремесле комедиантов.

В так называемые святые дни монах исповедует, а священник мечет громы и молнии с кафедры против монаха и его приверженцев. Иной раз благочестивая женщина, выйдя из исповедальни, слышит, что проповедник обличает ее в кощунстве. Неужели среди князей церкви нет никого, кто мог бы принудить к молчанию пастыря или воспретить на время деятельность *варнавита*?

За бракосочетание с прихожан берут больше, чем за крестины, а крестины стоят дороже, чем исповедь: таким образом, с таинств взимается налог, который как бы определяет их относительное достоинство. Конечно, в основе этого обычая нет ничего дурного, и никому — ни пастырям, совершающим священный обряд, ни мирянам — не приходит в голову, что они что-то продают или покупают; однако, имея в виду людей недалеких и маловеров, следовало бы и тут соблюдать благопристойность.

Румяный и пышущий здоровьем пастырь в тонком белье, отороченном венецианским кружевом, восседает в церкви рядом с теми, кто носит пурпур и горностаи. Здесь он и занимается пищеварением, в то время как фельян или францисканец, покинув келью или пустынь, где живут по обету и велению совести, отправляется читать проповедь ему и его пастве, чтобы потом получить за это деньги, как за штуку ткани. «Какая непонятная строгость! — воскликнете вы, перебив меня. — И как она неожиданна

и неуместна! Неужели вы хотите отказать этому пастырю и его подопечным в слове божьем и пище духовной?» Напротив, я хочу, чтобы он сам раздавал эту пищу утром и вечером, в храмах и жилищах, на городских площадях и на кровлях домов; хочу, чтобы за этот почетный и утомительный труд брался только тот, кому талант, призвание и мощные легкие помогают честно заслужить щедрые приношения и богатые дары. По правде говоря, я не думаю винить священника, ибо таков обычай, который он перенял у своего предшественника и передаст своему преемнику, но самый обычай, странный и лишенный смысла, я не могу одобрить так же, как четырехкратное взимание платы за службу на похоронах: за себя, за свой сан, за присутствие и за помощь.

25

Тит священствует вот уже двадцать лет, но так и не получил повышения, хотя вакантные места бывали не раз. Ни его таланты, ни образ мыслей, ни примерная жизнь, ни мнение паствы — ничто не помогает ему выдвинуться: всегда словно из-под земли появляется другой священник, которому и отдают это место. Тит снова обойден и остается в тени. Но он не жалуется: таков обычай.

26

«Я распоряжаюсь хором, — говорит церковный староста. — Кто может обязать меня являться к заутрене? Мой предшественник не присутствовал на этой службе, а чем я хуже его? Нет, я не унижусь до этого и всегда буду блюсти свое достоинство». «Я не о своих доходах пекусь, — говорит схоластик, — а о церковных; было бы величайшей несправедливостью, если бы главный каноник подчинялся клиру, а казначей, архидиакон, исповедник и главный vikарий не зависели от него». «У меня все основания, — говорит генерал ордена, — не бывая на заутренях, требовать положенное мне содержание: я уже добрых двадцать лет пользуюсь правом спокойно спать по ночам и собираюсь кончить, как начал, ни в чем не погрешив против привилегий моего сана. Я недаром стою во главе капитула: что другим воспрещено, то мне дозволено». Так они наперебой доказывают друг другу, что не

обязаны славить бога, что давным-давно установленный обычай освобождает их от этого, и вкладывают в свои споры столько рвения и жара, словно соревнуются между собой, кто из них больше пропустит церковных служб. В ночном безмолвии звучит перезвон колоколов, но их мелодичный призыв, пробуждающий клириков и певчих, убаюкивает каноников, погружая их в спокойный, сладкий сон, овеянный приятными грезами. Встают они поздно и отправляются в церковь получать деньги за то, что хорошо выпались.

27

Разве мы могли бы поверить, если бы сами не были тому свидетелями, что наши ближние так упорствуют в отказе от вечного блаженства? Что только людям в особых одеждах, пускающим в ход трогательные и выспренние, хотя и заученные речи, восклицания и шепот, слезы и размашистые жесты, которые доводят их до седьмого пота и полного изнеможения, — что только этим людям удастся вырвать у вполне разумного христианина, больного неизлечимой болезнью, согласие спасти свою душу от вечных мук и не обречь ее на гибель?

28

Дочь Аристиппа тяжело больна; она посылает за отцом, чтобы перед смертью примириться с ним и вернуть себе его расположение. Как поступит этот мудрый человек, у которого весь город спрашивает совета? Согласится ли он на этот столь разумный шаг? Побудит ли сделать то же самое и свою жену? Или они не двинутся с места, пока в это не вмешается их духовный наставник?

29

Мать, которая отдает свою дочь в монастырь не потому, что таково призвание, такова твердая воля девушки, а по собственному почину, отвечает перед богом уже не только за свою душу, но и за душу дочери, служа как бы порукой за нее. Такая мать избежит вечной гибели, только если спасется дочь.

Некто, играя по большой, проматывает почти все свое состояние; однако с теми крохами, которые он еще не успел просадить какому-нибудь Амбревиллю, ему удастся выдать замуж старшую дочь; у младшей один путь — в монастырь: она избирает его только потому, что ее отец — картежник.

Сколько на свете было девушек — добродетельных, здоровых, набожных, готовых посвятить себя богу, но недостаточно богатых, чтобы принести обет бедности в богатом монастыре!

Та, что колеблется, где ей принять постриг — в аббатстве или в обычном монастыре, — решает извечный вопрос, какой образ правления лучше — народоправство или деспотия.

Когда о человеке говорят, что он сделал глупость и женился по страстишке, это значит, что он вступил в брак с Мелитой, которая молода, хороша собой, рассудительна, бережлива и любит его, но менее богата, чем Эгина, которую прочили ему в жены, хотя у Эгины не только большое приданое, но и немалые способности транжирить деньги — свою часть, а заодно и состояние мужа.

В былые времена брак считался столь серьезным делом, что его обдумывали долго, всесторонне и тщательно. Женившись, мужчина связывал себя навеки со своей женой, хороша она была или плоха; у супругов были общий стол и дом, общая постель, и они не могли откупиться друг от друга пенсионом: никому в голову не приходило, что, имея детей и хозяйство, можно открыто пользоваться радостями холостой жизни.

Если мужчина избегает показываться на людях с чужой женой — он проявляет вполне уместную скромность; если ему неприятно бывать в обществе с женщиной сомнительной репутации — это также можно объяснить; но как понять недостойное чувство, которое заставляет мужчину стыдиться собственной жены, не позволяя ему всюду появляться с ней, хотя он сам навеки избрал ее своей подругой, питает к ней любовь и уважение, считает ее своей радостью, своим счастьем, неизменной своей спутницей, гордится и ею самой и ее умом, достоинствами, добродетелями и происхождением? Почему бы ему в таком случае не стыдиться своего брака?

Я отлично знаю силу обычая, знаю, как он владеет умами, подчиняя себе поведение людей, даже когда это нелепо и безрассудно; тем не менее я увереи, что у меня хватило бы бесстыдства гулять на глазах у всех по аллее Королевы в обществе женщины, которая была бы моей женой.

Если молодой человек женится на женщине старше его годами, в этом нет ничего постыдного и бесчестного; напротив, такой брак порою можно назвать разумным и предусмотрительным. Но если он дурно обращается со своей благодетельницей, если снимает маску, тем самым открывая ей глаза на то, что она стала жертвой неблагодарного лицемера, — вот тогда его поведение гнусно. Притворство оправдано лишь в том случае, когда невозможно не изображать дружеской привязанности; обман простителен, только если честность равносильна жестокости. «Но эта женщина чересчур зажилась!» А вы разве договорились с ней, что, подписав документ, который сделал вас богатым и освободил от долгов, она сразу же умрет; что, совершив сие благое деяние, она должна принять опиум или цикуту и окончить свое существование? Неужели она не имеет права жить? И даже если вы испустите дух раньше той, которую вы совсем было собрались похоронить в отличном гробу и под торжественный колокольный звон, — разве можно порицать ее за это?

В мире уже давным-давно был изобретен некий способ приумножать свое добро;<sup>1</sup> им пользуются люди, принятые в свете, но его осуждают просвещенные законники.

В нашем государстве всегда существовали должности, как бы нарочно придуманные для того, чтобы обогащать одного человека за счет многих: имущество и деньги частных лиц текут к нему непрерывным и неиссякаемым потоком. Нужно ли добавлять, что они либо вовсе не возвращаются к своим владельцам, либо возвращаются слишком поздно? Это бездонная пропасть, это море, которое, поглотив речные воды, больше уже не отдает их, а если и отдает, то воды эти струятся по скрытым, подземным каналам, а море по-прежнему остается все таким же глубоким и полноводным; оно вволю насладилось ими и теперь выплескивает их за ненадобностью.

Безвозвратные вложения,<sup>2</sup> некогда столь незабываемые, неприкосновенные и свято хранимые, стали с течением времени и с помощью тех, кому они доверены, потерянными вложениями. Есть ли на свете лучший способ удвоить свои доходы и сберечь их? Как иначе поступить с этими вложениями? Войти в восьмерину или откупить пошлины? Стать скрягою, финансистом или управляющим?

У вас есть серебряные или даже золотые монеты, но этого мало: тут все решает количество. Постарайтесь собрать их как можно больше, сделайте из них пирамиду — остальное я беру на себя. Вы не можете похвастаться ни благородством происхождения, ни умом, ни талантом, ни опытом — что ж из того! Пусть ваша пирамида растет, и я вознесу вас так высоко, что вы не будете снимать шляпу даже перед вашим хозяином, если у вас имеется тако-

<sup>1</sup> Долговые расписки и залоговые квитанции. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> В кассы для приема на хранение. (Прим. автора.)

вой; более того — будет весьма странно, если при ваших запасах металла, которые день ото дня все умножаются, я не заставлю хозяина снимать шляпу перед вами.

41

Вот уже десять лет хлопочет Оранта по справедливому и важному делу, от которого зависит ее благосостояние; лет через пять она, возможно, выяснит, перед какими судьями и в каком суде ей придется хлопотать до конца своих дней.

42

У нас многие одобряют недавно введенный в судах обычай прерывать защитников, лишая их возможности проявить свое красноречие и остроумие и принуждая держаться в рамках сухих фактов, доказывающих справедливость дела и правоту подзащитных. Эти суровые правила, которые не могут не тревожить защитников, ибо им приходится опускать самые блестящие тирады; которые изгоняют красноречие из единственного места, где ему следует процветать; которые рано или поздно превратят гласный суд в немое судилище, — эти правила иные люди обосновывают столь веским и неоспоримым аргументом, как ускорение процедуры; хотелось бы однако, чтобы об ускорении иногда вспоминали и в других случаях, чтобы о нем думали не только во время слушания дела, но и в канцелярии, чтобы с писаниной<sup>1</sup> поступали так же, как с защитительными речами.

43

Долг судей — вершить правосудие, а их ремесло — оттягивать его; многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом.

44

Истец, который добивается предварительной встречи с судьей, не оказывает ему чести: он либо не доверяет его

---

<sup>1</sup> Протоколами. (Прим. автора.)

проницательности и даже беспристрастию, либо хочет перетянуть на свою сторону, либо домогается несправедливости.

45

Порою истец проигрывает справедливую тяжбу только потому, что он влиятелен или пользуется расположением двора, состоит в дружбе или в родстве с судьей, ведущим его дело: этот судья так хочет прослыть неподкупным, что становится несправедливым.

46

Лучше уж, чтобы судья был распутником, нежели дамским угодником и юбочником: первый скрывает, с кем он водит знакомство и кто его любовницы, поэтому к нему никак не подступиться, тогда как слабости второго известны всем и доступ к нему может открыть любая женщина, которой он хочет понравиться.

47

Религия и правосудие идут у нас как бы рука об руку, и сан судьи внушает почти такое же благоговение, как сан священника. Судья не может, не уронив себя, танцевать на балу, появляться в театрах, носить богатое, бросающееся в глаза платье; поэтому меня удивляет, что понадобился закон, требующий определенной одежды для судей, которая должна придавать им бóльшую важность и внушать к ним бóльшее уважение.

48

Чтобы постигнуть какое-нибудь ремесло, ему нужно учиться; в любом деле — от самого простого до самого сложного — существуют годы ученичества, подготовки к будущей должности, когда ошибки не так уж существенны, и, напротив, они порою помогают совершенствоваться. Свои правила есть даже у войны, хотя она по самой своей сути является порождением путаницы и беспорядка. Люди не дерзают уничтожать друг друга на поле битвы целыми полками и отрядами, предварительно не обучившись этому: они должны убивать, следуя определенной методе.

У нас есть военная школа, но где, скажите, школа для судей? В судейском деле есть обычное право, законы, традиции; чтобы изучить и усвоить их, потребно немалое время, а его нет: молодой человек, сменивший указку на пурпурную мантию и сделавшийся судьей только потому, что родители купили ему эту должность, единолично распоряжается жизнью и имуществом ближних — в этом и состоит его ученичество, его ознакомление с ремеслом.

49

Выступая в суде, оратор обязан быть неукоснительно честным, иначе он превращается в красную, который умышленно искажает обстоятельства дела, недобросовестно коверкает цитаты, клеветает и не менее поддается ненависти и гневу, чем его клиенты; короче говоря, он становится одним из тех защитников, о которых говорят, что им платят деньги, чтобы они препирались с противной стороной.

50

«Да, — говорит некто, — он должен получить эти деньги, право на его стороне. Однако для этого ему необходимо соблюсти небольшую формальность. Если он забудет о ней, его дело будет проиграно, следовательно, он лишится денег и, безусловно, — права на них. Итак, постараемся добиться того, чтобы он забыл о формальности». Вот это я и называю совестью стряпчего.

Прекрасным девизом для судейского сословия, полезным для публики, здравым, справедливым и мудрым, был бы девиз, прямо противоположный тому, который гласит, что форма должна брать верх над содержанием.

51

Пытка — это удивительное изобретение, которое безотказно губит невинного, если он слаб здоровьем, и спасает преступника, если он крепок и вынослив.

52

Наказанный преступник — это пример для всех негодяев; невинно осужденный — это вопрос совести всех честных людей.

Я, пожалуй, решусь утверждать, что никогда не стану вором или убийцей; но если я стану утверждать, что меня никогда не осудят за воровство или убийство, я выкажу себя очень легковверным человеком.

Печальна судьба невинного, который из-за поспешности судопроизводства объявлен преступником; но не печальнее ли жребий его судьи?

53

Если бы мне рассказали, что во времена оны нашелся некий судья или судейский, который был обязан обнаруживать воров и наказывать их, отлично знал их всех в лицо и по именам, помнил все их преступления, то есть что именно, как и сколько они украли, и так приобщился к этому миру, так глубоко проник в его гнусные тайны, что смог однажды вернуть некоему влиятельному лицу ценную безделушку, украденную у того в толпе, когда он возвращался с какого-то сборища; если бы мне добавили, что, действуя таким образом, чиновник замял дело, а суд, узнав об этом, наказал его, — я решил бы, что все это — события минувших дней, утратившие за давностью всякое правдоподобие. Да и как можно поверить, что такие вещи случаются и в наши дни, что это всем известно и доказано, что и поныне еще существует пагубная близость между судейскими и преступниками, что она даже превратилась в своего рода игру и вошла в обычай?

54

Сколько на свете людей, которые сильны со слабыми, тверды и непреклонны с простым народом, высокомерны с маленькими людьми, суровы и жестоки в мелочах, отвергают скромные приношения, не внемлют ни родным, ни друзьям, но не способны устоять против женщин!

55

Даже человек, пользующийся милостями сильных мира сего, может проиграть тягбу.

К распоряжениям, сделанным умирающими в завещаниях, люди относятся как к словам оракулов: каждый понимает и толкует их по-своему, то есть согласно собственным желаниям и выгоде.

Об иных людях можно сказать, что смерть не столько скрепляет своей печатью их последнюю волю, сколько, отнимая у них жизнь, освобождает от нерешительности и беспокойства. Разозлившись на кого-нибудь при жизни, они писали завещания, потом успокаивались, рвали на части это свидетельство своей минутной прихоти и обращали его в пепел. В их шкатулках лежало не меньше завещаний, чем календарей на их столах: что ни год, то новое. Второе было отменено третьим, третье — четвертым, составленным лучше, чем предыдущее, а четвертое — пятым *собственноручным* документом. Если у того, в чьих интересах скрыть завещание, не хватает на это времени и бесстыдства или нет к тому удобного случая, ему приходится смиренно принимать все оговорки и условия завещателя, ибо где яснее *проявляется* характер непостоянных людей, как не в этой бумаге, которую они подписали напоследок и уже не смогли или не успели еще раз переделать?

Если бы не существовало завещаний, устанавливающих права наследования, то, быть может, отпала бы и надобность в судах, которые разбирают тяжбы претендентов на наследство; у судей осталась бы одна печальная обязанность — отправлять на виселицу воров и поджигателей. Кто прячется в закрытых ложах трибуналов, стоит у судейского барьера, теснится на пороге или в самих залах судебных заседаний? Вы думаете, наследники *ab intestat*?<sup>1</sup> Нет, эти всегда получают положенную им по закону часть, а тяжбами занимаются лица, недовольные какими-нибудь условиями или оговорками, сделанными покойным, лишенные им наследства, несогласные с завещанием, напи-

<sup>1</sup> Наследники по закону (*лат.*):

санним спокойно, по зрелом размышлении, человеком в здравом уме и твердой памяти, который к тому же советовался с осведомленными людьми. Бывает так, что документ составлен стряпчим по всем правилам судебного жаргона, в нем не упущена ни одна уловка, он подписан и завещателем и свидетелями и даже парафирован — и все же именно это завещание оспаривается и объявляется недействительным.

59

Титий присутствует при чтении завещания; глаза у него опухли и влажны, сердце сжимается при мысли о смерти человека, которому он надеется наследовать. Завещатель в одной статье отказывает ему должность, в другой — городскую ренту, в третьей — поместье; по дополнительному параграфу Титий становится владельцем дома, полностью обставленного и расположенного в центре Парижа. Естественно, что горе Тития безмерно, и слезы потоком струятся у него из глаз. Да и как их удержать! Он уже видит себя важным чиновником, у него два хорошо обставленных дома — в деревне и в столице, карета, отличный стол. «До чего же добр и благороден был покойник! Никто на свете не может с ним сравниться!» Но к завещанию сделана приписка, нужно ее прочесть: согласно ей все состояние умершего переходит к Мевию, а Титию предстоит по-прежнему жить в предместье, расставшись с мечтой о ренте и титулах. Титий сразу успокаивается, глаза его высыхают: теперь черед сокрушаться Мевию.

60

Разве закон, воспреещающий человеку убивать человека, не понимает под орудиями убийства все, что может явиться причиной смерти: сталь, кинжал, огонь, воду, засаду, любое применение силы? Разве закон, который лишает супругов права передавать друг другу свое состояние, имеет в виду только прямые и непосредственные пути передачи и не принимает во внимание косвенных? Как же в таком случае был введен фидеикомисс, как возможно это установление? Человек, любя свою жену, отказал все имущество преданному другу: потому ли он это сделал, что исполнен к нему благодарности, или потому, что полностью верил

ему и по опыту знал, как он справедлив? Разве мы станем завещать тому, кто, по нашему мнению, может не вернуть завещанное лицу, которому в действительности мы хотели бы все отдать? Тут нет надобности в специальных обещаниях, устных или письменных, в договорах и клятвах: люди отлично знают, чего они могут ждать друг от друга в подобных случаях. Однако, если наследство передано кому-то по фиденкомиссу, почему такой наследник теряет доброе имя, если он присваивает имущество себе? Чем вызваны куплеты и сатиры, хулящие такого человека? Как можно сравнивать его с хранителем вклада, который растратил вклад, или со слугой, присвоившим деньги, врученные ему хозяином для передачи другому лицу? Это несправедливо: разве так уж бесчестно не сделать щедрого дара и сохранить то, что принадлежит нам по закону? Страшная путанница, тяжкое бремя этот фиденкомисс! Если, уважая закон, мы оставляем наследство себе, нас уже не считают порядочными людьми, а если, почитая волю умершего друга, выполняем его желание и все отдаем вдове, мы становимся правонарушителями и преступаем закон, который, видимо, не согласуется с общественным мнением. Впрочем, мне не пристало говорить здесь ни «люди ошибаются», ни «закон неправ».

61

Мне приходилось слышать разговоры о том, что такие-то лица или такие-то корпорации оспаривают друг у друга право первенства, — например, президент парламента и кто-нибудь из пэров. На мой взгляд, отступает та из двух сторон, которая старается избежать встреч в собрании: она как бы чувствует свою слабость и сама присуждает первенство сопернику.

62

Тифон поставляет вельможе собак и лошадей, да и чего только он ему не поставляет! Обласканный сильным мира сего, Тифон обнаглел: в своей провинции он творит все, что ему вздумается — убивает, вероломно обманывает, поджигает жилища соседей, — и чувствует себя безнаказанным. Дело доходит до того, что обуздывать Тифона приходится самому государю.

Рагу, ликеры, соуса, закуски — эти слова должны были бы звучать странно и непонятно для французов. Даже в мирное время они неуместны, ибо служат только роскоши и чревоугодию, но как дико слышать их в годы войны и общественных бедствий, на виду у неприятеля, накануне боя или во время осады! Кто из историков сообщает, какой стол держал Сципион или Марий? Где сказано, что Мильтиад, Эпаминонд или Агесилай любили вкусно поесть? Мне бы хотелось, чтобы, говоря о каком-нибудь генерале, люди сперва обсуждали в подробностях выигранные им битвы и взятые города, а потом уже восхищались его утонченностью, опрятностью и роскошью; впрочем, было бы неплохо, если бы упомянутый генерал вообще не старался заслужить подобную хвалу.

Гермипп в рабстве у своих так называемых маленьких удобств: ради них он готов пренебречь установленными обычаями, модой, требованиями приличий. Везде он ищет удобств, ни одно не ускользает от его внимания, меньшие он отвергает ради больших; он превращает это занятие в настоящую науку и ежедневно придумывает какое-нибудь новшество. Пусть другие обедают и ужинают — для него это пустые слова: он ест только когда голоден, да и то лишь те блюда, которые ему в эту минуту по душе; он самолично наблюдает, как ему приготавливают постель: он должен выяснить, кто из прислуги легок на руку и сможет особенно угодить ему. Из дому он выходит редко и всему предпочитает свою спальню, где не бездельничает, но и не трудится, не работает, а хлопочет, окружив себя всем, что может понадобиться человеку, который принял лекарство. Обычно люди живут в жалкой зависимости от столяра или слесаря, а вот у Гермиппа есть и напильник на случай, если понадобится что-нибудь обточить, и пила, если требуется отпилить, и клещи, если придет нужда вытащить гвоздь. Вообще у него есть все существующие на свете инструменты, притом, с его точки зрения, они и лучше и удобнее тех, какими обычно пользуются ремесленники: среди этих инструментов вы найдете и те, что он изобрел сам — необыкновенные, небывалые, безымянные, назначен-

ние которых он уже успел забыть. Никто не сравнится с ним в умении за короткое время и без особых усилий сделать никому не нужную работу. Чтобы пройти из спальни в гардеробную, ему приходилось делать десять шагов, но он так все переставил, что теперь приходится делать только девять: подумайте, сколько шагов он сэкономит в течение жизни! В других домах люди поворачивают ключ, тянут дверь к себе или толкают ее от себя — и она отворяется. Но ведь это так утомительно! Гермипп ухитряется избежать и этого движения. Каким образом? Это его тайна. Он великий мастер по части пружин и механизмов — тех по крайней мере, без которых все обходится. Свет в его комнаты проникает не через окна, он нашел способ подниматься и спускаться у себя в доме не по лестнице и старается теперь найти возможность входить и выходить более удобным путем, чем через дверь.

65

Люди никогда не доверяли врачам и всегда пользовались их услугами. Врачи дают за дочерьми богатое приданое и покупают сыновьям судейские и церковные должности, комедия и сатира кричат об этом, но сами же насмешники и приумножают доходы врачей. Вчера вы были здоровы, а сегодня вдруг заболели, — и вам, естественно, необходим человек, который по самому своему ремеслу обязан уверять вас, что вы не умрете. Пока люди не перестанут умирать и не утратят охоты жить на свете, врачей будут осыпать насмешками и деньгами.

66

Хороший врач — это человек, знающий средства от некоторых недугов или, если болезнь ему незнакома, зовущий к больному тех, кто сможет ему помочь.

67

Печальные следствия, к которым приводит наглость шарлатанов, заставляют нас ценить врачей и искусство врачевания: врачи не препятствуют нам умирать, а шарлатаны нас убивают.

Карро Карри приезжает к нам, запасшись снадобьем, о котором он говорит, что это быстродействующее лекарство, хотя правильнее сказать, что это медленно действующий яд: рецепт снадобья — тайна, переходящая от отца к сыну в его семье, но он его еще улучшил. Хотя предназначено оно для страдающих резами, Карро Карри лечит им также перемежающуюся лихорадку, плеврит, водянку, апоплексию и эпилепсию. Напрягите память, назовите первую пришедшую вам в голову болезнь. «Кровотечение», — говорите вы? Он лечит и кровотечение. Он честно признает, что никого еще не воскресил из мертвых и никому не вернул жизнь, однако утверждает, что с его помощью люди дотягивают до глубокой старости. Правда, его отец и дед умерли молодыми, но это — несчастное стечение обстоятельств. Врачи берут за свои визиты то, что им дают, — иной раз им просто говорят слова благодарности, — а вот Карро Карри так уверен в своем снадобье и его действии, что, не колеблясь, требует платы заранее и берет прежде, чем даст. Если болезнь неизлечима — тем лучше: тогда она особенно достойна и его снадобья и его стараний. Вручите же ему несколько кошельков с деньгами по тысяче франков в каждом, составьте акт на пожизненную ренту или подарите одно из ваших поместий — самое маленькое, конечно, — а после не мечтайте больше о своем выздоровлении, как не будет заботиться о нем и Карро Карри. Пример этого человека наводнил нашу страну людьми, фамилии которых оканчиваются на «о» или «и» — фамилии весьма почтенные, внушающие трепет и пациентам и болезням. Сознайся, Фагон, твои врачи со всех факультетов излечивают иных пациентов на короткое время, а иных и совсем не могут излечить; между тем люди, которые заимствовали знахарский опыт у своих отцов и получили знания, так сказать, по наследству, клятвенно заверяют больных, что те полностью исцелятся. А ведь человеку, страдающему смертельным недугом, так сладостно ждать выздоровления и так отраднo чувствовать себя сносно, непуская последний вздох! Смерть подходит к нему незаметно, не внушая ужаса: она настывает больного, прежде чем он успеет приготовиться к ней и смириться. О Эскулап-Фагон, распростирайся по всей земле хину и рвотное; старайся проникнуть во все тайны целеб-

ных зелий, дарованных человеку для продления его жизни; наблюдай с небывалой еще остротой зрения и внимательностью за признаками болезни, за влиянием на нее климата, времени года и телосложения больного; лечи каждого так, как подобает при его недуге; изгоняй из человеческого тела, чья деятельность тебе известна, как твои пять пальцев, самые загадочные или застарелые болезни; но не пытайся исцелить болезни ума, ибо они неизлечимы: оставь Коринне, Лесбии, Канидии, Тримальхиону и Карпу их слабость — вернее, безумное пристрастие — к шарлатанам.

69

В нашем государстве терпят шарлатанов и хиромантов, людей, которые составляют гороскопы и гадают на картах и на решетке, узнают прошлое и предрекают будущее, глядя в зеркало и в сосуд с водой. Надо сказать, что эти люди, бесспорно, приносят пользу: они предсказывают мужчинам, что те разбогатеют, девушкам — что они выйдут замуж за своих возлюбленных, сыновьям — что их зажившиеся на свете отцы в конце концов умрут, а молодым женам старых мужей — что их ждет утешение. Таким образом, эти люди за гроши обманывают тех, кто хочет быть обманут.

70

Что сказать о магии и колдовстве? Теория, лежащая в их основе, темна, принципы туманны, запутанны и похожи на принципы учения о духовидении. Однако люди умные и здравые рассказывают о некоторых поистине удивительных явлениях, при которых присутствовали они сами или их друзья, также вполне достойные доверия. Было бы одинаково неосторожно полностью поверить таким рассказам или целиком их отвергнуть: на мой взгляд, здесь, как и во всем, что касается вещей сверхъестественных, выходящих за рамки обычного, следует держаться середины между слепой верой и вольнодумным отрицанием.

71

Чем больше языков человек усвоит с малолетства, тем для него лучше; потому родителям следовало бы приложить все старания, чтобы обучить им своих детей. Языки

полезны для лиц любых сословий, ибо открывают доступ к познаниям столь же легким и приятным, как и глубоким. Но стоит отложить эти занятия на более позднее время, которое называется молодостью, — и у человека уже не хватает способностей или прилежания, чтобы по собственному почину одолеть их. Впрочем, даже если у него и хватит прилежания, придется убить на заучивание языков то время, которое он мог бы посвятить их применению в жизни, придется зубрить слова в том возрасте, когда хочется проникнуть в суть выражаемых ими вещей, придется признать, что наши первые и лучшие годы были напрасну потеряны. Большие запасы познаний можно приобрести лишь тогда, когда все само собой врезается в душу, когда память свежа, податлива и остра, когда ум и сердце еще не ведают страстей, забот и желаний, когда к занятиям побуждают ребенка те люди, от которых он зависит. На мой взгляд, у нас так мало истинно образованных людей, или, если хотите, так много людей поверхностных, именно потому, что мало кто помнит о необходимости изучать языки.

## 72

Работа над подлинниками — занятие необыкновенно полезное: это самый короткий, верный и приятный путь к приобретению познаний. Прибегая к подлиннику, вы все получаете из первых рук, черпаете из источника; поэтому читайте и перечитывайте его, заучивайте наизусть, цитируйте при случае, вникайте в смысл во всей его глубине, сложности и противоречивости, старайтесь постичь идеи автора, делайте из них выводы. Я советую вам поставить себя на место первых комментаторов текста: попытайтесь до всего дойти сами и только в крайнем случае следуйте ходу их мыслей и перенимайте их точку зрения. Помните: их взгляды — не ваши, поэтому вам легко в них запутаться, тогда как мнения, рожденные вашим собственным разумом, навсегда остаются при вас; их легко вспомнить, когда вы приходите к кому-нибудь за советом, когда вы спорите или просто беседуете. Кроме того, вам будет приятно убедиться, что вас не остановили трудности, казалось бы непобедимые, перед которыми стали в тупик комментаторы и ученые, столь изобретательные, хитроумные и полные никому не нужной эрудиции, ибо они блистают ею там, где и без них все ясно и понятно даже непосвященным.

Применяя эту методику, вы увидите, что лишь из-за человеческой лени педантам удалось так увеличить библиотеки, несколько их не обогатив, и похоронить тексты под грудой комментариев; при этом лень действует против самой себя и самых дорогих своих интересов, ибо, чем больше на свете книг и исследований, тем больше надобно трудиться — а как раз трудиться лени и не хочется.

Что руководит людьми, когда они выбирают себе тот или иной образ жизни, ту или иную пищу? Забота о здоровье и правильном режиме? Не думаю. Один народ ест мясо после плодов; другой — плоды после мяса; третий начинает трапезу одними плодами, а кончает другими. Разум ли тут причиной или обычай? Разве о здоровье думают мужчины, когда носят глухие камзолы с воротниками и брыжами, — те самые мужчины, которые так долго ходили с открытой грудью? Разве они пекутся о пристойности, когда носят одежду, в которой умудряются казаться голыми? И разве женщины, открывающие грудь и плечи, крепче здоровьем и равнодушнее к требованиям приличия, чем мужчины? Можно ли назвать скромностью то чувство, которое побуждает женщин закрывать не только ноги, но даже ступни, и в то же время требует от них, чтобы они обнажали руки выше локтя? Кто внушил некогда людям, что на войне надо либо защищаться, либо нападать и потому следует всегда иметь при себе оборонительное и наступательное оружие? Почему они отказываются от него ныне, почему посылают безоружных и одетых в одни куртки землекопов работать под перекрестным огнем противника, между тем как сами надевают высокие сапоги, даже когда едут на бал? Были мудры или простоваты наши отцы, которые сочли бы этот обычай вредным для государя и страны? Впрочем, каких героев почитаем в нашей истории мы сами? Дюгеклена, Клиссона, Фуа, Бусико — а ведь все они носили шлем и панцирь!

Кто может объяснить, почему иные слова в нашем языке процветают, а другие стали отверженными? *Ains*<sup>1</sup> погибло, и даже гласная, которой оно начинается, такая

---

<sup>1</sup> Но (франц.).

удобная для связывания его с предыдущим словом, не спасла его: оно уступило дорогу другому односложному слову<sup>1</sup> — своей, можно сказать, анаграмме. *Certes*<sup>2</sup> прекрасно в своей старости и на закате дней все еще полно сил: поэзия любит его, и наш язык весьма обязан авторам, которые, невзирая на нападки критиков, употребляют его в прозе. Мы не должны были отказываться от слова *taint*<sup>3</sup> — это истинно французское слово так легко укладывается в любое выражение! *Moult*,<sup>4</sup> хотя и перешло к нам из латыни, но также в свое время было очень в ходу, и я не вижу, чем *beaucoup*<sup>4</sup> лучше, нежели *moult*. Каким только гонениям не подвергалось *car*,<sup>5</sup> хотя заменить его у нас нечем: не найди оно защитников среди людей образованных, быть бы ему изгнанным из языка, которому оно так долго служило. В дни своего расцвета *cil*<sup>6</sup> было одним из прелестнейших французских слов: поэты скорбят о том, что оно состарилось. *Douloureux*<sup>7</sup> так же естественно происходит от слова *douleur*,<sup>8</sup> как от слова *chaleur*<sup>9</sup> происходят слова *chaleureux*<sup>10</sup> и *chaloureux*.<sup>10</sup> Последнее употребляется все реже, хотя оно было полезно языку и точно выражало то, что лишь частично выражает *chaud*.<sup>11</sup> Рядом с *valeur*<sup>12</sup> должно было сохраниться *valeureux*, рядом с *haine*<sup>13</sup> — *haineux*, с *peine*<sup>14</sup> — *peineux*, с *fruit*<sup>15</sup> — *fructueux*, с *pitié*<sup>16</sup> — *pitieux*, с *joie*<sup>17</sup> — *joyal*, с *foi*<sup>18</sup> — *féal*, с *cour*<sup>19</sup> — *courtois*<sup>20</sup>, с *gîte*<sup>21</sup> — *gisant*,<sup>22</sup> с *haleine*<sup>23</sup> — *halené*, с *vanterie*<sup>24</sup> — *vantard*, с *mensonge*<sup>25</sup> — *mensonger*, с *coutume*<sup>26</sup> — *coutumier*; существуют же вместе с *part*<sup>27</sup> — *partial*, вместе с *point*<sup>28</sup> — *pointu*<sup>29</sup> и *pointilleux*,<sup>30</sup> с *ton*<sup>31</sup> — *tonnant*, с *son*<sup>32</sup> — *sonore*, с *frein*<sup>33</sup> — *effréné*,<sup>34</sup> с *front*<sup>35</sup> — *effronté*,<sup>36</sup> с *ris*<sup>37</sup> — *ridicule*, с *loi*<sup>38</sup> — *loyal*,<sup>39</sup> с *coeur*<sup>40</sup> — *cordial*, с *bien*<sup>41</sup> — *benin*,<sup>42</sup> с *mal*<sup>43</sup> — *malicieux*. *Heur*<sup>44</sup> легко было поместить там, где не станет *bonheur*;<sup>45</sup> создав такое истинно французское прилагательное, как *heureux*,<sup>46</sup> оно перестало

<sup>1</sup> Mais. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Конечно; <sup>3</sup> неоднокорный, не один; <sup>4</sup> очень, весьма; <sup>5</sup> ибо, поскольку; <sup>6</sup> этот; <sup>7</sup> болезненный; <sup>8</sup> боль; <sup>9</sup> тепло; <sup>10</sup> горячий, пылкий; <sup>11</sup> теплый, горячий; <sup>12</sup> доблесть, ценность; <sup>13</sup> ненависть; <sup>14</sup> тягота, горе; <sup>15</sup> плод; <sup>18</sup> жалость; <sup>17</sup> радость; <sup>18</sup> вера, верность; <sup>19</sup> двор; <sup>20</sup> учтывный; <sup>21</sup> жилище; <sup>22</sup> лежащий, расположенный; <sup>23</sup> дыхание; <sup>24</sup> хвастовство; <sup>25</sup> ложь; <sup>26</sup> обычай; <sup>27</sup> часть; <sup>28</sup> точка; <sup>29</sup> остроконечный; <sup>30</sup> мелочный, обидчивый, колючий; <sup>31</sup> звук, тон; <sup>32</sup> звук; <sup>33</sup> узда; <sup>34</sup> разнузданный; <sup>35</sup> лоб; <sup>36</sup> нахальный; <sup>37</sup> смех; <sup>38</sup> закон; <sup>39</sup> верный; <sup>40</sup> сердце; <sup>41</sup> благо; <sup>42</sup> благодушный; <sup>43</sup> зло; <sup>44,45</sup> счастье, <sup>46</sup> счастливый (франц.).

существовать. Поэты иногда еще пользуются им, но не столько по доброй воле, сколько по требованию размера. *Issue*<sup>1</sup> процветает, а породившее его *issir* упразднено, в то время как *fin*<sup>2</sup> здравствует, а его детище *finer* умерло; *cesse*<sup>3</sup> и *cesser* существуют на равных правах. *Verd*<sup>4</sup> не образует больше *verdoyer*, *fête*<sup>5</sup> — *fêtoyer*, *larme*<sup>6</sup> — *larmoyer*, *deuil*<sup>7</sup> — *se douloir* и *se condouloir*, *joie* — *s'éjouir*, хотя то же слово *joye* образует *se réjouir* и *se conjouir*, точно так же как *orgueil*<sup>8</sup> образует *s'enorgueillir*. Прежде о людях говорили собирательно *gent*:<sup>9</sup> вто легко произносимое слово вышло из употребления, а вместе с ним и слово *gentil*. Мы говорим *diffamé*,<sup>10</sup> но забыли, что происходит оно от устарелого *fame*,<sup>11</sup> часто произносим *curieux*,<sup>12</sup> но не помним *cure*.<sup>13</sup> Мы отказались от *si que* в пользу *de sorte que* или *de manière que*,<sup>14</sup> от *de moi* в пользу *pour moi* или *quant à moi*,<sup>15</sup> от *je sais que c'est qu'un mal* в пользу *je sais ce que c'est qu'un mal*,<sup>16</sup> хотя говорить по-старому было проще: в первых двух случаях помогала аналогия с подобными же латинскими выражениями, а в последнем — фраза была на одно слово короче и ее удобнее было произносить в надгробных речах. Обычай выбрал *par consequent* вместо *par conséquence*,<sup>17</sup> но *en conséquence* вместо *en conséquent*,<sup>18</sup> *façons de fairee* вместо *manières de faire*,<sup>19</sup> но *manières d'agir* вместо *façons d'agir*;<sup>20</sup> предпочел глагол *travailler* глаголу *ouvrer*,<sup>21</sup> *être accoutumé* — *soulior*,<sup>22</sup> *convenir* — *duire*,<sup>23</sup> *faire du bruit* — *bruire*,<sup>24</sup> *injurier* — *vilainer*,<sup>25</sup> *piquer* — *poindre*,<sup>26</sup> *faire ressouvenir* — *ramentevoir*.<sup>27</sup> *Pensées* заняли место *pensers*,<sup>28</sup> которые так чудесно выглядели в стихах. Мы говорим *grandes actions*, а не *prouesses*,<sup>29</sup> *louanges*, а не *loz*,<sup>30</sup> *méchanceté*, а не *mauvaistié*,<sup>31</sup> *porte*, а не *huis*,<sup>32</sup> *navire*, а не *nef*,<sup>33</sup> *armée*, а не *ost*,<sup>34</sup> *monastère*, а не *monstier*,<sup>35</sup> *prairies*, а не *prées*...<sup>36</sup> А ведь все эти одинаково прекрасные слова могли бы жить рядом в языке, безмерно обогащая его! Обычай путем прибавления, изъятия, перестановки или изменения нескольких букв обратил *fralater* в *frelater*,<sup>37</sup>

<sup>1</sup> Выход; <sup>2</sup> хитрый; <sup>3</sup> остановка, перерыв; <sup>4</sup> зеленый; <sup>5</sup> праздник; <sup>6</sup> слеза; <sup>7</sup> грусть, горе; <sup>8</sup> гордость; <sup>9</sup> народ, люд; <sup>10</sup> опозоренный; <sup>11</sup> слава, молва; <sup>12</sup> любопытный; <sup>13</sup> забота, внимание; <sup>14</sup> так что, таким образом; <sup>15</sup> что касается меня; <sup>16</sup> я знаю, что такое недуг; <sup>17</sup> следовательно; <sup>18</sup> вследствие; <sup>19</sup> характер поступков; <sup>20</sup> способ действий; <sup>21</sup> работать; <sup>22</sup> иметь обыкновение; <sup>23</sup> подовать; <sup>24</sup> шуметь; <sup>25</sup> оскорблять, бранить; <sup>26</sup> колоть; <sup>27</sup> напоминать; <sup>28</sup> мыслен; <sup>29</sup> подвиги; <sup>30</sup> похвалы; <sup>31</sup> злобность; <sup>32</sup> дверь; <sup>33</sup> корабль; <sup>34</sup> войско; <sup>35</sup> монастырь; <sup>36</sup> луга; <sup>37</sup> подделывать (вино) (франц.).

*preuver* в *prouver*,<sup>1</sup> *proufit* в *profit*,<sup>2</sup> *froument* в *froment*,<sup>3</sup> *pourfil* в *profil*,<sup>4</sup> *pourveoir* в *provision*,<sup>5</sup> *pourmener* в *promener*,<sup>6</sup> *pourmenade* в *promenade*.<sup>7</sup> Тот же обычай требует, чтобы прилагательные *habile, utile, facile, docile, mobile, fertile*<sup>8</sup> одинаково оканчивались и в мужском и в женском роде, тогда как *vil*<sup>9</sup> в женском роде дает *vile*, а *subtil*<sup>10</sup> — *subtile*. Он изменил старинные окончания некоторых слов, превратив *scel* в *sceau*,<sup>11</sup> *mantel* в *manteau*,<sup>12</sup> *capel* в *chapeau*,<sup>13</sup> *coustel* в *couteau*,<sup>14</sup> *hamel* в *hameau*,<sup>15</sup> *damoiseil* в *damoiseau*,<sup>16</sup> *jouvencel* в *jouvenceau*;<sup>17</sup> при этом мы никак не можем сказать, что французский язык много выиграл от этих замен и подстановок. Так ли уж полезно для языка во всем подчиняться обычаю? Не лучше ли стряхнуть гнет его деспотической власти? А если следовать обычаю, то надо вместе с тем прислушиваться и к голосу разума, который подсказывает нам, как избежать путаницы, и вместе с тем помогает определять корни слов и связь, существующую между живым языком и языками, его породившими.

Лучше ли писали наши предки, чем пишем мы? Превосходим ли мы их в умении выбирать нужные слова, в изяществе слога, в ясности и сжатости изложения? Об этом много спорят, но не могут прийти ни к какому решению. Споры эти вовек не кончатся, если мы будем следовать примеру тех, кто сравнивает какого-нибудь бездарного писака прошлого века с нашими самыми прославленными авторами, стихи Лорана, которому платили деньги, чтобы он больше не писал их, со стихами Маро и Депорта. Чтобы найти правильный ответ, нужно противопоставить один век другому, сопоставить одно превосходное произведение с другим, например лучшие рондо Бенсерада и Вуатюра с теми рондо, которые я привожу ниже; история сохранила нам эти стихи, но кто и когда их написал, мы не знаем.

Давным-давно, меж рыцарей блистая,  
Ожье неверных в их стране разнл.  
Он, жалости к язычникам не зная,  
Великие дела там совершил.

---

<sup>1</sup> Доказывать; <sup>2</sup> прибыль, выгода; <sup>3</sup> пшеница; <sup>4</sup> профиль; <sup>5</sup> провиант, запас; <sup>6</sup> вести на прогулку; <sup>7</sup> променада, место для прогулок; <sup>8</sup> ловкий, полезный, легкий, послушный, подвижный, плодородный; <sup>9</sup> подлый; <sup>10</sup> тонкий, деликатный; <sup>11</sup> печать; <sup>12</sup> плащ, пальто; <sup>13</sup> шляпа; <sup>14</sup> нож; <sup>15</sup> поселок; <sup>16</sup> юный дворянин; <sup>17</sup> юнец (франц.).

Изъездил свет от края и до края  
И воду юности себе добыл.  
Был стар Ожье. Ушла весна молодая,  
А вместе с ней погас и юный пыл  
Давным-давно.

Но лишь водой волшебной он омылся,  
Как тут же на глазах переменился  
И стал таким, как в прежние года...

Увы, увы! Все это — небылицы.  
Мне жаль вас, перезрелые девицы:  
Вам в той воде уже пришла нужда  
Давным-давно.

---

Сей славный муж — пример для всех времен,  
Достойный лавров и хвалы премногой:  
В обман нечистой силою введен,  
Он сочетался браком с козлоногой.

До правды все же донскался он,  
Но страх отринул, совладал с тревогой,  
За что был до небес превознесен  
Людской молвой, придирчивой и строгой,  
Сей славный муж.

Узнав, как он отважен и умен,  
Дочь короля взяла его в полон,  
Хотя слыла средь многих недотрогой.

С кем жить спокойней — с женщиной земной  
Иль с ведьмою хвостатой и двурогой —  
Постигнуть мог с отменной полнотою  
Сей славный муж.

## Глава XV

### О ЦЕРКОВНОМ КРАСНОРЕЧИИ

#### 1

Христианская проповедь превратилась ныне в спектакль. Евангельское смирение, некогда одушевлявшее ее, исчезло: в наши дни проповеднику всего нужнее выразительное лицо, хорошо поставленный голос, соразмерный жест, умелый выбор слов и способность к длинным перечислениям. Никто не вдумывается в смысл слова божьего, ибо проповедь стала всего лишь забавой, азартной игрой, где одни состязаются, а другие держат пари.

#### 2

Светское красноречие, процветавшее при Леметре, Пюселе и Фуркруа в залах судебных заседаний, теперь уже не в ходу там; оно переселилось на церковную кафедру, где ему не должно быть места.

Красноречие царит ныне даже у подножия алтаря, там, где свершаются таинства; миряне судят проповедников, бранят их или одобряют, но они равно холодны и к той проповеди, которая им по вкусу, и к той, которой они недовольны. Оратор одним нравится, другим нет, но в обоих случаях он никого не исправляет, ибо и не пытается никого исправить.

Смирениый ученик внимает словам учителя, извлекает пользу из его наставлений и, в свою очередь, становится

учителем. Человек, преисполиенный гордыни, критикует проповедь, словно это книга какого-нибудь философа, и в конце концов так и не набирается ни христианских добродетелей, ни ума.

3

Пока не явится человек, который, проникшись духом святого писания, начнет просто и убедительно толковать народу слово божье, до тех пор у ораторов и рнторов отбоя не будет от поклонников.

4

Цитаты из светских книг, ненужные отсылки, пустой пафос, антитезы, гиперболы больше не в ходу; скоро проповедники перестанут рисовать в своих речах портреты великих людей и ограничатся толкованием Евангелия, которое всегда волнует сердца и обращает слушателей к истинной вере.

5

Он появился наконец — человек, которого я не чаял увидеть в наше время и все же ожидал с таким нетерпением! Придворные рукоплескали ему — одни потому, что наделены разумом, другие потому, что стараются соблюдать благопристойность. Вещь неслыханная! Они покинули королевскую капеллу, дабы вместе с народом внимать слову божьему нз уст этого святого человека.<sup>1</sup> Но столица оказалась другого мнения: прихожане — вплоть до церковных старост — покинули храмы, где он проповедовал; пастыри были стойки, но паства разбежалась, привлеченная ораторами соседних церквей. Мне следовало бы предвидеть это и не утверждать, что едва такой человек явится, как все пойдут за ним, едва он заговорит, как все кинутся его слушать: я должен был знать, как неодолима в человеке — да и во всем сущем — сила привычки! Вот уже тридцать лет, как люди внемлют риторам, декламаторам, перечислителям и без ума от всех, кто живописует в пол-

---

<sup>1</sup> Капуцин отец Серафим. (Прим. автора.)

ный рост или в миниатюре. Еще совсем недавно проповедники сочиняли такие неожиданные, блестящие, острые концовки и переходы, которые были под стать эпиграммам; должен признать, что теперь они стали скромнее и речи их подобны обыкновенным мадригалам. Каждая проповедь неукоснительно, с математической точностью предлагает вашему вниманию три раздела: в первом доказывается то-то, во втором — то-то, в третьем — то-то. Таким образом, сначала вас убедят в одной истине, и это будет первым разделом речи; потом убедят во второй, и это будет вторым разделом; напоследок убедят в третьей, и это будет третьим разделом. Первый раздел просветит вас по части одного из важнейших догматов вашей веры, второй — по части второго, не менее важного, последний — по части третьего, важнейшего из всех; впрочем, за недостатком времени его придется отложить до следующей проповеди; наконец, чтобы несколько сократить проповедь и составить план... «Опять план! — восклицаете вы. — Какое длинное вступление к речи, на которую остается всего лишь три четверти часа! Чем старательнее втолковывают мне и разъясняют ее суть, тем больше я запутываюсь». Вы совершенно правы: таково обычное следствие нагромождения мыслей, которые, по существу, сводятся к одной-единственной и непомерно утомляют память слушателей. Нынешние проповедники так цепляются за эти длиннющие разделы, словно без них нет истинной веры и благодати. Но как, скажите на милость, могут хоть кого-нибудь наставить подобные апостолы, если паства с трудом понимает, о чем они ведут речь, не способна уследить за ходом их доказательств, то и дело теряет нить рассуждения? Я не прочь бы прервать буйный поток их красноречия просьбой остановиться и дать хоть минуту передышки себе и своим слушателям. Суетные проповеди, слова, брошенные на ветер! Времена всенародных толкований Евангелия прошли, их не вернули бы даже св. Василий или Иоанн Златоуст: паства разбежалась бы по другим приходам, лишь бы не слышать их голосов, их простодушных назиданий. Люди — во всяком случае, большинство людей — любят пышные фразы и периоды, восхищаются тем, чего не понимают, и верят, что достигли высот премудрости, если высказывают предпочтение первому или второму разделу, последней или предпоследней проповеди.

Меньше века тому назад французская книга состояла из страниц, написанных по-латыни, в которых были вкраплены французские фразы и слова. Одна за другой шли выдержки, примечания, цитаты. В вопросах брака и завещания судьями выступали Овидий и Катулл; вместе с пандектами Юстиниана они приходили на помощь вдовам и сиротам. Духовное было столь прочными узами связано со светским, что они не разлучались даже на церковной кафедре: с нее поочередно звучали слова то св. Кирилла, то Горация, то св. Киприана, то Лукреция. Положения св. Августина и отцов церкви подкреплялись цитатами из поэтов. С паствой беседовали по-латыни, к женщинам и церковным старостам долгое время обращались по-гречески. Чтобы так плохо проповедовать, нужно было очень много знать. Иные времена, иные песни: текст берется по-прежнему латинский, но проповедь произносится на французском языке — и притом отличном! Евангелие даже не цитируется. Сегодня, чтобы хорошо проповедовать, можно почти ничего не знать.

Церковные кафедры больших городов избавились наконец от схоластического богословия, изгнав его в провинциальные городишки и деревни, где оно должно просвещать умы и наставлять на путь истинный землепашцев и виноградарей.

Если проповедь нравится народу своим цветистым слогом, доступной всем моралью, умелыми повторениями, блестящими выпадами и живыми описаниями, значит проповедник умен; но этого мало: истинно мудрый проповедник пренебрегает подобными красотами, столь противными духу Евангелия: он проповедует просто, горячо, по-христиански.

Проповедник-оратор так красиво описывает иные пороки, останавливается на таких щекотливых подробностях, изображает грешника таким умным, изысканным и утон-

ченным, что мне, безусловно, захочется стать похожим на этого грешника, если только какой-нибудь апостол, чья проповедь ближе к духу христианской веры, не отвратит меня от порока, столь соблазнительно описанного.

10

Хорошая проповедь — это речь, построенная по всем законам ораторского искусства, согласно всем правилам человеческого красноречия, безукоризненная и украшенная всеми ухищрениями риторики. Знатоки не упускают в такой речи ни единой подробности, ни единой мысли: они без труда следят за оратором и когда он пускается в перечисления и когда возносится к вершинам пафоса; загадкой она остается только для народа.

11

Какую великолепную и назидательную речь мы только что слушали! В ней были затронуты самые существенные догматы религии, приведены самые неоспоримые доводы в пользу обращения на путь истинный; какое огромное впечатление она должна была произвести на умы и души слушателей! Они покорены, взволиованы, растроганы до такой степени, что втайне даже готовы предпочесть эту проповедь Теодора предыдущей.

12

Мягкость и снисходительность в вопросах нравственности не приносит успеха проповеди: ничто в ней не задевает, не щекочет любопытства мирянина, который куда меньше, чем принято думать, боится сурового поучения и, напротив, склонен одобрить такую суровость в том, кто по долгу своему призван ее проповедовать. Таким образом, в церкви существует как бы две категории поборников строгой морали: одни обязаны говорить правду во всей ее наготе, без прикрас и смягчений, другие жадно слушают ее, ценят, приходят в восторг, рассыпаются в похвалах — и продолжают жить, как прежде, не хуже и не лучше.

Великих людей, преисполненных высокой добродетели, можно упрекнуть в том, что они приниали искусство красноречия или по меньшей мере испортили слог большинства проповедников: вместо того чтобы присоединить свой голос к гласу народа и возблагодарить господя, ниспославшего людям столь драгоценные дары, эти ораторы, сделавшись панегиристами и вступив в союз с поэтами и писателями, даже перешеголяли последних в сочинении посвячительных посланий, стансов и прологов; священное писание они заменили потоком похвал — справедливых, но продиктованных своекорыстием и не приличествующих ни им, ни их сану, похвал, которых к тому же от них никто не требует. Хорошо еще, если, прославляя в храме господнем героя, они скажут хотя бы два слова о бoге и таинствах — истинном предмете их проповеди. Случалось и так, что оратор, который приготовился толковать святое Евангелие — достояние всех людей — в расчете на присутствие одного-единственного лица, вдруг узнавал, что этот слушатель, задержанный случайными обстоятельствами, не придет; совсем растерявшись, он уже не мог произнести перед собранием христиан христианскую проповедь, предназначенную не для них, и предпочитал уступить место другому оратору, которому ничего не оставалось, как в наспех составленной речи вознести хвалу господу.

Слушатели ожидали, что Теодул произнесет более блестящую проповедь; впрочем, они остались вполне довольны им самим и его речью: пусть уж он поменьше чарует их ум и слух, лишь бы не возбуждал в них зависти.

Ораторы в одном отношении похожи на военных: они идут на больший риск, чем люди других профессий, зато быстрее возвышаются.

Если вы занимаете определенное положение в обществе и при этом все ваши таланты сводятся к умению произно-

сильно скучные речи — что ж, произносите их, проповедуйте: для человека, желающего возвыситься, любая слава лучше, нежели безвестность. Теодат произносил неуклюжие, однообразные, усыпительные речи — и был за это осыпан милостями.

17

В былые времена вознаграждали большими диоцезами таких проповедников, которые в наши дни не получили бы за свое красноречие даже простого прихода.

18

Этот проповедник-панегирист чуть не сгибается под бременем титулов и званий, которыми он осыпан; его имя красуется на больших афишах — и на тех, что разносят по домам, и на тех, что развешивают на улицах; написаны эти афиши такими огромными буквами, что их так же невозможно не заметить, как, скажем, городскую площадь. Если, ознакомившись со столь блестящей выставкой слов, вы захотите познакомиться с сутью дела и послушаете самого оратора, вы поймете, что в бесконечном перечне его званий все же не хватает одного: звания дурного проповедника.

19

Праздность женщин и обыкновение мужчин сбегаться туда, где собирается прекрасный пол, создают славу дурным ораторам и поддерживают ее даже тогда, когда она начинает меркнуть.

20

Справедливо ли, чтобы пастырь с церковной кафедры, перед святым алтарем, произносил на похоронах речь во славу и честь умершего, не задумываясь, был ли тот при жизни действительно достоин похвалы, но твердо помня, что судьба наградила его знатностью и могуществом? Разве человек славен только тем, что он именит и ему дана власть над другими людьми? Почему не принято публично произносить панегирики тому, кто всю жизнь отличался добротой, справедливостью, кротостью, верностью и благочестием? Так называемое надгробное слово пользуется:

тем большим успехом у многочисленных слушателей, чем меньше оно проникнуто истинно христианским духом или, если угодно, чем ближе к мирскому красноречию.

21

Оратор старается своими речами снискать епископский сан; истинный вероучитель стремится наставить паству на путь истины. Второму следовало бы предоставить то, чего добивается первый.

22

Всем известны такие служители церкви, которые, вернувшись после недолгого пребывания в языческих странах, похваляются числом обращенных, забывая прибавить однако, что эти люди или давно уже были обращены, или так и не обратились. Они почитают себя ничуть не ниже Венсана и Ксавье, — словом, настоящими апостолами, — и убеждены, что их усердный труд и благотворная деятельность заслуживают награды гораздо большей, чем простое аббатство.

23

Иной ни с того ни с сего вдруг берет перо, бумагу и решает: «Сочиню-ка я книгу!», хотя весь его талант сводится к желанию заработать пятьдесят пистолей. Я тщетно взываю к нему: «Вот пила, Диоскор, выпили что-нибудь, или обточи, или смастери колесные ободья — и ты заработаешь не меньше». Он, видите ли, не обучен этим ремеслам. «В таком случае копируй, надписывай, поступи, наконец, правщиком в типографию, но только не пиши». Но он желает писать и, главное, печататься, а так как в типографию не полагается отправлять чистую тетрадь, то он марает в ней, что в голову взбредет. Он с удовольствием написал бы, что Париж стоит на Сене, что в неделе семь дней, что на улице идет дождь. А так как подобные утверждения не подрывают ни религии, ни государства и не причиняют вреда публике — разве что портят ей вкус и приучают читать пошлейший вздор, — то книга проходит цензуру, ее издают и вскоре переиздают, как это ни позорно для нашего века и ни унижительно для хороших писателей. Другой человек точно так же решает про себя: «Хочу стать

проповедником» — и начинает проповедовать. И вот уже он стоит на церковной кафедре, хотя весь его талант и признание заключаются в том, что ему нужен бенефиций.

24

Если служители церкви не проповедают с кафедры, а упражняются в риторике, значит сердца их преисполнены мирской суеты или нечестия. Но есть и другие священники, которые всем своим обликом внушают доверие. Стоит им подняться на кафедру, как паства, собравшаяся послушать их, начинает испытывать волнение; их вид склоняет сердца к истине, а слова довершают дело.

25

Епископ города Мо и отец Бурдалу напоминают мне Демосфена и Цицерона. Этих мастеров церковного красноречия постигла судьба их великих предшественников: один развел племя дурных критиков, другой — отвратительных подражателей.

26

Церковное красноречие особенно трудно потому, что мирское и ораторское начала в нем должны быть незаметны слушателям. Какое надо проявить искусство, чтобы нравиться и в то же время наставлять! Проповедник идет проторенной дорогой, и все заранее знают, что он скажет; ибо он повторяет уже много раз сказанное. Предмет его проповеди значителен, но привычен и хорошо знаком; положения неоспоримы, но выводы из них давно известны; тема возвышенна, но кому под силу достойно говорить о возвышенном? Иные таинства легче объяснить на уроке катехизиса, чем в ораторской речи. Даже проповедь морали, столь обширной и разнообразной, ибо в нее входит все, что относится к людским нравам, вращается вокруг одной и той же оси, рисует одни и те же картины, ограничивает себя рамками, куда более тесными, чем, скажем, сатира. После обычного обличения суетных почестей, богатств и наслаждений оратору остается только окончить свою речь и отправить слушателей по домам. Если порою люди плачут; если их трогает проповедь, то, отдавая должное таланту и всему облику проповедника, мы все же признаем, что тут

говорит за себя сам предмет и наша в Нем кровная заинтересованность, что слезы и волнение вызваны не столько подлинным красноречием говорящего, сколько мощью его голоса. Наконец, проповедник, в отличие от адвоката, не может заинтересовать слушателей новыми обстоятельствами, происшествиями, неслыханными приключениями, не может решать запутанные вопросы, строить смелые догадки и предположения, а ведь все это приходит на помощь таланту, дает ему силу и размах и не только не стесняет красноречия, а, напротив, поддерживает и направляет его. Проповедник прибегает к источнику, откуда черпают все, и стоит ему удалиться от этих всем доступных мест, как он становится туманным и отвлеченным, впадает в декламацию — словом, перестает проповедовать Евангелие. Ему необходимо обладать одним лишь качеством — благородной простотой, но до нее нужно возвыситься, а это требует редкого таланта, не свойственного большинству людей. Способности, воображение, знания и память чаще всего служат им только для того, чтобы избежать этой простоты.

Ремесло адвоката утомительно и кропотливо; оно требует от того, кто им занимается, не только глубоких знаний, но и незаурядных способностей. В то время как проповедник, сочинив на досуге несколько проповедей, читает их наизусть, уподобляясь наставнику, которому никто не осмеливается противоречить, и потом неоднократно повторяет их с небольшими изменениями и постоянным успехом, адвокат произносит сложнейшие защитительные речи в присутствии судей, которые могут лишить его слова, и противной стороны, которая может его прервать; он должен быть всегда готов к возражениям; ему приходится в один и тот же день выступать в различных инстанциях по различным делам. У себя дома он тоже не находит покоя и отдыха, не может отгородиться от клиентов; двери его открыты всем, кто приходит докучать ему своими вопросами и сомнениями; он не укладывается в постель, его не растирают бальзамом, не подают ему прохладительного питья, к нему в спальню не стекаются люди без различия пола и звания, чтобы похвалить его за изящество языка и утонченность оборотов, успокоить по поводу того места в речи, где он чуть было не сбился, рассеять тревогу, снедающую его из-за процесса, который он вел менее энергично, чем другие дела; он отдыхает от длинных речей

проводя долгие часы за писанием бумаг и сменяя, таким образом, одну работу другой, одно бремя — другим. Дерзну утверждать, что в своей области он является тем, чем были некогда первые апостолы.

Таким образом, дав определение судебному красноречию и ремеслу адвоката, с одной стороны, церковному красноречию и миссии проповедника — с другой, мы невольно приходим к выводу, что легче проповедовать, чем защищать в суде, но куда труднее хорошо проповедовать, чем хорошо защищать.

## 27

Как велико преимущество живого слова перед писаными! Люди поддаются очарованию жеста, голоса, всей окружающей их обстановки. Если они хоть немного расположены в пользу говорящего, они сперва приходят в восторг, а уж потом стараются понять, о чем он говорит; не успеет он начать, как они твердят, что речь будет превосходной, вслед за тем засыпают, а когда оратор уже кончает свое слово — просыпаются и говорят, что речь была превосходной. У писателя нет таких пылких сторонников: его произведение читают на досуге в деревне или в тиши кабинета; люди не собираются вместе, чтобы ему рукоплескать, и уж подавно никто не плетет интриг, чтобы унижить всех его соперников и добыть ему сан прелата. Как бы хороша ни была его книга, ее читают с предвзятым мнением, что она заурядна, перелистывают, сличают отдельные места; это не звуки, которые тают в воздухе и забываются: что написано, того не сотрешь. Книгу порой стараются раздобыть за несколько дней до начала продажи, чтобы поскорее ее выbranить, и самое утонченное удовольствие, доставляемое ею, — это возможность ее покритиковать. Если ее страницы изобилуют удачными местами — читатели сердятся и, опасаясь, как бы она не начала им нравиться, в конце концов откладывают в сторону именно потому, что она хороша.

Отнюдь не все считают себя ораторами, не все хотят или дерзают притязать на умение говорить плавно и образно, на хорошую память, на право носить духовное одеяние и называться проповедником. Но зато всякий уверен, что он умеет мыслить и пишет еще лучше, чем мыслит: поэтому он недоброжелательно относится ко всем, кто мыслит и пишет не хуже, чем он сам. Короче говоря, скорее *правд-*

учитель будет награжден саном епископа, чем самый одаренный писатель получит простой приорат, а что касается милостей, то на первого они так и сыплются, меж тем как достойный автор весьма рад, когда он остается при своем.

28

Когда дурные люди преследуют вас ненавистью, люди добродетельные советуют вам смириться перед богом и не поддаваться тщеславию, терзающему вас из-за того, что вы не нравитесь вашим недоброжелателям. Точно так же, когда люди, которые во всем видят посредственность, бранят книгу, написанную вами, или речь, произнесенную публично — в суде ли, с церковной ли кафедры или в ином месте, — смиритесь: помните, вы подвергаетесь опаснейшему и утонченнейшему искушению впасть в грех гордыни.

29

Я полагаю, что проповеднику следовало бы в основу каждой своей проповеди класть только одну истину, но существенную, грозную, назидательную; он должен развить ее и до конца исчерпать, отказавшись от всяких разделов, обдуманых, выверенных, отшлифованных и подробно разработанных; выбросить из головы то, чего нет в действительности, то есть не думать, что вельможи и светские люди наставлены в вере и своих обязанностях, и смело обучать катехизису этих умников и знатоков. Пусть долгие часы, потребные на сочинение длинной проповеди, он употребит на столь глубокое обдумывание предмета, чтобы слова и обороты рождались сами собой и свободно лились из глубины сердца; пусть вверится после такой подготовки силе своего таланта и волнению, внушенному величием самой темы, избавив себя тем самым от огромного напряжения памяти, которое пристало не столько человеку, занятому важным делом, сколько тому, кто побился об заклад и вспоминает нечто, относящееся к предмету спора, — подобное напряжение связывает жесты и уродует лицо; пусть исполнится воодушевления, убедит умы, встревожит сердца и посеет в слушателях не боязнь того, что оратор вот-вот запнется, а трепетный ужас, идущий из совсем иного источника.

Пусть тот, кто еще не настолько добродетелен, чтобы забыть о себе, проповедуя слово божье, не впадает в отчаяние, убоившись строгих правил, здесь ему предписываемых: они не запрещают ни выказывать ум, ни стремиться к высоким должностям. Кто сравнится в таланте с человеком, проповедующим по-апостольски, и кто более, чем он, заслуживает епископского сана? Разве недостойн был этого сана Фенелон? И разве мог бы государь обойти его высокой должностью, не будь он предназначен для иной?

## Глава XVI

### О ВОЛЬНОДУМЦАХ

#### 1

Слово «вольнодумцы» равнозначно по-французски выражению «люди, сильные духом», но известно ли вольнодумцам, какая ирония таится в этой равнозначности? Есть ли на свете человек более слабый, чем тот, кто сомневается в первооснове своей природы, бытия, чувств, сознания и не представляет себе, что с ним станет, когда его земное существование придет к концу? Какое, должно быть, отчаяние охватывает того, кто предполагает, что душа его столь же материальна и тленна, как камень, пресмыкающийся гад или иные низшие твари! Не большей ли силы и величия достигает наш разум, приемля идею существа, стоящего выше остальных существ, сотворившего их и заключающего их в себе, существа совершенного, непорочного, изначального и бесконечного, существа, подобием и, смею сказать, частью которого является наша бесплотная и бессмертная душа?

#### 2

Человек смиренный и человек слабый равно восприимчивы к впечатлениям, но первый воспринимает хорошее, а второй — дурное; иными словами, первый исполнен убежденности и веры, второй — упрямства и развращенности. Таким образом, смиренный дух приемлет истинную религию, а слабый или вовсе отрицает ее, или создает себе взамен нее ложную. Вольнодумец, мнящий, что он — че-

ловец, сильный духом, тоже лишен религии или сам себе ее изобретает; следовательно, он — человек, слабый духом.

3

Я называю людьми мирскими, суетными и низменными тех, чей ум и сердце привязаны к ничтожному клочку вселенной, на котором они живут, именуя его землею; тех, кому безразличны и не нужны духовные ценности; тех, кто так же ограничен, как их владения и поместья, которые можно измерить, исчислить в арпаиах и обнести межевыми знаками. Меня не удивляет, что, располагая столь ничтожной точкой опоры, они шатаются при малейшей попытке познать истину; что столь узкий кругозор не дает им проникнуть в надзвездные просторы и узреть бога; что, не отдавая себе отчета, насколько душа выше материи и чего она достойна, они не сознают, как трудно ее утолить, как мало для нее земли и всех суетных благ, как необходимо для нее присутствие всесовершенного существа, то есть бога, и какую глубокую потребность испытывает она в религии, которая указывает ей путь к нему и служит порукой несомненности его бытия. Напротив, я без труда понимаю, как естественно и легко такие люди впадают в неверие и равнодушие и ставят бога и религию на службу политике, то есть тому, что упорядочивает и украшает здешний мир — единственное, о чем, по их мнению, стоит печься.

4

Иных людей окончательно развращают длительные путешествия, в которых они утрачивают даже ту малую веру, что у них еще оставалась: нагнавевшись на различные религии, обряды и нравы, они уподобляются тому, кто входит в лавку, не зная заранее, какую ткань ему надо купить, — каждая лишь усугубляет его нерешительность, в каждой он находит свои прелести и достоинства, теряется, не может ничего выбрать и уходит, так и не сделав покупки.

5

Бывают люди, которые готовы стать набожными и верующими лишь при том условии, что нечестие и вольномыслие сделаются достоянием всех и, следовательно, при-

знаком заурядного ума. Вот тогда эти люди откажутся от своих заблуждений: они, видите ли, покорны моде и веяниям времени лишь в мелочах и пустяках, а в таком важном и серьезном деле, как религия, хотят быть независимы. Рисковать будущей жизнью — значит, по их мнению, выказать своего рода храбрость и иеустрашимость; они считают к тому же, что людям известного звания, широты ума и воззрений не к лицу бесхитростная вера, свойственная ученым и простонародью.

6

Наслаждаясь здоровьем, люди сомневаются в существовании бога, равно как не видят греха в близости с особой легких нравов;<sup>1</sup> стоит им заболеть и опухнуть от водянки, как они бросают наложницу и начинают верить в творца.

7

Прежде чем мнить себя вольнодумцем и безбожником, человеку следует заглянуть к себе в душу и тщательно взвесить, способен ли он по крайней мере не изменить своим взглядам и умереть так же, как жил; если у него не хватает мужества идти избранным путем до конца, он должен смириться и жить так, как хочет умереть.

8

Всякая шутка в устах умирающего неуместна; если же она касается определенных предметов, она гибельна. Что может быть печальнее, чем участь острослова, который даже ценой спасения души пытается перед смертью рассмежить тех, кого оставляет?

Что бы, по нашему мнению, ни ожидало нас за гробом, смерть сама по себе настолько серьезна, что ей приличествует не зубоскальство, а твердость.

9

Во все времена встречались люди широкого ума и большой образованности, которые тем не менее состояли в настоящем рабстве у вельмож, разделяли их вольномыслие

---

<sup>1</sup> Распутницей. (Прим. автора.)

и до смерти несли на себе его иго, невзирая на свои познания и вопреки своей совести. Они всю жизнь жили для своих покровителей, словно это было их высшей целью. Они стыдились их покинуть, стать такими, какими, возможно, были на самом деле, и губили себя из чрезмерной почтительности или слабости. Но разве есть на земле вельможи столь вельможные и сановники столь сановные, чтобы мы жили и веровали так, как им вздумается, как требуют их склонности и прихоти, и чтобы, даже умирая, мы из угодливости уходили из этого мира не так, как им лучше, а так, как им больше нравится?

10

Я требую, чтобы тот, кто не желает жить как другие и покоряться общим для всех правилам, имел убедительные к тому основания, мог подкрепить их неопровержимыми доводами и знал больше, чем остальные.

11

Покажите мне воздержного, умеренного, целомудренного и справедливого человека, который решился бы отрицать существование бога. Я допускаю, что, утверждая это, он был бы вполне бескорыстен и беспристрастен; беда лишь в том, что такого человека нет.

12

Мне было бы крайне любопытно взглянуть на того, кто искренне полагает, что бога нет: он сообщил бы мне по крайней мере, какие неоспоримые доводы убедили его в этом.

13

Невозможность доказать, что бога нет, убеждает меня в том, что он существует.

14

Бог сам осуждает и наказывает тех, кто его оскорбил, ибо только он судья во всем, что его касается; это было бы несправедливо, не будь он воплощением истины и справедливости, то есть богом.

Я чувствую, что бог есть, и не чувствую, что его нет; этого с меня достаточно, и никакие умствования не помешают мне прийти к выводу, что бог существует. Это заключение вытекает из самой моей природы: я слишком легко воспринял этот принцип в детстве и слишком естественно верил в него, будучи зрелым человеком, чтобы усомниться в его истинности, хотя кое-кто и не согласен с ним. Впрочем, я не уверен, что такие люди бывают, но если даже они встречаются, это доказывает лишь одно: в семье не без урода.

Атеизма не существует: у вельмож, которых чаще всего в нем подозревают, слишком ленивый ум, чтобы решать, есть бог или нет. Они настолько беспечны, что им нет дела до этого важнейшего предмета, равно как до природы души и смысла истинной веры; они ничего не отрицают и ничего не принимают — они об этом просто не думают.

Сколько бы ни было у нас здоровья, сил и ума, мы сполна растрачиваем их на помыслы о других людях и о нашей собственной, пусть даже самой ничтожной, выгоде. Напротив, приличия и обычай как бы обязывают нас думать о нашей душе лишь тогда, когда у нас остается ровно столько разума, сколько нужно, чтобы понять, как его мало.

Одному вельможе кажется, что он падает в обморок, а на самом деле он умирает; другой угасает незаметно, каждый день теряет силы и наконец испускает дух. Грозные, но бесполезные уроки! Никто не думает об этих столь примечательных и столь несходных между собой событиях, они никого не волнуют, люди обращают на них так же мало внимания, как на увядший цветок или засохший лист, — они жаждут освободившихся должностей и раз узнают, заняты ли эти места и кем.

Разве люди так добры, постоянны и справедливы, чтобы мы возлагали на них все наши надежды и не нуждались в боге, к которому мы могли бы обратиться за помощью, когда над нами тяготеет незаслуженный приговор, когда нас преследуют и предают?

Если вольнодумца смущает и ослепляет то, что есть в религии высокого и великого, значит он человек не сильный, а слабый духом; если же, напротив, его отталкивает то, что в ней есть смиренного и бесхитростного, значит он воистину силен — сильнее даже, чем такие ученые, возвышенные и тем не менее искренне веровавшие мужи, как Лев, Василий, Иероним и Августин.

«Отцы церкви, учителя церкви! Какие громкие имена и какая скука, сухость, холодная набожность, а подчас и схоластика в их сочинениях!» — восклицают те, кто никогда их не читал. Как были бы удивлены такие люди, составившие себе столь далекое от истины представление об отцах церкви, если бы прочли их творения, где больше тонкости и проникновенности, блеска и ума, красота слога и остроты суждения, живости и непринужденного очарования, чем во многих книгах нашего века, которые так пленяют читателей, приносят славу своим авторам и преисполняют их тщеславием! Как отрадно верить и знать, что твою веру разделяют, поддерживают и объясняют столь высокие души и столь сильные умы, в особенности если вспомнить, что сравниться с блаженным Августином по обширности, глубине и проникновенности знаний, по чистоте и возвышенности философских принципов, по умению их применить и развить, по убедительности выводов, по достоинствам слога, по благородству морали и чувствований могут разве что Платон и Цицерон.

Человек от природы лжив, истина же проста и нага; он жаждет прикрас и выдумок, поэтому истина не для него: она нисходит с неба в готовом, так сказать, виде и во

всем своим совершенстве, а человек любит только то, что создал сам, — иебылицы и басни. Посмотрите на просто-народье: оно вечно что-нибудь измышляет, перевирает и преувеличивает по причине своего невежества и глупости. Спросите даже у самого порядочного человека, всегда ли он правдив в речах; не ловит ли себя порой на выдумках, к которым его толкают легкомыслие и тщеславие; не случается ли ему ради красного словца прибавить к рассказу подробность, которой не было в действительности. Возьмите любое событие, происходящее чуть ли не у всех на глазах: его видят сто человек, и каждый из них описывает его по-своему; осведомитесь об этом событии у сто первого, он все равно изложит дело на свой лад. Как же после этого верить в то, что происходило давным-давно, за много веков до нас? Как полагаться на самых достоверных историков? И можно ли принимать историю всерьез? Говорят, Цезаря убили в сенате. Да был ли вообще Цезарь?

«Какая недоверчивость! — скажете вы. — Какие нелепые сомнения, какая излишняя щепетильность!» Вы смеетесь, даже не снисходя до возражений, и, пожалуй, вы правы.

Предположим теперь, что источник, где упомянут Цезарь, не есть светское сочинение, написанное рукою лживых от природы людей и случайно найденное в библиотеках среди других рукописей, которые содержат как правдивые, так и вымышленные истории; что, напротив, это святое и богодухновенное творение, которое являет всем глазам признаки своего неземного происхождения и которым вот уже почти два тысячелетия руководствуется множество людей, не позволивших себе за эти века изменить в нем хотя бы букву и почитающих своей священной обязанностью хранить его в первоначальной неприкосновенности; что, наконец, сама религия предписывает неизбежно верить всем утверждениям, содержащимся в этой книге, где говорится о Цезаре и его диктатуре. Сознайся, Луцилий, что в таком случае ты начнешь сомневаться в том, был ли Цезарь.

Никакая музыка не достойна восхвалять господина и звать в его святилище, никакая философия не способна достаточно возвышенно говорить о божественном промысле,

о боге, его могуществе, его деяниях и его таинствах: чем она отвлеченнее и тоньше, тем она суежнее, тем бессильней объяснить вещи, познание которых требует от человека только бесхитрости и к тому же доступно ему лишь до известного предела. Пытаться разумом постигнуть бога, его совершенство и его, смею так выразиться, поступки — значит идти дальше древних философов, апостолов и отцов церкви и заниматься долгими и бесполезными поисками источника истины там, где его не может быть. Стоит отринуть такие атрибуты создателя, как благодать, милосердие, всеправедность и всемогущество, которые дают нам столь высокое и преисполненное любви представление о боге, как мы, несмотря на все усилия нашего воображения, немедля придем к понятиям сухим, бесплодным, бессмысленным, предадимся пустым, несовместимым со здравым смыслом и в лучшем случае слишком утонченным и замысловатым умствованиям, а углубляясь все дальше в эту новую метафизику, начнем терять нашу веру.

24

До каких только крайностей не доходят люди во имя той самой религии, в которую верят так мало и которой следуют так нерадиво!

25

Умствуя каждый на свой лад, люди искажают ту самую религию, которую с таким пылом и рвением защищают от иноверцев; сообразно своим взглядам, они то прибавляют к ней, то изымают из нее множество мелких, но порой существенных подробностей, причем твердо и неколебимо держатся той формы, которую сами ей придают. Таким образом, можно сказать, что у всякого народа, в общем, одна вера и что в то же время у него их множество, ибо почти каждый человек, в частности, исповедует свою собственную.

26

В разное время при дворах поочередно господствуют и процветают два сорта людей — вольнодумцы и лицемеры; первые ведут себя просто, непринужденно, весело, открыто, вторые — тонко, хитро и коварно, причем до крайности жадны к милостям и гонятся за ними во сто раз

неистойей, чем первые: они хотят навсегда присвоить их, распорядиться ими, делить их между себе подобными и не подпускать к ним других; чины, должности, звания, бенефиции, пенсии, почести — все им желанно, все должно принадлежать только им; а всех остальных, кто не связан с ними, они почитают людьми, недостойными возвышения, и объявляют их наглецами, если те все-таки дерзают надеяться на награду. Представьте себе толпу масок на балу: они берутся за руки, пляшут, увлекают друг друга, делают круг за кругом и все продолжают плясать, не впуская в хоровод никого из присутствующих, как бы он того ни заслуживал; общество томится, всем до смерти скучно смотреть на пляски и не плясать самим; кое-кто ворчит, а самые благоразумные собираются с духом и уходят.

27

Есть два рода вольнодумцев: собственно вольнодумцы, которые хотя бы почитают себя таковыми, и лицемеры, которые больше всего боятся прослыть вольнодумцами; вторые тем опаснее, чем искуснее они притворяются.

Лицемер либо не верит в бога, либо издевается над ним. Я предпочитаю быть учтивым, поэтому говорю: он не верит в бога.

28

Если религия есть благоговейный страх перед божеством, то что же должны мы думать о тех, кто дерзает оскорблять его земное подобие — государя?

29

Скажи кто-нибудь, что сиамское посольство прибыло к нам с тайной целью побудить христианейшего короля отречься от христианства и допустить в свое государство *талапуанов*, которые проникли бы в наши дома, принесли бы туда свои книги, искусными речами обратили бы в свою веру наших жеи, детей и нас самих, воздвигли бы в наших городах *пагоды* и выставили бы там идолов из металла для всеобщего поклонения, мы встретили бы столь нелепую новость только презрительным смехом. В то же время мы сами проплываем шесть тысяч лье по морю с единственной целью обратить в христианство жителей

Индии, Сиам, Китая и Японии и всерьез делаем этим народам такие предложения, которые не могут не показаться им в высшей степени бессмысленными и странными. Тем не менее они терпят наших монахов и священников, иногда слушают их, позволяют им строить церкви и выполнять свою миссию. Чем объяснить такую разницу между ними и нами? Не могуществом ли истины?

30

Не каждому подобает быть благотворителем и собирать у своих дверей бедняков, со всех концов города проходящих туда за милостыней. Напротив, каждый из нас ежедневно сталкивается с тайной нищетой, которую может облегчить либо своими силами и немедленно, либо предстательствуя за нее перед другими. Точно так же не каждому даю быть проповедником или законоучителем, всходить на кафедру и возвещать с нее слово божье; но кто из нас не встречает порой вольнодумцев, которых следует смирить и вернуть на путь истинный кроткой и душевной беседой? Человек, в течение своей жизни обративший к богу хоть одного ближнего, прожил ее не даром, и земля носила его не напрасно.

31

Есть два мира: в одном мы пребываем недолго, затем покидаем его и уже не возвращаемся, ибо вступаем в другой, и притом навсегда. Для первого нужны милости, власть, дружба, слава, богатство; для второго — лишь презрение ко всему этому. Выбор за нами.

32

Кто прожил день, тот прожил век: солнце, земля, вселенная, наши чувства — все неизменно; сегодня и завтра схожи, как две капли воды. Новое приносит нам лишь кончина, ибо после нее мы перестаем быть телом и становимся только духом. Однако человек, всегда столь падкий до нового, почему-то нелюбознателен в том, что касается смерти; от природы он беспокоен, ему быстро наскучивает все, но жизнь — никогда; пожалуй, он согласился бы жить даже вечно. То, что он видит, когда смерть уносит

его ближних, поражает его сильнее, чем то, что ему известно о ней: болезнь, горе, вид трупа отбивают у него охоту познать иной мир, и нужна глубокая вера, чтобы примирить его с неизбежностью.

33

Если бы господь позволил нам выбирать между смертью и вечной жизнью, то, хорошо подумав над тем, что значит не видеть конца бедности, рабству, скуке, болезни или вкушать богатства, величия, наслаждений и здоровья лишь для того, чтобы с течением времени все это непременно превратилось в свою противоположность, и быть, таким образом, игрищем радости и горя, мы вряд ли смогли бы на что-нибудь решиться. Природа берет этот труд на себя и решает сама, обрекая нас неизбежной смерти, которую нам облегчает религия.

34

Будь моя вера ложной, она была бы самой искусной ловушкой, какую только можно себе представить, западней, которую нельзя ни миновать, ни обойти. Как величавы и возвышенны ее таинства! Как последовательно, убедительно, разумно ее учение! Как чисты и невинны проповедуемые ею добродетели! Как вески и неопровержимы свидетельства ее силы, явленные нам в течение трех долгих веков миллионами самых мудрых и здравых людей, которых сознание ее истинности поддерживало в изгнании, в заточении и пред лицом смерти в минуту казни! Перелистайте историю, припомните все ее события от самого сотворения мира, даже раньше того, как он был сотворен. Найдете ли вы в ней что-нибудь подобное? Может ли сам бог изобрести нечто более для меня убедительное? Как избежать этой ловушки? Куда повернуть, где искать дорогу не то что лучшую, а хотя бы равную той, которая ведет к ней? Нет, если мне суждено погибнуть, я погибну на избранном мною пути. Конечно, мне легче вовсе отрицать бога, нежели добровольно согласиться на столь искусный и благовидный обман, но я все обдумал и не могу быть атеистом; следовательно, я возвращаюсь к моей вере, поклоняюсь ей, и спорить больше не о чем.

Вера либо истинна, либо ложна. Если она вымысел, значит добродетельный человек, монах или отшельник зря потеряли шестьдесят лет жизни и только — больше им ничто не угрожает. Но если она основана на истине, то человека порочного ожидает страшная участь: одна мысль о муках, которые он себе готовит, приводит в трепет мое воображение; ум бессилен постичь их, слова — выразить. Поэтому, даже допуская, что вера менее истинна, чем это считается, человек все равно не может избрать путь более спасительный, нежели стезя добродетели.

Не знаю, стоит ли доказывать существование бога людям, дерзающим его отрицать, и заслуживают ли они большего к себе внимания, чем то, которое уже уделено им в этой главе: невежество, главная черта их характера, делает их невосприимчивыми к самым убедительным доводам и самым последовательным рассуждениям. Пусть они все же прочтут то, что следует далее, но не думают, что этим исчерпывается все, могущее быть сказанным о столь ослепительной истине, как бытие творца.

Сорок лет назад я еще не существовал и не властен был сам наделить себя существованием, равно как сейчас, уже существуя, я не могу не существовать; следовательно, я начал и продолжаю существовать благодаря чему-то, что находится вне меня, что пребудет после меня, что выше и сильнее меня. Если это не бог, пусть мне скажут, что это такое.

Предположим, что я обязан своим существованием только силам всеобъемлющей природы, которая всегда, даже в бесконечно отдаленные времена, была такой же, какой мы видим ее сейчас.<sup>1</sup> Но эта природа может быть либо только духом, и тогда она — бог, либо материей, и тогда она не способна создать мою душу, либо, наконец,

<sup>1</sup> Обычное утверждение вольнодумцев. (Прим. автора.)

соединением духа и материи, и тогда духовное начало в ней я именую богом.

Предположим, что то, что я называю своей душой, представляет собой частицу материи, существующую благодаря силам всеобъемлющей природы, которая тоже есть не что иное, как материя, которая всегда была, которая всегда пребудет такою, какой мы видим ее сейчас, и которая не есть бог.<sup>1</sup> Но даже в этом случае то, что (каково бы оно ни было) я называю своей душой, способно мыслить; если даже это материя, она не может не быть мыслящей, ибо во мне, хотя бы сейчас, когда я излагаю эти рассуждения, несомненно есть нечто такое, что мыслит, и никто не убедит меня в противном. Итак, если то, что есть во мне и что мыслит, обязано своим появлением и существованием всеобъемлющей природе, которая всегда была и пребудет вечно и которую это нечто признает своим первоисточником, то неизбежен вывод, что всеобъемлющая природа должна либо мыслить сама, либо быть совершеннее и выше того, что мыслит; если же устроенная таким образом природа есть материя, то придется заключить далее, что всеобъемлющая материя тоже мыслит или превосходит совершенством то, что мыслит, и стоит выше него.

Продолжаю. Если материя такова, какой мы ее предположили, и если она не химера, а действительно существует, она не может быть полностью недоступна нашим чувствам; если даже она не раскрывается перед ними сама, мы все же постигаем ее, взирая на те многообразные сочетания ее частиц, из которых состоят тела и которыми определяется различие между последними; следовательно, все эти различные тела суть материя; а так как, в силу нашего предположения, это такая материя, которая мыслит или стоит выше того, что мыслит, из сказанного вытекает, что раз она такова в некоторых телах, то такова же и во всех остальных и что она мыслит, принимая форму камня, металла, моря, меня самого (ибо я тоже тело) и вообще любой частицы, из которой слагается; в таком случае тем, что есть во мне, что мыслит и что я называю своей душой, я обязан совокупности грубых, земных и осязаемых тел, которые составляют всеобъемлющую матерью, или наш видимый мир. Но это абсурд.

---

<sup>1</sup> Довод вольнодумцев. (Прим. автора.)

Если, напротив, всеобъемлющая природа (какова бы она ни была) не является совокупностью всех этих тел или каким-то одним из них, то неизбежен вывод, что она — не материя и не может быть воспринята нашими чувствами; если она к тому же мыслит или более совершенна, нежели то, что мыслит, приходится заключить, что она — дух или существо высшее и более совершенное, нежели дух; если же то, что мыслит во мне и что я называю своей душою, не может найти свой первоисточник и начало ни в себе самом, ни, как уже было доказано, в материи и должно искать его во всеобъемлющей природе, то я не стану спорить о словах, но этот первоисточник всякого духа, сам являющийся духом и стоящий выше всего, что является духом, я назову богом.

Короче говоря, я мыслю, следовательно, бог существует, ибо тем, что мыслит во мне, я обязан не самому себе, поскольку я не властен был наделить им себя в первый раз и не волен сохранить его хотя бы на одно мгновение теперь; не обязан я им и такому существу, которое стояло бы выше меня и было бы материально, ибо невозможно, чтобы материя стояла выше того, что мыслит; следовательно, я обязан им существу, которое выше меня и которое есть не материя, а бог.

38

Из того, что всеобъемлющая и мыслящая природа полностью исключает наличие в ней чего бы то ни было материального, неизбежно следует вывод, что каждое существо, коль скоро оно мыслит, не может содержать в себе ни единой частицы материи, ибо хотя всеобъемлющее мыслящее существо заключает в себе неизмеримо больше величия, мощи, свободной воли и разума, нежели отдельное мыслящее существо, оно все-таки исключает материальное начало не более полно, чем отдельное мыслящее существо, поскольку и в том и в другом случае степень этого исключения бесконечно велика и поскольку то, что мыслит во мне, так же не может быть материей, как не может быть ею и бог; следовательно, раз бог есть дух, моя душа тоже духовна.

39

Я не знаю, способна ли собака выбирать, помнить, любить, бояться, воображать, мыслить; поэтому, когда мне говорят, что ее поступки вытекают не из страстей или

чувств, а представляют собой естественное и необходимое следствие устройства ее организма, которое определяется особым расположением частиц материи, я готов согласиться с таким утверждением. Но я мыслю, и это не подлежит сомнению; какая же связь может быть между мыслью и тем или иным расположением частиц материи, то есть их размещением в пространстве, имеющем три измерения — длину, ширину, глубину — и делимом по всем этим направлениям?

40

Предположим, что все материально и мысль моя, равно как и мысль других людей, представляет собой лишь следствие особого расположения частиц материи. Кто же тогда привнес в мир мысль о вещах нематериальных? Разве способна материя содержать в себе такую чистую, простую и нематериальную идею, как представление о духе? В состоянии ли она породить то, что отрицает и даже исключает ее самое? Как может материя быть мыслящим началом в человеке, если оно и есть доказательство того, что человек нематериален?

41

Есть существа, которые живут недолго, ибо они составлены из весьма разнородных и плохо совместимых частей; бывают другие, более простые по составу и живущие поэтому дольше, но в конце концов все же погибающие, ибо и они состоят из частей, на которые их можно разделить. Свойственное же мне мыслящее начало должно пребывать очень долго, ибо это существо чистое, однородное, беспримесное и, следовательно, не имеющее оснований погибнуть, поскольку ничто не может разложить или расчленить существо простое и не состоящее из отдельных частей.

42

Душа видит цвет с помощью органа зрения и слышит звук с помощью органа слуха; она может перестать видеть или слышать, если ей изменят эти органы или исчезнут воспринимаемые предметы, но не перестанет при этом существовать сама, ибо душа — отнюдь не то, что видит цвет или слышит звук, а только то, что мыслит. Как же может она перестать быть тем, что она есть? Субъект

мысли исчезнуть не может, ибо доказано, что он не материален; объект мысли пребудет до тех пор, пока существуют бог и вечные истины; следовательно, мысль нетленна.

43

Не могу себе представить, как может исчезнуть душа, которую бог пренсполнил мыслью о бесконечности и все-совершенстве его существа?

44

Луцилий, взгляни на этот клочок земли, превосходящий изяществом и красотой все соседние с ним местности: вот здесь — квадраты зелени вперемешку с прудами и фонтанами, вон там — аллеи, окаймленные живыми изгородями, которые защищают тебя от северного ветра; с одной стороны перед тобою густая роща, спасающая от солнца даже в самые знойные дни, с другой — прелестный вид; у ног твоих струится река — Линьон или Иветта; раньше она терялась под ивами и тополями, теперь ее русло одето камнем; за нею — нескончаемые тенистые дорожки, ведущие вдаль, к дому, окруженному фонтанами. «Какое счастливое совпадение! — воскликнешь ты. — Сколько красот собрал здесь воедино случай!» Нет, ты, конечно, скажешь иначе: «Как удачно здесь все придумано и устроено! Какой во всем вкус, как все разумно!» Я соглашусь с тобой и прибавлю, что здесь, наверно, живет один из таких людей, которые, едва успев где-нибудь поселиться, уже призывают Ленотра, чтобы тот расчертил и разбил им сад. Но что такое этот клочок земли, для благоустройства и украшения которого потребовалось все искусство опытного мастера, если и сама-то земля — всего лишь повисший в воздухе атом? Послушай же, что я скажу.

Луцилий, ты находишься где-то на этом атоме и занимаешь на нем не много места, из чего следует, что ты очень мал; у тебя есть глаза, это две совсем уж незаметные точки, но обрати их к небу, и чего только ты не увидишь! Вот полная луна. Хотя свет ее — лишь отражение солнечного, она прекрасна, ярка и кажется такой же большой, как солнце, и уж подавно большей, чем остальные планеты, чем любая из звезд. Но не верь тому, что ты видишь: луна — самое ничтожное из небесных тел, поверх-

ность у нее в тринадцать раз меньше, чем у земли, объем — в сорок восемь раз, диаметр, равный семистам пятидесяти лье, — в четыре. Очевидно, она представляется тебе такой большой лишь по причине близости ее к нам, удаленным от нее примерно на тридцать земных диаметров, что составляет всего сто тысяч лье; расстояние, проходимое ею, не идет ни в какое сравнение с огромной окружностью, которую описывает в небесных просторах солнце, ибо известно, что луна делает лишь пятьсот сорок тысяч лье в день, что составляет всего двадцать две тысячи пятьсот лье в час и триста семьдесят пять — в минуту; тем не менее, чтобы она могла совершить этот путь, скорость ее должна в пять тысяч шестьсот раз превышать скорость почтовой лошади, делающей четыре лье в час, и в восемьдесят раз — скорость любого звука, например пушечного выстрела или грома, пролетающего двести семьдесят семь лье в час.

А что получится, если сопоставить удаленность от нас, размеры и скорость движения луны и солнца! Их нельзя даже сравнивать, в чем ты сейчас и убедишься. Вспомни только, что диаметр земли равен трем тысячам лье, а диаметр солнца в сто раз больше и, значит, составляет триста тысяч лье. Но если такова его ширина в любой плоскости, то каковы же его поверхность и объем! Можешь ли ты представить себе его размеры, если, даже сложив миллион таких планет, как наша земля, мы все равно получим объем меньший, чем объем солнца? «Насколько же оно удалено от нас, если судить по его видимой величине!» — удивишься ты и будешь прав: расстояние до него чудовищно; доказано, что от земли до солнца должно быть не меньше десяти тысяч земных диаметров, то есть тридцать миллионов лье, а возможно, и в четыре, шесть, десять раз больше, ибо у нас нет способа, позволяющего точно измерить эту дистанцию.

Чтобы твоему воображению было легче себе ее представить, предположим, что с солнца на землю падает мельничный жернов; сообщим ему наибольшую скорость, которую он способен развить, — пусть даже такую, какой не достигают предметы, падающие с огромной высоты; допустим также, что он постоянно сохраняет эту скорость, не увеличивая ее, не убавляя и делая, таким образом, пятнадцать туазов в секунду, что равняется половине высоты самых высоких башен, или девятистам туазам в минуту,

которые мы для облегчения счета округлим до тысячи; тысяча туазов — это пол-лье; следовательно, за две минуты жернов пролетит одно лье, за час — тридцать, а за день — семьсот двадцать; всего, до падения на землю, ему нужно пролететь тридцать миллионов лье, на что потребуется сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть дней, то есть больше, чем сто четырнадцать лет. Но не пугайся, Луцилий, а слушай дальше. Расстояние от земли до Сатурна превышает расстояние от земли до солнца по крайней мере в десять раз, то есть составляет не меньше трехсот миллионов лье, так что наш жернов, будь он брошен на землю с Сатурна, летел бы более тысячи ста сорока лет.

Приняв в соображение такое расстояние до Сатурна, напряги свою фантазию и сообрази, если можешь, как неизмерим тот путь, который эта планета ежедневно проходит над нашими головами: диаметр окружности, описываемой Сатурном, превышает шестьсот миллионов лье, а длина ее, следовательно, — тысячу восемьсот миллионов лье; английской лошади, пробегающей десять лье в час, потребовалось бы двадцать тысяч пятьсот сорок восемь лет, чтобы покрыть такое расстояние.

Знай, Луцилий, я еще не все сказал о чудесах видимого мира или, как ты иногда выражаешься, о чудесных следствиях случая, который ты считаешь единственно возможной первопричиной всего сущего. Случай — еще более удивительный мастер, чем ты думаешь. Выслушай же меня и познай все могущество твоего божества. Известно ли тебе, что расстояние в тридцать миллионов лье от земли до солнца и в триста миллионов лье от земли до Сатурна так мало в сравнении с расстоянием от земли до звезд, что какое бы то ни было сопоставление этих величин просто неуместно? В самом деле, сопоставимо ли то, что, несмотря на всю свою величину, все же поддается измерению, с тем, что не может быть измерено? Мы не знаем, какова удаленность звезд; она, смею так выразиться, *безмерна*, и тут нам не помогут ни углы, ни синусы, ни параллаксы: наблюдай один человек за неподвижной звездой из Парижа, а другой — из Японии и проведи они мысленно две прямые от своего глаза до наблюдаемого светила, эти линии не образуют угла, но сольются в одну линию — настолько ничтожны земные просторы в сравнении с таким расстоянием. Впрочем, вышеприведен-

ный пример можно отнести и к солнцу и к Сатурну, о звездах же следует сказать нечто большее. Если бы два человека — один с земли, а другой с солнца — одновременно наблюдали за одной и той же звездой, оси зрения обоих наблюдателей не образовали бы сколько-нибудь заметного угла. Поясню свою мысль по-другому: человеку, находящемуся на звезде, наше солнце и наша земля, разделенные тридцатью миллионами лье, показались бы одной точкой; это доказано.

Мы не знаем также, каково расстояние от одной звезды до другой, сколь бы близкими между собой они нам ни казались. Если верить нашему зрению, Плеяды почти соприкасаются друг с другом; звезды в рукояти ковша Большой Медведицы как бы насажены одна на другую, взгляд с трудом различает разделяющую их часть неба, они кажутся двойной звездой, и тем не менее все искусство астрономов бессильно определить расстояние между ними. Что же тогда говорить о взаимоудаленности двух звезд, дистанцию между которыми различает даже наш глаз, и уж подавно — о расстоянии между двумя звездами, противстоящими друг другу! Как бесконечно длинна должна быть мысленная прямая, соединяющая их! Какова окружность, которой она служит диаметром! Не легче ли добраться до дна бездонной пропасти, чем вычислить объем шара, одним из сечений которого является вышеназванный круг? Можно ли после этого удивляться, что столь необъятные звезды представляются нам всего лишь крохотными искорками? Не следует ли скорее изумляться тому, что даже на таком страшном удалении они все-таки видны глазу и сохраняют свои очертания? А ведь мы даже не можем представить себе, сколько звезд ускользает от нашего зрения; правда, мы умеем определить число небесных тел, но только тех, которые оно воспринимает; а как сосчитать те, которых мы не замечаем, хотя из них состоит, например, Млечный Путь — светящаяся полоса, видимая на небе в ясные ночи, тянущаяся от севера к югу и настолько от нас удаленная, что глаз различает не отдельные составляющие ее звезды, а лишь белзну этой небесной дороги, где они рассыпаны?

Итак, я стою на земле, которая не что иное, как песчинка, которая ни на чем не держится и словно висит в воздухе. Вокруг нее, на высоте, превосходящей все наши понятия, вращается почти бесконечное число огненных

шаров невыразимой и потрясающей воображение величины, которые вот уже более шести тысяч лет изо дня в день проносятся через безмерные и беспредельные просторы неба. С тебя мало этого? Ты жаждешь услышать еще что-нибудь не менее чудесное? Так вот, представь себе, земля сама с непостижимой скоростью вращается вокруг солнца, центра вселенной, и все эти шары, все эти колоссальные движущиеся тела не препятствуют вращению соседних, не мешают друг другу, не сталкиваются между собой; в самом деле, что случилось бы с землею, если бы мельчайшее из них по ошибке встретилось с нею? Напротив, все они занимают свои места, блюдают предустановленный порядок и так невозмутимо следуют назначенным им путем, что ничей слух неспособен услышать их ход, а простолюдины даже не подозревают об их существовании. О, несравненная предусмотрительность случая! Даже разум не сумел бы устроить все это обдуманнее! Меня смущает только одно, Луцилий: эти огромные тела так точны и постоянны в своем беге, вращении и взаимодействии, что даже некие крохотные животные, затерянные в одном из уголков того неизмеримого пространства, которое называется вселенной, нашли, понаблюдав за светилами, способ безошибочно предсказывать, в какой точке своего пути окажутся последние через две, четыре, двадцать тысяч лет, начиная с сегодняшнего дня. Вот это и озадачивает меня, Луцилий. Если столь непрекаемые законы соблюдаются лишь благодаря случаю, то что же такое тогда порядок и закон?

Более того — я спрошу тебя: что же такое сам случай, тело или дух? Существо, живущее особой, отдельной и отличной от других существ жизнью, или только форма, только внешняя примета жизни этого существа? Когда игральный шар натывается на камень, мы говорим, что это — случай; отличается ли он от того случая, о котором сейчас идет речь? Если, в силу такого случайного столкновения с камнем, шар покатится не прямо, а вбок, если его движение из самостоятельного станет отраженным, если он прекратит вращение вокруг своей оси и начнет кататься из стороны в сторону или подпрыгивать, вправе ли я буду заключить, что движение шара вообще вызвано только этим случаем? Не естественнее ли предположить, что он движется либо сам по себе, либо от толчка руки, метнувшей его? И если колесики часов сообщают

друг другу вращательное движение с той или иной скоростью, то разве я буду из-за этого с меньшим любопытством исследовать причину такого движения и определять, вращаются ли колесики сами по себе или же их приводит в движение тяжесть гири? Однако ни колесики, ни игральный шар не сообщают себе движения сами, то есть не движутся благодаря самой своей природе, поскольку они в конце концов останавливаются, не меняя при этом своей природы; очевидно, они получают движение извне, от какой-то посторонней силы. Точно так же: разве изменится природа небесных тел, если они остановятся? Разве они перестанут при этом быть небесными телами? Не думаю. Однако они движутся, и притом не сами по себе, то есть не благодаря своей природе. Следовательно, источник их движения следует искать вне их. Ищи, Луцилий, и, что бы ты ни нашел, я назову этот источник богом.

Предположим, что эти колоссальные тела неподвижны; тогда, разумеется, незачем спрашивать, кто сообщает им движение; но даже в таком случае нам могут задать вопрос, кто создал эти тела, подобно тому, как вполне уместно осведомиться, кем сделаны вышеупомянутые колесики часов или игральный шар. Предположим далее, что любое из этих колоссальных тел представляет собой случайное скопление атомов, связанных и сцепленных между собою благодаря форме и строению своих составных частей; тогда я возьму один из таких атомов и спрошу: «Кто создал этот атом? Что он такое — материя или разум? Было ли у него представление о собственном бытии, прежде чем он начал быть?» Если да, то он существовал до того, как обрел существование, то есть одновременно и был и не был. А если он сам сотворил свое существо и форму, в которой оно существует, то почему он стал телом, а не духом? А может быть, этот атом вообще изначален, вечен и ему нет конца? Не делаешь ли ты этот атом богом, Луцилий?

У клеща есть глаза, он сворачивает в сторону при виде опасных для него предметов; чтобы лучше его рассмотреть, пустите это животное ползать по черному дереву и преградите ему дорогу самой маленькой соломинкой — оно

тотчас же переменит направление. Неужели хрусталик, сетчатка и зрительный нерв его глаза тоже плод игры случая?

В капле воды под воздействием подмешанного к ней перца обнаруживается бесчисленное множество мельчайших животных, очертания которых помогает нам различить микроскоп; они передвигаются с невероятной быстротой, словно чудовища, живущие в беспредельном море; каждое из этих животных в тысячу раз меньше клеща, и тем не менее каждое из них есть тело, которое существует, питается, растет и должно обладать мышцами, сосудами, соответствующим нашим венам, артериям и нервам, а также мозгом, распределяющим животные дүхи по организму.

Пятнышко плесени величиною с песчинку оказывается под микроскопом скоплением отчетливо различных растений, одни из которых цветут, другие плодоносят, третьи только покрываются почками, а четвертые уже вянут. Как невероятно малы должны быть корни и фильтры, добывающие пищу для этих мельчайших растений! Если же вспомнить, что у этих растений есть семена, как у дубов или сосен, и что вышеназванные мельчайшие животные размножаются так же, как слоны и киты, то есть воспроизводя себе подобных, наше удивление еще более возрастает. Кто же сотворил столь хрупкие и крошечные создания, которые ускользают от нашего глаза и размеры которых суть величины почти такие же бесконечные, как размеры неба, только, в противоположность последним, бесконечно малые? Не тот ли, кто, сотворив небо и светила, эти колоссальные массы, подавляющие нас своим объемом, удаленностью, скоростью, длиной проходного ими пути, без труда приводит их в движение?

Бесспорно, что солнце, небеса, светила и влияния их служат человеку так же, как воздух, которым он дышит, или земля, по которой он ходит и которая его носит; если же эта бесспорная истина нуждается в том, чтобы мы подкрепили ее соображениями разума или правдоподобия, то они тоже налицо, так как небеса и все, что они содержат, отнюдь не могут сравниться по благородству и достоинству с самым последним из людей — жителей

земли, поскольку между небесами и человеком существует такое же соотношение, как между материей, не способной чувствовать и представляющей собой просто трехмерное пространство, и тем, что есть дух, разум, мысль; если мне возразят, наконец, что человеку для поддержания жизни хватило бы и меньшего, я отвечу, что бог тем не менее явил в этом случае лишь ничтожную долю своего могущества, величия и благодати, ибо он в состоянии сделать бесконечно больше сделанного им и видимого нами.

Весь мир, если он создан для человека, есть буквально ничто в сравнении с тем, что бог готов сделать для человека, как доказывает нам религия; следовательно, покоряясь силе истины и сознавая свои преимущества, человек не впадает ни в тщеславие, ни в гордыню, ибо с его стороны было бы глупостью и слепотой не верить той цепи доказательств, при помощи которых религия открывает ему его дарования, способности, возможности и учит его сознать, что он есть и чем может стать. «Но луна тоже обитаема — или по крайней мере может быть обитаема», — возражаешь ты. Но при чем здесь луна, Луцилий? Если бог есть, то разве для него что-нибудь невозможно? Ты, наверно, хотел спросить, одни ли мы во вселенной так взысканы богом и нет ли на луне других людей или существ, которых бог удостоил бы тех же милостей, что и нас? Луцилий, это — пустое любопытство, праздный вопрос! Земля действительно обитаема, ибо мы живем на ней и знаем об этом; у нас есть доказательства, свидетельства и уверенность во всем, что касается бога и нас самих; пусть же те существа — каковы бы они ни были, — которые населяют небесные тела, сами думают о себе: у них свои заботы, у нас — свои. Ты наблюдаешь луну, Луцилий, ты не хуже любого астронома знаешь все пятна на ней, все ее впадины и возвышенности, ее удаленность, объем, орбиту и фазы. Что ж, изобрети новые инструменты, будь еще точнее в наблюдениях, попробуй убедиться, что луна обитаема. Если это так, ответь, каких животных ты видишь там и похожи ли они на людей? Являются ли они людьми? Позволь-ка мне тоже посмотреть, и если мы сойдемся на том, что луну действительно населяют люди, мы подумаем над тем, христиане ли они и взыскал ли их бог своими милостями наравне с нами.

В природе все изумительно и величаво, все носит на себе печать творца; даже то, что порою случайно и несовершенно, предполагает закономерность и совершенство. О, тщеславный и самонадеянный человек! Сумей создать хотя бы того червяка, которого ты попираешь ногой и презираешь. Жаба вселяет в тебя отвращение? Попробуй сделай ее, если можешь. Каким несравненным мастерством владеет тот, кто творит такие создания, которые не только восхищают, но и пугают людей! Я не требую, чтобы ты изготовил у себя в мастерской умного человека, статного мужчину, красивую женщину — такой труд тебе не по плечу; создай хоть горбуна, безумца, урод, и я уже буду доволен.

Короли, монархи, государи, помазанники божьи (все ли ваши гордые титулы я перечислил?), сильные мира сего, люди великие, могущественные и готовые даже объявить себя *всемогущими!* Нам, простым смертным, для наших посевов нужен хоть слабый дождь, — что я говорю! — хоть немного росы; дайте же нам ее, ниспослите земле хоть каплю влаги.

Устройство, красота и внешние проявления природы понятны каждому; ее первопричина и происхождение — нет. Спросите у женщины, почему стоит ее прекрасным глазам открыться — и они видят; спросите о том же ученого — ответа не последует.

Миллионы лет, сотни миллионов лет, словом — любой промежуток времени есть лишь краткий миг в сравнении с бытием бога, который вечен; все просторы вселенной не более как точка, мельчайший атом в сравнении с его безмерностью. Если мое утверждение верно, — а в этом нет сомнения, ибо конечное несопоставимо с бесконечным, — то, спрашивается, имеет ли какое-нибудь значение человеческая жизнь или песчинка, именуемая землей, или та частица земли, которую владеет и которую населяет человек? В жизни преуспевают злые, говорите вы. Согласен, некоторые из них преуспевают. Добродетель на земле всегда поругана, а порок торжествует. Не спорю — иногда бывает и так. Это несправедливо. Ничуть не бы-

вало! Прежде чем делать такой вывод, нужно по крайней мере доказать, что злые безусловно счастливы, что добродетель постоянно унижена, а преступление всегда безнаказанно; что время, когда добрые терпят, а злые благоденствуют, сколько-нибудь длительно; что так называемые благоденствие и удача не есть обманчивая видимость и минутный призрак; что та земля, тот атом, где добродетели и преступление так редко получают воздаяние по заслугам, — это единственный уголок мировой сцены, в котором совершается правосудие и раздаются награды.

Как из того, что я мыслю, я заключаю, что я дух, так из того, что я по желанию могу совершать или не совершать какое-нибудь действие, я вывожу, что я свободен; свобода же — это выбор, иными словами — добровольное решение творить добро или зло, совершать похвальные или дурные поступки, то есть быть добродетельным или преступным. Если бы преступление безусловно оставалось безнаказанным, это, разумеется, было бы несправедливостью; но кто знает, не остается ли оно безнаказанным только на земле? Предположим, однако, вместе с атеистами, что в мире царит несправедливость. Всякая несправедливость есть отрицание или нарушение справедливости; следовательно, всякая несправедливость предполагает справедливость, а всякая справедливость есть то, что согласно с верховным разумом. Но, спрашивается, может ли разум не желать, чтобы преступление было наказано? Это столь же немыслимо, как треугольник, в котором меньше трех углов. Далее: всякое согласие с разумом есть истина; это согласие существовало всегда, следовательно, оно принадлежит к числу вечных истин; истина же должна познаваться умом, иначе она не истина; таким образом, познание истины тоже вечно, и это познание есть бог.

Разоблачение самых таинственных преступлений, совершая которые злодеи приняли все меры предосторожности, происходит так просто и так легко, что кажется, будто один только господь и мог привести все к такой развязке; до нас дошло такое множество подобных примеров, что если бы кто-нибудь вздумал объяснить их чистой случайностью, ему пришлось бы заодно убедить нас в том, что случайность испокон веков была равнозначна закономерности.

Если предположить, что все без исключения люди, населяющие землю, смогут наслаждаться изобилием и ни в чем не испытывать недостатка, то из этого необходимо следует, что никто на земле не будет наслаждаться изобилием, а, напротив, все будут терпеть нужду во всем. Есть два вида богатства, к которым сводятся все остальные,— это деньги и земля. Если все разбогатеют, кто будет возделывать землю и трудиться в рудниках? Те, кто живет далеко от рудников, не пожелают туда спускаться; те, кто населяет девственные и необработанные земли, не станут их засеивать; выход, естественно, придется искать в торговле. Но если у людей будут в изобилии все блага и никому не придется жить своим трудом, кто станет перевозить из края в край слитки драгоценного металла или товары, предназначенные для обмена, посылать за море корабли, управлять ими, водить караваны? Пропадет все, что полезно и необходимо для жизни. Если исчезнет нужда, исчезнут искусства, науки, изобретения, механика. К тому же равенство имуществ и богатств повлечет за собой равенство званий, уничтожит всякое повиновение, вынудит людей самим себе прислуживать, не прибегая к чужой помощи, лишит законы смысла, сделает их бесполезными, породит безвластие, насилия, оскорбления, убийства и безнаказанность.

Напротив, если предположить, что все люди станут бедны, солнце напрасно будет всходить для них на горизонте, согревать и оплодотворять землю, небо — изливать на нее дожди, реки — орошать ее и приносить во многие страны изобилие и плодородие, море будет напрасно раскрывать людям свои глубины, а скалы и горы — свои недра, давая возможность извлечь оттуда спрятанные там сокровища.

Если же принять, что одни из людей, рассеянных по лицу земли, должны быть богаты, а другие бедны и наги, то станет ясно, что нужда сближает, связывает и примиряет людей; одни служат, повинуются, изобретают, трудятся, возделывают, совершенствуют; другие пользуются их трудом, дают им пропитание, помогают им, защищают их, управляют ими; всюду царит порядок, и во всем познается бог.

Если на одной стороне сосредоточены власть, наслаждения, праздность, а на другой — покорность, заботы, нищета, то в этом повинна только людская злоба, а не бог, ибо если бы так распорядился бог, он не был бы богом.

Известное неравенство житейских положений, поддерживающее порядок и приучающее к повиновению, есть дело рук божьих, то есть предполагает божественное установление; слишком большая их несоразмерность, которая обычно наблюдается между людьми, есть дело рук человеческих, то есть вытекает из права сильного.

Крайности всегда порочны, ибо исходят от человека; равновесие всегда справедливо, ибо исходит от бога.

---

Если читатель не одобрит эти «Характеры», я буду удивлен; если одобрит, я все равно буду удивляться.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 21. *Admonere volumus, non mordere...* — цитата из письма выдающегося гуманиста эпохи Возрождения Эразма Роттердамского (1465—1536). Это письмо Эразм написал в ответ на критику его произведения «Похвала глупости». Эпиграф был включен Лабрюйером в четвертое издание «Характеров», то есть явился ответом Лабрюйера на критику его книги.

Стр. 22. *...влонамеренных кривоголов.* — Лабрюйер опасался, что в его книге многие увидят лишь портреты определенных лиц. Действительно, после выхода в свет первого издания «Характеров» появились рукописные «ключи» (*clefs*), составители которых пытались подставить реальные прототипы под вымышленные греческие, римские и французские имена. В 1694 г. Лабрюйер пишет: «Какую плотину воздвигнуть против этого потока разъяснений, который наводнил город и достигнет вскоре двора?» После смерти Лабрюйера издатели начали печатать «ключи» в виде примечаний к тексту его книги. В научных изданиях XIX и XX вв. «ключи» подверглись тщательному анализу. Некоторые из них, представляющие наибольший интерес, включены в комментарий настоящего издания.

Стр. 26. *...великого произведения, сочиненного совместно...* — Лабрюйер, по-видимому, имел в виду творческую неудачу Корнеля, Мольера и Кино, написавших совместно трагикомедию «Психея» (1671).

*...римский оратор* — т.е. Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.)

Стр. 28. *Перистиль* — крытая галерея, ограниченная с одной стороны колоннами, с другой — стеной здания.

*...мы восстаем против наших учителей...* — Лабрюйер имеет в виду писателей Шарля Перро (1628—1703) и Фонтенеля (1657—1757), выступивших против принципа подражания античным авторам.

*...из собственных произведений.* — Фонтенель опубликовал в 1688 г. «Пасторали», сопроводив их «Рассуждением об эклоге». В этом же году он выпустил «Свободное рассуждение по поводу

древних и новых авторов», в котором утверждал несостоятельность мнения о преимуществе античной литературы перед современной.

Стр. 30. *Зелоты* — земледельцы и ремесленники в древней Палестине, боровшиеся против римлян. Для Лабрюйера — поклонника античной культуры — олицетворение невежества.

Стр. 33. *Разбор «Сида»* — «Мнение Французской академии о трагикомедии Корнеля „Сид“» (1638), составленное Шапленом.

Стр. 34. *Бугур* (1628—1702) — грамматик и литератор.

*Рабютен* Роже де, граф де Бюсси (1618—1693) — автор «Любовной истории Галлии» (1665), серии фривольных картин, скрывавших памфлет на Людовика XIV и его двор.

*Крамюзи* — семья известных типографов.

Стр. 35. *Бальзак Жан-Луи Гез де* (1594—1654) — писатель, автор ряда трактатов и эпистолярных сборников. Видный теоретик по вопросам литературного языка XVII в.

*Вуатюр* Венсан (1598—1648) — прециозный поэт; большим успехом у публики пользовались наряду со стихами и его письма.

Стр. 36. *Малерб* Франсуа де (1555—1628) — поэт и критик, сыгравший значительную роль в формировании французского классицизма.

*Теофиль де Вио* (1590—1626) — поэт-вольнодумец. Его перу принадлежит трагедия «Пирам и Фисба».

*Ронсар* Пьер (1524—1585) — крупнейший поэт французского Возрождения. Возглавлял кружок поэтов под названием «Плеяда». Вслед за Малербом и Буало, Лабрюйер не принимает языковые новшества, которые Ронсар пытается ввести (обогащение французского языка за счет диалектизмов и латинизмов). Однако отношение Лабрюйера к Ронсару как поэту не было столь отрицательным, как у Буало.

*Маро* Клеман (1495—1544) — выдающийся лирик эпохи Возрождения, предшественник поэтов «Плеяды».

*Белло* Ремн (1528—1577) — поэт «Плеяды», прозванный «живописцем природы».

*Жодель* Этьен (1532—1573) — поэт и драматург «Плеяды».

*Бартас* Гийом дю (1544—1590) — поэт, автор поэмы «Неделя» (1578), в которой он несколько подражает Ронсару.

*Ракан* Оноре де (1589—1670) — поэт, автор «Пасторалей»; ученик Малерба.

Стр. 37. *Монтень* Мишель де (1533—1592) — крупнейший писатель-моралист позднего Возрождения во Франции. Лабрюйер высоко ценит Монтьена и многое заимствовал из его книги «Опыты».

Два писателя высказали в своих трудах неодобрение Монтьену... — Речь идет, по-видимому, о крупном деятеле классицизма и

одном из авторов «Логик Пор-Рояля» Николе (1628—1695) и о философе Мальбранше (1638—1715), авторе труда «Поиски истины».

*Амио Жак* (1513—1593) — переводчик «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха.

*Козффето Никола* (1574—1623) — известный своими проповедями епископ Марселя.

*Г. Г.* — Речь идет о журнале «Галантный Меркурий». Инициалы объясняются тем, что Лабрюйер имеет в виду греческое имя Меркурия — Гермес.

*...опера — это лишь набросок настоящего драматического спектакля...* — Размышления Лабрюйера об опере датируются временем, когда этот жанр дискутировался в литературных кругах. Буало, Расин, Лафонтен, Сент-Эврмон выступили с разных позиций против оперы.

*Стр. 38. Амфион.* — По-видимому, речь идет о Люлли (1633—1687), знаменитом французском композиторе, создателе классической оперы. Люлли придавал меньшее значение театральной технике, нежели маркиз де Сурдеак, возглавлявший до него Королевскую академию музыки. Лабрюйер, отдавая должное Люлли как композитору, не признавал его театральной реформы.

*Обеим «Береникам» и «Пенелопе»...* — Подразумеваются трагедии «Береника» Расина, «Тит и Береника» Корнеля и «Пенелопа» аббата Жене (1639—1719).

*Эти хлопотуны создали здесь все...* — описание праздника в Шантильи, устроенного Конде в честь дофина. Лабрюйер противопоставляет вкусу и изобретательности Конде бездарность исполнителей его замысла.

*Стр. 39. ...они обескураживают как поэтов...* — Наиболее вопиющим примером подобных методов был провал трагедии Расина «Федра» (1677), подстроенный герцогиней Бульонской и герцогом де Невер.

*Стр. 40. Сцена мятежа — обычная развязка заурадных трагедий.* — Имеются в виду трагедии Кино «Смерть Кира», «Агриппа» и другие.

*Стр. 47. ...чтобы не уподобиться Дорилá и Хандбургу...* — Под этими именами современники легко узнали историков Варилá и Мембура, модных в конце XVII в., но быстро утративших свое значение.

*Стр. 48. Депрео* (Буало-Депрео) Никола (1636—1711) — поэт и критик, автор «Сатир», комической поэмы «Налой», стихотворного трактата «Поэтическое искусство» и др. Крупнейший теоретик французского классицизма. Многие положения нормативной поэтики заимствованы им у Горация.

*Стр. 55. В.* — Имеется в виду, вероятно, художник Клод-Франсуа Вийон или его сын, тоже живописец.

К. — Паскаль Колас, ученик Люлли.

Автор «Пирама» — Никола Прадон (1632—1698), посредственный драматург. Приобрел себе печальную известность трагедией «Федра и Ипполит», заказанной ему врагами Расина. Постановка этой трагедии состоялась через два дня после премьеры «Федры» Расина.

Миньяр. — Речь идет, по-видимому, о Пьере Миньяре (1610—1695), художнике, прославившемся картинами на исторические темы и портретами.

Стр. 57. Эмиль. — Речь идет о принце Конде. Панегирик Конде был написан Лабрюйером через пять лет после смерти знаменитого полководца, и в отличие от Боссюэ, который произнес свое известное «Надгробное слово» принцу Конде, Лабрюйер мог не касаться вопроса об участии Конде в движении Фронды.

Стр. 60. ...ссоры двух братьев и о столкновении двух министров. — Намек на ссору между генеральным контролером финансов и одним из его братьев. Столкновения и разногласия между военным министром Лувуа и морским министром Сеньеле возникли по вопросу о помощи Иакову II, свергнутому королю Англии.

Стр. 70. Гистрион — профессиональный актер в древнем Риме и странствующий комедиант в средние века во Франции и других странах Западной Европы.

Стр. 80. Монторон — один из крупнейших финансистов середины XVII в.; Эмери, Мишель Партичелли д' — министр финансов при Мазарини.

Стр. 101. Заметто (1549—1614) — итальянский финансист, жил при королевском дворе во Франции, куда он приехал, сопровождая Екатерину Медичи.

Ручеллаи, аббат — флорентийский дворянин; принимал участие в дворцовых интригах в период регентства Марии Медичи.

Кончини — фаворит Марии Медичи, некоторое время был министром при Людовике XIII.

Стр. 114. Бальи — чиновник, отправлявший суд от имени короля или сеньера.

Стр. 116. ...в нашем светском обществе существовал кружок... — Лабрюйер дает характеристику прециозных салонов знати. Наиболее известным среди них был салон маркизы Рамбуле.

Теобальд. — Согласно «ключам», имеется в виду поэт Бенсерад (1612—1691), автор многочисленных балетов, которые имели большой успех при дворе.

Стр. 117. ...чтение некоторых романов... — Речь идет о романах Мадлены Скюдери (1607—1701) «Великий Кир», «Клеопатра» и др.

Стр. 118. Лукан Марк Анней (39—65) — римский поэт, автор исторической поэмы «Фарсалия».

*Клавдиан* (IV в. н. э.) — один из последних поэтов древнего Рима, автор поэмы «Похищение Прозерпины».

*Сенека Луций Анней* (ок. 2—66) — римский философ и драматург. В трагедиях Сенеки «Медея», «Федра» и др. патетическая декламация преобладает над драматическим действием. Французский театр XVII в. многое заимствовал у Сенеки.

...какой король правит Венгрией... — В 1687 г. при Леопольде I австрийская династия Габсбургов получила наследственные права на венгерскую корону.

Стр. 119. *Кидий*. — Согласно «ключам», Лабрюйер дает в образе Кидия сатирический портрет Фонтенеля.

Стр. 120. *Лукиан* (ок. 120 — ок. 180) — греческий писатель-сатирик.

Стр. 126. ...отдаленное подобие швейцара... — Многие вельможи держали в качестве привратников швейцарцев. Люди, стремившиеся прослыть знатными, заставляли своих привратников подражать им.

Стр. 127. о...щ...в — откупщиков.

*Сосий начал с ливреи*... — Типичный путь многих авантюристов. Монтескье заметил по этому поводу: «Корпорация лакеев более респектабельна во Франции, чем где бы то ни было; это семнарий крупных вельмож» («Персидские письма», ХСІХ).

Стр. 138. *Фоконне*. — С 1680 по 1687 г. Жан Фоконне откупал налоги, которые ранее давались на откуп пяти разным лицам.

*Декарт Рене* (1596—1650) — крупнейший философ-рационалист XVII в. Вынужден был покинуть Францию. Долгое время жил в Голландии, незадолго до смерти переехал в Швецию.

Стр. 139. ...боятся понижения пробы или веса монеты... — Упадок абсолютной монархии Людовика XIV, который начался в конце 1680-х гг., сказался и на монетном деле. Новый эю, выпущенный стоимостью в 66 солей, постоянно падал в своей ценности: в августе 1693 г. его принимали только за 62 соля.

Стр. 142. ...чем у нас их зомбайя... — Зомбайя — обычай в королевстве Снамском, согласно которому послы должны были приближаться к залу аудиенции на коленях, отнешивая земные поклоны. Французский посол, отправленный Людовиком XIV в Снам в 1685 г., впервые нарушил этот обычай.

*Ландскнехт* — здесь: игра в карты.

Стр. 144. *Фидий* (ок. 500—431 до н. э.) — великий скульптор древней Греции.

*Зевксис* (464—398 до н. э.) — прославленный греческий художник.

Стр. 150. ...некая довольно многочисленная корпорация — т. е. адвокаты.

*Гомон* и *Дюамель* — известные адвокаты того времени.

Стр. 153. *Маре* — один из старых кварталов Парижа.

*Фельяны* — монашеский орден.

Стр. 154. «*Голландская газета*» — газета, которая пользовалась успехом во Франции, так как в ней свободно рассказывали о нравах Версаля.

«*Галантный Меркурий*» — ежемесячный журнал, вышедший с 1672 года. Редактором его в период, описываемый Лабрюйером, был Доно де Визе.

*Бержерак Сирано де* (1619—1655) — писатель, один из видных вольнодумцев XVII в.

*Демаре де Сен-Сорлен* (1596—1676) — писатель, автор многочисленных романов и трагикомедий; в «Споре о древних и новых авторах» принял сторону новых.

*Леклаш Луи* — автор трактата о реформе орфографии и курса по истории философии.

*Барбен* — известный издатель. Выпускал серию забавных историй, которые публика называла «Барбинады». Следует подчеркнуть, что среди упомянутых выше имен Сирано де Бержерак — единственный писатель крупного масштаба. Пренебрежительное отношение к нему со стороны Лабрюйера объясняется тем, что писатель этот был вольнодумцем.

...его лицо мы видим на всех гравюрах, где изображены народ или зрители. — При Людовике XIV эстампы для альманахов готовились лучшими художниками и граверами. Эстампы давали аллегорическое изображение событий года, портреты короля, принцев и полководцев. Внизу помещались обычно изображения представителей третьего сословия, которые с благоговением смотрели на короля.

*Уй* — деревня в трех лье от Версаля, близ которой Людовик XIV часто производил смотр войскам. Войска размещались в долине *Ашер*, в нескольких лье от Версаля.

*Форт Бернарди*. — По распоряжению директора военной академии Бернарди ежегодно сооружался форт для проведения занятий. Учебные сражения привлекали толпы любопытных.

Стр. 155. «*Ежегодник нежных душ*» и «*Листок влюбленных*» — сборники романтических историй, принадлежащие перу г-жи де Вилдье.

*Ария неистового Роланда* — из оперы Люлли «*Роланд*» (либретто Кино по поэме Арносто «*Неистовый Роланд*»).

Стр. 161. *Диоцез* — округ, подведомственный епископу или архиепископу.

Стр. 162. ...скребется в дверь... — Сцена происходит у двери, которая ведет в покои короля. Придворные, имеющие право присут-

ствовать при утреннем туалете короля, уже вошел. Опоздавшие не имеют права стучать, а могут лишь слегка царапнуть дверь ногтем. В зависимости от ранга просящего его впускают сразу же или тогда, когда впускают всех желающих взглянуть на короля издали.

Стр. 165. *Орифламма* — военное знамя французских королей XII—XV вв.

Стр. 170. *Руссо* — кабатчик; *Фабри* — преступник; *Лакугюр* — портной.

Стр. 172. *Эшевен* — должностное лицо, член городского совета.

Стр. 176. *Планк* — согласно «ключам», Лувау, военный министр.

Стр. 178. *Кассини Жан-Доминик* (1625—1712) — астроном, основатель и директор обсерватории в Париже.

*Ложное солнце* — оптическое явление в атмосфере.

*Параллакс* — угол, измеряющий видимое смещение светила при перемещении наблюдателя.

Стр. 179. *Театр Арлекина* — театр итальянских комедиантов в Париже.

Стр. 194. ...от общества *Сократа и Аристиды*... — В данном случае имеются в виду мудрец, бескомпромиссная честность которого стоила ему жизни, и государственный деятель, справедливость которого навлекла на него немилость.

Стр. 200. *Терсит* — персонаж из «Илиады» Гомера. Его имя стало нарицательным для труса.

Стр. 201. *Лебрен Шарль* (1619—1690) — известный художник.

Стр. 210. *Демофил*. — Согласно «ключам», персонажи данного пассажа Демофил и Баснанд являются: первый — аббатом де Сеит-Элен, участником Фронды, второй — де Муллине, противником Фронды.

*Оливье Леден* — цирюльник и доверенный Людовика XI. Впал в немилость и был повешен в 1484 г.

*Жак Кер* — богатый коммерсант, ссужал большими суммами Карла VII.

Стр. 218. *Перу* — здесь: символ богатства.

Стр. 225. *Стоицизм* — философское учение в древней Греции и Риме; возникло на рубеже IV—III вв. до н. э. Большое место в философии стоиков занимает этика. Основой счастья стоики считали добродетель, которая создает свободного мудреца. Понятие свободы у стоиков лишено социальной остроты, так как, согласно их учению, добродетель достаточна для блаженства и человеку не нужны жнзненные блага.

*Платоновское государство*. — В своем учении об «идеальном государстве» Платон (427—347 до н. э.), крупнейший представитель античного идеализма, выступил против афинской демократии. Утопическая теория общества, разделенного на философов, или правителей,

стражу (воннов), а также земледельцев и ремесленников, которые производят все необходимое для государства, носит аристократический характер. Теория государства изложена Платоном в диалоге «Государство».

Стр. 231. ...монастырь картезианцев, украшенный картинами превосходного художника... — Речь идет о двадцати двух картинах, изображающих жизненный путь св. Бруно (основателя монашеского ордена картезианцев XI в.), которые Эташ Лесюер (1616—1655) нарисовал для монастыря этого ордена в Париже. Большая часть этих картин хранится в настоящее время в Лувре. Сюжетом одной из них является легенда о том, что заставило Бруно постричься в монахи. Согласно этой легенде, во время отпевания каноника Днокреза, замечательного проповедника, тайно предававшегося порокам, мертвец поднялся и закричал, что бог справедливо осудил его на вечные муки. Это произвело огромное впечатление на Бруно.

Стр. 238. *Ирина*. — Согласно «ключам», имеется в виду маркиза де Монтеспан, фаворитка Людовика XIV. Она любила ездить на воды и лечиться от болезней, которыми не страдала.

Стр. 256. *Серые сестры* — сестры милосердия.

Стр. 268. *Ален*. — В комедии Мольера «Школа жен» это имя носит глуповатый и смешной крестьянин, слуга Арнольфа.

*Паскаль Блез* (1623—1662) — известный физик, математик и один из крупнейших прозаиков во французской литературе XVII в.

*Ленжанд* (1595—1665) — епископ, блестящий проповедник.

Стр. 270. *Ферула* — линейка, которой били по ладони провинившихся школьников.

*Ликторские фасы* — в древнем Риме пучки прутьев, связанные с секирой, которые ликтор, т. е. лицо, сопровождавшее представителя высшей администрации, должен был нести за ним.

Стр. 275. *Варрон Марк Теренций* (116—27 до н. э.) — римский ученый.

Стр. 276. *К.* — Филипп Кино (1635—1688) — французский драматург. Его комедии и несколько слащавые трагедии пользовались успехом. Буало высмеял его творчество. После первых успехов Расина Кино перешел к созданию лирических трагедий, либретто к операм знаменитого композитора Люлли. В этом жанре он чрезвычайно преуспевал.

*Ш—н был богат, а К—ль беден...* — Лабрюйер противопоставляет Жаана Шаплена (1595—1674), бездарного поэта, автора поэмы «Девственица», Пьеру Корнелю, создателю трагедии французского классицизма. Шаплен был видным литератором, секретарем Французской академии. Корнель, несмотря на всеобщее признание, постоянно нуждался и умер в бедности. «*Родогуна*» — трагедия Корнеля.

Стр. 277. *Эстре Сезар д'* (1628—1714) — кардинал, член Французской академии.

*Арле Франсуа де* (1625—1695) — архиепископ Парижа, член Французской академии.

*Боссюэ Жак-Беннь* (1627—1704) — епископ Меца, затем Мо, главный воспитатель дофина. Убежденный роялист и теоретик абсолютизма. Его проповеди и исторические работы приобрели широкую известность; Боссюэ считается родоначальником ораторской прозы во французской литературе XVII в.

*Сезье Пьер* (1588—1672) — канцлер при Людовике XIII и Людовике XIV. Один из основателей Французской академии.

*Монгозье Шарль*, герцог де (1610—1690) — воспитатель дофина.

*Вард Франсуа-Рене*, маркиз де (1621—1688) — генерал; одержал несколько крупных побед; должен был стать воспитателем герцога Бургундского.

*Шеврез*, герцог де (1646—1712) — один из наиболее образованных людей своего времени, друг Фенелона, которому он помогал в его литературной работе.

*Новьон Никола* Потье де (ум. 1693) — президент парламента, член Французской академии.

*Ламуаньон Гийом де* (1617—1677) — президент парламента, известный своими широкими познаниями в области юриспруденции.

*Пелиссон Поль* (1624—1693) — историк, член Французской академии.

Стр. 278. *Осса* (1536—1604) — кардинал, дипломат. Ранее преподавал риторику и философию в Сорбонне.

*Хименес* (1436—1517) — кардинал и крупный политический деятель Испании, принимал участие в издании собрания сочинений Аристотеля.

*Ришелье Арман-Жан дю Плесси* (1585—1642) — кардинал, первый министр при Людовике XIII; в 1634 г. основал Французскую академию.

...«народы были бы счастливы...» — Лабрюйер ошибочно включает цитату из «Государства» Платона в уста Антонина, римского императора с 138 по 161 год. Эти слова часто повторял его преемник Марк Аврелий (161—180).

Стр. 280. *Титир* — пастух из 1-й эклоги Вергилия. Его имя служит для несколько иронического обозначения сентиментального, философски настроенного человека.

Стр. 281. *Прима* — карточная игра.

Стр. 286. *Декарт советует судить...* — Имеется в виду мысль Декарта, изложенная во 2-й части «Рассуждения о методе».

Стр. 289. *Вот перед нами человек. Он неотесан...* — Согласно «ключам», речь идет о Лафонтене.

Стр. 290. *Вот другой — он прост, робок...* — Речь идет о Корнеле. *Вот вам третье чудо.* — Речь идет о поэте Жане де Сантеле (1630—1697).

Стр. 293. *О Сократе говорили...* — В данном случае Лабрюйер воспользовался именем Сократа для того, чтобы ответить на обвинения, которые современники предъявляли ему самому.

Стр. 296. *...и Катону и Пизону — одна честь.* — В данном случае мы имеем дело с неоднократно используемым Лабрюйером стилистическим приемом — употреблением имени исторического лица для характеристики вымышленного персонажа. Катон Утический (95—46 до н. э.) — римский государственный деятель; защищал республику от посягательств Цезаря. Пизон (ум. 65) — римский политический деятель, правитель Македонии. Известен своей жестокостью и алчностью.

Стр. 299. *Баярд Террай де (1473—1524)* — французский офицер, заслуживший известность своим бесстрашием. Участник войн Карла VII, Людовика XII и Франциска I.

Стр. 300. *Вобан Себастьян-Лепретр (1633 — 1707)* — французский маршал, крупный полководец и военный инженер.

Стр. 303. *Юный принц* — Людовик (1633—1711), сын Людовика XIV, наследник престола. В конце 80-х гг. он командовал одной из армий Франции и отличился в сражении.

*В опровержение изменной латинской пословицы.* — Имеется в виду пословица: «*Filii heroum poxae*», перевод которой гласит: «Сыновья героев недостойны своих отцов».

Стр. 305. *Успех всегда располагает...* — Начиная с этого параграфа в ряде мест Лабрюйер высказывает свое отношение к событиям английской революции 1688 г., в результате которой английским королем стал Вильгельм III Оранский. Будучи убежденным роялистом, Лабрюйер воспринял государственный переворот в Англии как противозаконный захват английского престола штатгальтером Голландии. Социального значения так называемой Славной революции, которая завершила дело буржуазной революции середины XVII в. в Англии, Лабрюйер не понял. На его отношение к Вильгельму III Оранскому оказал влияние и тот факт, что Франция вела войну против Голландии (1672—1674).

Стр. 306. *Умер враг...* — Имеется в виду Карл V, герцог Лотарингии (ум. 1690). Он командовал армией Леопольда I, германского императора, в период, когда начиналась военная кампания против Франции. Хотя эта смерть избавила Людовика XIV от серьезного противника, он с уважением говорил о нем.

О, времена, о нравы!.. — слова Цицерона из «Первой речи против Катилины». В параграфах 118 и 119 авторская речь поручается двум крупным философам древней Греции — Гераклиту (576—480 до н. э.) и Демокриту (ок. 470 — ок. 380 до н. э.). В античности образ «смеющегося философа» Демокрита, то есть философа, обличающего пороки людей своим смехом, противопоставляли образу «плачущего философа» Гераклита. Об использовании имен исторических лиц см. прим. к стр. 296.

Ликаон — царь Аркадии, которого Юпитер превратил в волка в наказание за его преступления. См. «Метаморфозы» Овидия, кн. I.

Эгисф — убийца Агамемниона. См. первую часть трилогии Эсхила «Орестея», драму «Агамемнион».

Некто сказал: «Я переправлюсь через море, отниму у моего отца родовые владения...» — Это относится к Вильгельму Оранскому, который был зятем Иакова II, короля Англии.

Стр. 307. Только один из них, неизменно добросердечный и великодушный... — Людовик XIV гостеприимно принял Иакова II, бежавшего из Англии.

Некий государь, избавивший Европу... — Речь идет о Леопольде I, императоре Германии.

...огромной империи... — т. е. Турции.

...войны за сомнительные цели. — Речь идет о войне против Франции.

...призван быть третейским судьей и посредником... — Подразумевается римский папа Иннокентий XI, политика которого была враждебной Иакову II.

Стр. 309. ...человек ростом с гору Афон. — Динократ, македонский архитектор IV в. до н. э., хотел высечь фигуру Александра из горы Афон.

...о том же человеке с бледным, бескровным лицом. — Речь идет о Вильгельме Оранском.

...в мутной воде целый остров... — Имеется в виду Англия.

Стр. 310. ...но он прячется в болотах... — Намек на то, что в 1672 г. Вильгельм Оранский оставил французскую армию близ Амстердама, приказав сломать плотины и открыть шлюзы.

Они сами постарались усугубить свое рабство. — Речь идет о голландцах.

Пикты, саксы, батавы — племена, населявшие в период раннего средневековья Шотландию, Англию и Голландию.

Цезарь. — Имеется в виду император Германии.

Стр. 314. Калло Жак (1592—1635) — выдающийся французский художник и гравёр.

Стр. 316. *Л...г...ким* — согласно «ключам», Ледигьерским дворцом, или дворцом Лангле.

Стр. 317. *Оправдание или осуждение людей.* — Имеется в виду судебный поединок, исход которого считался доказательством виновности обвиняемого. Один из последних поединков такого рода имел место в 1547 г. в присутствии Генриха II и его двора.

*...одним из прекраснейших деяний великого короля.* — В период становления и утверждения абсолютистской монархии во Франции вышел ряд указов, запрещавших дуэль (указы кардинала Ришелье, позднее Людовика XIV).

Стр. 319. *Капулл* Гай Валерий (ок. 87 — ок. 47 до н. э.) — римский поэт.

*Сарразен* Жан-Франсуа (1615—1654) — прециозный поэт.

Стр. 321. *Ифий.* — В «Метаморфозах» Овидия богиня Изис превращает молодую девушку в мужчину по имени Ифий.

Стр. 322. *Лаиса* — греческая куртизанка.

Стр. 323. *Пренебрегать ранней обедней...* — Людовик XIV чаще всего посещал вечернюю службу. Этим объясняется поведение придворных, о котором идет речь в данном пассаже.

Стр. 325. *«Духовная борьба»* — сочинение Скупполи; *«Христианский дух»* — сочинение Лувиньи; *«Святой год»* — сочинение Луазеля.

Стр. 329. *Мотет* — музыкальное произведение для хора на слова латинской литургии.

Стр. 331. *Если бы некоторым людям...* — Речь идет об особой категории чиновников (королевских секретарях, советниках ряда королевских учреждений), которые за свою службу получали личное дворянство. После двадцати лет работы они приобретали право на дворянский титул и, следовательно, могли передавать его по наследству. Эти чиновники в отставке назывались ветеранами. Если в силу материальных затруднений они бывали вынуждены продавать свою должность до окончания срока службы, они теряли все свои привилегии.

Стр. 333. *Озье* — семья составителей генеалогии аристократических родов.

*...из Сира становится Киром.* — Сир — имя раба в нескольких комедиях Плавта и Теренция; Кир (IV в. до н. э.) — основатель персидской империи, крупный полководец.

Стр. 335. *...происхожу я от Жофруа де Лабрюйера...* — Жофруа де Лабрюйер — лицо историческое. Он принимал участие в третьем крестовом походе и умер в 1191 г. Лабрюйер говорит о своем знатном происхождении в ироническом плане.

*Палаццо Фарнезе...* — дворец, расписанный известным художником Аннибалом Каррачи (1560—1609), принадлежал Александру

Фарнезе, который был кардиналом, позднее — римским папой Павлом III.

Стр. 336. ...о так называемой прекрасной вечерне... — Речь идет о вечерне, которую получили право служить духовные лица монашеского ордена театинцев. Театинцы театрализовали вечернюю службу настолько, что она превратилась в особого рода спектакль и пользовалась большим успехом при дворе. Вскоре такая служба была запрещена.

Стр. 337. ...воспретить на время деятельность варнавита<sup>2</sup> — Варнавита — римско-католический монашеский орден, основанный в Милане около 1530 г. В данном пассаже речь идет о внутрицерковных распрях.

...кто носит пурпур и горноста́й. — Имеются в виду кардиналы, носившие пурпурную мантию, и доктора богословия, мантия которых украшалась горностаем.

Стр. 340. ...народоправство или деспотия. — Аббатиса аббатства назначалась королем; настоятельница монастыря избиралась монахинями.

Стр. 342. Безвозвратные вложения — вложения капитала при условии получения пожизненной ренты. В данном случае Лабрюйер имеет в виду нашумевшее в 1689 г. дело — банкротство ряда больниц в Париже, вызванное мошенничеством администрации. Многие частные лица потеряли тогда не только свои капиталы, но и ренту.

Стр. 348. Фидеикомисс — поручение наследнику выдать часть наследства или все наследство третьему лицу.

Стр. 350. Сципион Африканский Старший (ок. 235—183 до н. э.) — крупный римский полководец. Победой над Ганнибалом завершил 2-ю Пуническую войну.

Марий Гай (156—86 до н. э.) — римский полководец.

Мильтиад Младший (конец VI — нач. V в. до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец. Одержал крупную победу над персами при Марафоне.

Эпаминонд (ок. 420—362 до н. э.) — один из крупнейших полководцев древней Греции.

Агесилай (397—360 до н. э.) — спартанский царь. В войне с Персией одержал ряд побед.

...битвы и взятые города, а потом уже восхищались его утонченностью... — Историки царствования Людовика XIV говорят о неуместной роскоши, которую король и его маршалы ввели в обстановку военных походов.

Стр. 352. Фагон — врач Людовика XIV, один из крупнейших ученых своего времени.

...распространяй по всей земле хину... — Хина стала известна во Франции в середине XVII в. Ее применение вызвало большие дискуссии... Фагон был сторонником применения хины.

Стр. 353. *Коринна* — греческая поэтесса V в. до н. э.

*Лесбия*. — Под именем Лесбии фигурирует в стихах Катулла Клодия — возлюбленная поэта.

*Канидия* — героиня 5-го эпода Горация.

*Тримальхион и Карп* — персонажи из произведения римского писателя Петрония (I в. н. э.) «Сатирикон». В образе Тримальхиона Петроний показывает типичного богача, который в недавнем прошлом был рабом.

Стр. 355. *Дюгеклен Бертран* (1320—1380) — коннетабль, т. е. главнокомандующий королевской армии, при Карле V.

*Клиссон Оливье де* (1336—1407) — коннетабль при Карле VI.

*Фуа Гастон де* (1331—1391) — полководец.

*Бусико Жан-Лемэнгр де* (1364—1421) — маршал Франции.

*Кто может объяснить, почему иные слова...* — Лабрюйер был одним из первых писателей XVII в., кто отметил обеднение словаря французского литературного языка, явившееся результатом ориентации Французской академии на язык двора и высшего общества. Лингвистический трактат Лабрюйера представляет интерес для историков французского языка. Некоторые наблюдения Лабрюйера расходятся с определениями, которые даются в словаре Французской академии и других словарях XVII в. Эти расхождения помогают уточнить историю употребления того или иного слова. Многие из слов, которые Лабрюйер считал выходящими из употребления, вновь заняли свое место во французском языке.

Стр. 358. *...стихи Лорана...* — Лабрюйер имеет в виду поэмы Лорана на случай, в частности — не принесшее славы поэту стихотворное описание праздника в Шантильи.

*Депорт Филипп де* (1546—1606) — французский поэт, известен своей любовной лирикой, в которой он подражал Петрарке и итальянским поэтам-петраркистам.

*...история сохранила нам эти стихи...* — В «Сборнике разных рондо», опубликованном в 1640 г., эти два стихотворения входили в раздел «Античных рондо». Автор их неизвестен.

Стр. 360. *...красноречие, процветавшее при Леметре, Пюселе и Фуркруа...* — Речь идет об известных адвокатах XVII в.; Бонавентюр Фуркруа, поэт и юрист, был другом Расина и Мольера.

Стр. 362. *Василий* (329—379) — греческий священник, автор посланий по вопросам религиозной доктрины и морали.

*Иоанн Златоуст* (347—407) — патриарх Константинополя. Прославился своим красноречием,

Стр. 363. *Пандекты* — сборник решений римских юристов, являвшийся в древности справочником по вопросам права.

*Юстиниан* (483—565) — византийский император. При нем была проведена кодификация римского права.

Стр. 367. *Венсан де Поль* (1576—1660) — основатель конгрегации сестер милосердия, священников-миссионеров, детских приютов.

*Ксавье Франсуа* (1506—1552) — священник-миссионер в Индии.

Стр. 368. *Епископ города Мо* — Жак-Бенинь Боссюэ (см. прим. к стр. 277).

*Бурдалу Лун* (1632—1704) — известный священник-проповедник.

Стр. 372. *Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот* (1651—1715) — архиепископ Камбре, воспитатель внука Людовика XIV, автор романа «Приключения Телемака» (1699).

Стр. 378. *Лев* — римский папа Лев I Великий (440—461).

*Иероним* (330—419) — известный богослов.

Стр. 381. *Талапуан* — сиамское название буддийских аскетов или монахов.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Т. Г. Хатисова. Лабрюйер и его «Характеры»</i> . . . . .	3
Предисловие . . . . .	21
<i>Глава I. О творениях человеческого разума</i> . . . . .	25
<i>Глава II. О достоинствах человека</i> . . . . .	49
<i>Глава III. О женщинах</i> . . . . .	63
<i>Глава IV. О сердце</i> . . . . .	85
<i>Глава V. О светском обществе и об искусстве вести беседу</i> . . . . .	99
<i>Глава VI. О житейских благах</i> . . . . .	124
<i>Глава VII. О столице</i> . . . . .	148
<i>Глава VIII. О дворе</i> . . . . .	160
<i>Глава IX. О вельможах</i> . . . . .	189
<i>Глава X. О монархе или о государстве</i> . . . . .	207
<i>Глава XI. О человеке</i> . . . . .	225
<i>Глава XII. О суждениях</i> . . . . .	273
<i>Глава XIII. О моде</i> . . . . .	312
<i>Глава XIV. О некоторых обычаях</i> . . . . .	331
<i>Глава XV. О церковном красноречии</i> . . . . .	360
<i>Глава XVI. О вольнодумцах</i> . . . . .	373
Примечания . . . . .	400

*Жан де Лабрюйер*

**Х А Р А К Т Е Р Ы,  
или  
Нравы книжного века**

*Редакторы Н. Сметкова и М. Трескунов*

*Художественный редактор Л. Чалова*

*Технический редактор Э. Марковская*

*Корректор И. Кузнецова*

Сдано в набор 28/XI 1963 г.

Подписано к печати 9/IV 1964 г.

Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—13 печ. л.=21,32 усл. печ. л.

Уч.-изд. л. 19,007 + 1 вкл.=19,043 л.

Тираж 50000 экз. Заказ № 1914.

Цена 69 к.

Издательство

«Художественная литература»

Ленинградское отделение

Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 2

имени Евгении Соколовой «Главполиграфпрома»

Государственного комитета

Совета Министров СССР по печати

Измайловский пр., 29

